

НИЖНИЙ
НОВГОРОД

N I Z H N Y N O V G O R O D 6 (1 7) / 2 0 1 7



ОЛЕГ
РЯБОВ
Нижний Новгород

4



ЮРИЙ
НЕМЦОВ
Нижний Новгород

47



ВЛАДИМИР
АЛЕЙНИКОВ
Коктебель

56



ЕЛЕНА
НАУМОВА
Киров

63



АННА
АНДРОНОВА
Нижний Новгород

74



ДЕНИС
ЛИПАТОВ
Нижний Новгород

91



ЕЛЕНА
ТУЛУШЕВА
Москва

117



ВЛАДИМИР
ТИТОВ
Москва

124



НИНА
ЯГОДИНЦЕВА
Челябинск

152



ВЛАДИМИР
СКВОРЦОВ
С.-ПЕТЕРБУРГ

157



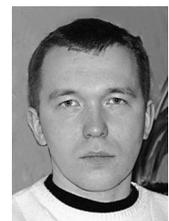
АЛЕКСАНДР
ФИГАРЕВ
Нижний Новгород

163



РОМАН
СЕНЧИН
Екатеринбург

168



АНДРЕЙ
РУДАЛЕВ
Северодвинск

195



ЕЛЕНА
КРЮКОВА
Нижний Новгород

204



ВЛАДИМИР
ГОФМАН
Нижний Новгород

212

16+

В НОМЕРЕ

Проза

Олег РЯБОВ	
ДОЧЬ ПРОФЕССОРА	4
УРОКИ ГРУЗИНСКОГО	12
Игорь АЛЬМЕЧИТОВ	
ЗИМА ДЕВЯНОСТО ПЯТОГО	16
Олег КУИМОВ	
ДОЖИТЬ БЫ ДО ЛЕТА	31
Михаил СТРИГИН	
ЧУЖАК	36
Юрий НЕМЦОВ	
ВПЕРЕДИ ТЫСЯЧА ЛЕТ	47

Поэзия

Владимир АЛЕЙНИКОВ	
ВСЁ ДЕЛО НЕ В БЛАГЕ – В БОГЕ...	56
Елена НАУМОВА	
...И СОН, КОТОРЫЙ ВЕЩИЙ	63
Сергей НОСОВ	
...И ЗАХОЧЕШЬ ВЕРНУТЬСЯ НА БЕЛЫХ РАСПРАВЛЕННЫХ КРЫЛЬЯХ	68

Проза

Анна АНДРОНОВА	
ОХОТНИКИ НА ПРИВАЛЕ	74
Денис ЛИПАТОВ	
ИНСУЛЬТ	91
Анатолий ДОН	
НАЦИОНАЛИСТ	99
Елена ТУЛУШЕВА	
ПЕРВЕНЕЦ	117
Владимир ТИТОВ	
КУПАЛЬСКАЯ НОЧЬ	124
ДОМ НА ВОЛЧЬИХ ВЫСЕЛКАХ	132
Лев ГРИГОРЯН	
ВОЛНЫ ШУМЯТ ЗА КОРМОЙ	147

Поэзия

Нина ЯГОДИНЦЕВА	
БЛАГОДАРЕНЬЕ РЕЧИ	152
Владимир СКВОРЦОВ	
МНЕ В РОССИИ РУСИ НЕ ХВАТАЕТ	157
Александр ФИГАРЕВ	
Я БЫЛИНЫ И ПЕСНИ СЫН	163

Из будущих книг

Роман СЕНЧИН	
ДОЖДЬ В ПАРИЖЕ	168

Поэзия

БОЛДИНО: «ВСЕМИРНЫЙ ПУШКИН»	
Надежда КНЯЗЕВА	185
Елизавета АНДРЕЕВА	186
Григорий ВОЛКОВ	188
Дарья ЛИОНЕНКО	191
Илья ЧЕХОВ	192
Зарина БИКМУЛЛИНА	193

Литпроцесс

Андрей РУДАЛЁВ	
ТРИАДА ПОЛКА РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ	
Захар Прилепин призвал к равенению на солнце	195
ПОПЫТКА ДЕСАКРАЛИЗАЦИИ БАХТИНА	
О книге Алексея Коровашко «Михаил Бахтин»	201
Елена КРЮКОВА	
РАЗГОВОР С ЖИЗНЬЮ	
О сборнике стихотворений Олега Рябова «Сад осенью»	204
Кирилл КОЗЛОВ	
«ПОД ЗОЛОТОЙ ОБИТЕЛЬЮ НЕБЕС...»	
О книге Андрея Шацкого «Первозимье»	208

Вехи памяти

Владимир ГОФМАН	
ТОННЕЛЬ. 1974	212
Валентина КОРОСТЕЛЁВА	
«ПУСТЬ ДОБРЫМ БУДЕТ УМ У ВАС...»	
130 лет со дня рождения Самуила Маршака	228
Владимир ГАЛЬПЕРИН	
«...И В ДВАДЦАТЬ ПЕРВОМ ВЕКЕ ГОВОРIT	
СЛОВАМИ ДЕВЯТНАДЦАТОГО ВЕКА». Памяти Лазаря Шерешевского	233

Олег РЯБОВ

Поэт и прозаик. Родился в 1948 году в Горьком. Окончил Горьковский политехнический институт имени А.А. Жданова. Работал в Научно-исследовательском радиофизическом институте (занимался проблемами внеземных цивилизаций), облкниготорге, издательстве «Нижполиграф».

В настоящее время – директор издательства «Книги». Член «Российского Союза антикваров», «Национального Союза библиофилов». Главный редактор журнала «Нижний Новгород», редактор-издатель альманаха «Земляки», председатель Нижегородского отделения Литературного фонда России.

Член Союза писателей России с 2002 года. Живёт в Нижнем Новгороде.

ДОЧЬ ПРОФЕССОРА

1

Марина Прокопьевна Попова, в девичестве Лисовская, вышла замуж и не так чтобы рано, но и без задержек: учась на последнем курсе института. Жених ей попался красивый и завидный. Но было всё же в её браке что-то такое, что вызывало и задумчивые, даже недоуменные взгляды, и досужие разговоры, и шепоток за спиной, и даже недовольство родителей. Причем и с той и с другой стороны. Мезальянс? Может быть. Только какой-то неправильный он, странный, что ли, мезальянс, перевернутый с ног на голову.

Ведь что подразумевает мезальянс – неравенство брачующихся сторон, или возрастное, или социальное. Но с этой стороны – всё в порядке: жених, Саша Попов, всего на три года старше Мариночки. В социальном плане – у Мариночки среди ближайшей родни за последние двести лет было двадцать профессоров, пять писателей, три адвоката и два министра, и живет она с мамой и папой в обычной четырёхкомнатной профессорской сталинке. А у Саши Попова папа – генеральный директор какого-то Федерального зернового союза и председатель совета директоров какого-то Агротехбанка, и ещё есть куча всяких контор, которые он возглавляет. Да и в советские времена Сашин папа чем-то по снабжению солидным рулил.

Вот тут-то и скрывалась та самая закавыка, из-за которой косо поглядывали на Мариночку в семье все. По воскресеньям в доме про-

фессора без приглашения собирались всякие и близкие, и не очень близкие родственники – такова была давняя традиция, а традиции надо создавать, лелеять и беречь, ибо от давности традиций зависит и глубина культуры. Так вот, как-то раз на таком сборище в доме профессора зашел почти научный спор о предстоящем замужестве Мариночки. К тому времени даже ещё не решен был вопрос со свадьбой, но среди пришедших на пироги всяческих родственников оказалась двоюродная бабушка, переводчица древнегреческих текстов в издательстве «Наука», где она в позапрошлые времена вместе с академиком Гаспаровым работала. Так вот эта бабушка так прямо и сказала:

– Ты что же к ним, в качестве прачки или кухарки идёшь?

– В смысле? – встрепенулась Мариночка.

– А в том смысле, что ты же читала Марселя Пруста «В сторону Свана»? Там сын нотариуса женится на принцессе какой-то, что ли, но в глазах всех своих родственников он опускается до уровня авантюриста. Так дамы высшего света дарили благосклонностью иногда своих кучеров. Это ведь мезальянс, голубушка, только в инверсии. Ты из почетного положения дочери профессора превращаешься...

– Перестань, бабушка, я не хочу тебя слушать, а может, и любить больше не буду, если ты не перестанешь.

– Да, наверное, не перестану. У твоего, этого, по-моему, даже высшего образования нет!

– Да, нет! – с вызовом отвечала Мариночка.

– Ну, а школу-то хоть он окончил?

– Нет, и школу он не окончил.

– Ну, я так и думала. Сову по полёту видно.

– Что это значит?

– Потом узнаешь, да поздно будет.

В разговор по очереди вступали все родственники, а Мариночке приходилось только отстреливаться.

– Господи, а я-то, сумасшедшая, ломалась-ломалась, бегалась-договаривалась: тебя же, дуру, в Голландию на стажировку на три месяца берут, – это уже мамочка родная, заведующая кафедрой начертательной геометрии в строительном институте, где Мариночка училась, вступила в разговор и обратилась ко всем присутствующим: – У неё, у нашей дуры набитой, курсовой проект опубликовали в сборнике студенческих работ во Франции. Самому великому Ренцо Пиано, итальянскому дизайнеру и архитектору, который сейчас оформляет набережные в Голландии, очень понравились трёхгранные пилястры, которые придумала наша Мариночка, и он приглашает её поработать в своей группе. Я уже и в ректорате договорилась, что Мариночку в творческую командировку в Голландию на три месяца отправляют. А там, может, и учиться ещё будет возможность остаться. Ну, что тебе – приспичило, что ли, замуж-то?

– Ничего мне не приспичило. А если вы о чем-то нехорошем, то я вообще-то ещё девушка. Я люблю его, и он меня любит. А если вам с вашими повышенными образованиями и знаниями это вполне человеческое состояние незнакомо, то мне вас очень жаль, и помочь я вам уже ничем не смогу. Хотя всех вас я очень люблю и уважаю до пятого колена и гарантирую, что и семья у меня будет, и дети с мужем будут, и профессором в сорок лет я буду. У меня всё получится, если вы мне будете не мешать, а помогать.

– Ну, что же, – как-то уж очень скорбно подвел итог воскресной родственной встречи Мариночкин папа, доктор медицинских наук, специалист по онкологии, – *damnatio ad bestias**.

– Давеча не значит таперича, – парировала его сентенцию Мариночка.

– Что ты имеешь в виду?

– Да то же самое, что и ты. По-моему, ты единственный в этом доме понимаешь меня, но хочешь сохранить себя на всякий случай.

– Дело не в этом. Просто я тут с полгода назад в каком-то вестнике судебной медицины прочитал странную и, как мне тогда показалось, даже смешную статью. Я бы позабыл про неё. Но вот сегодня... Автор – немец, доктор наук, психолог рассматривает брак и в частности рождение первого ребёнка в зависимости от физиологического состояния женщины. Оказывается, не так уж и много у женщины возможностей забеременеть. Описывается большое количество случаев, когда женщины, не беременевшие много лет, вдруг точно знали и заявляли: «Я вчера забеременела!» А ещё удивительнее случаи, когда безнадежно бесплодные женщины знали, что вот сегодня они могут забеременеть, и беременели. И женихи, которые по многу лет ухаживают за дамой сердца, ждут и часто дожидаются, когда дама созреет и будет готова. Так же часто мы можем удивляться случайным беременностям от случайных связей, когда рядом были достойные и приличные партии и даже возможности замужества. Ну, в общем, такая смешная статья. Я пересказываю сейчас её содержание безотносительно к нашей ситуации, но если природа распорядилась так, как вышло, то надо знакомиться с мальчиком, с его родителями и решать практические вопросы.

2

В Мариночке росту метр семьдесят пять, музыкальную школу она окончила, изостудию, школу с углублённым знанием английского языка и в большой теннис ещё с десятилетнего возраста регулярно играла. Ну и, конечно, красавицей она была, как и почти все девушки, которые замуж уже собрались.

Как и Мариночка, её жених Саша Попов был единственным ребёнком у своих родителей. Школу он действительно не окончил: в пятнадцать лет решил начать самостоятельно деньги зарабатывать. Парнем он был упрямым, с родителями поругался и стал помогать на вещевом рынке своим тёткам родным, которые челноками гоняли в Турцию да в Грецию за дешевыми импортными шмотками. С первых же более-менее приличных и честно заработанных денег он решил заняться самостоятельным бизнесом: возить из Польши и продавать французскую косметику. Соблазнил Саша посулами ещё двоих своих друзей детства: один из них ради бизнеса институт бросил, другой давно искал, к кому бы прислониться. Дело пошло хорошо, был у Саши талант: занимать пустующие ниши. Отец даже дал ему денег, кредитовав расширение бизнеса. Только вот тот второй компаньон украл у своих поделщиков все деньги и скрылся в неизвестном направлении навсегда. А первый, почувствовав, что не все деньги сладкие, плюнул на Сашин бизнес и восстановился в институте. Отец сыну долг простил, внутренне ухмыльнувшись: урок банкротства в бизнесе бывает

* Предание зверям (*лат.*).

очень полезным, и взял его помощником, посвящая в свои многочисленные операции.

Инициатива в знакомстве моих героев была на стороне Марины. Она заприметила Сашу ещё зимой в спортивном зале, куда они с подружкой ходили играть в теннис. А уже летом, когда встретила его случайно на улице, то поняла она по любопытному взгляду, что и мальчик её узнал. Марина запросто подошла к нему и спросила:

– Тебя как зовут?

– Саша, – ответил тот. – А тебя?

– Марина. Купи мне мороженое, – ответила Марина и посмотрела на Сашу довольно лукаво и в то же время вопросительно.

Так у них вроде всё и срослось, в смысле знакомства.

Непонятно, что у них было общего, если даже то, в чем они были равны, им только мешало: оба они как единственные дети своих родителей были до безобразия избалованы и тщеславны.

Саша привел своих родителей знакомиться с Мариночкиными в одно из воскресений. Выпили те вчетвером бутылку коньяку французского да два чайника чая (хотелось написать «два самовара», да только из самоваров почти никто и не пьет теперь в городе-то), съели пирог с капустой да пирог с малиной.

Под свадьбу сняли теплоход с ресторанами, буфетами, оркестрами. С молодыми спустились по Волге километров на тридцать под музыку, да под шампанское, да под «горько» до какого-то села с разрушенной церковью. Оттуда свадебный кортеж обженённых детей должен был доставить в аэропорт, а там уже и дальше: в свадебное путешествие на круизном лайнере по Средиземному морю.

– Медовый месяц пусть во грехе поживут, а потом надо будет повенчать их, – заявил Иваныч, глядя на полуразвалившийся храм, стоящий высоко на волжской горе.

Сашин папа, которого звали просто Иваныч, как он сам всех просил, был человеком очень категоричным, и Мариночкины родители, сразу уловив это, соглашались с ним во всём. Тем более что тот взял все и расходы, и заботы по свадьбе на себя, ничего не требуя от своих, как бы только ставя их в известность. Человеком он был более чем состоятельным. Часто он то ли прикидывался, то ли действительно уже и не представлял: чем он владеет, а чем уже нет! А чем уже снова владеет.

Был у него и коттедж в ближнем Подмосковье, где жили только два сторожа да друзья иногда заезжали погулять – сам он, прибывая в Москву по делам из своей провинции, останавливался всегда в гостинице «Рэдиссон Роял», где его все знали. Был у него и дом в Испании, который он ремонтировал уже пятнадцать лет, перестраивал и все время оставался недоволен, – летал он туда раз в год. Что у него было ещё, он не помнил, как не помнили этого и все его адвокаты и помощники. В общем, Иваныча достаточно хорошо знали в различных кругах (не будем уточнять – в каких!), и жизненный принцип у него был очень простой: я сделаю все, что смогу, но и вы сделайте всё, что сможете!

Оказалось, что для молодых у него квартира уже есть: уютная, трёхкомнатная, в элитном доме, с подземной парковкой, с закрытым двориком, со сторожем и консьержем.

Через год Мариночка родила своего первенского мальчика. А ещё через два года – второго. А ещё через четыре она не смогла защитить

уже написанную и подготовленную к защите кандидатскую диссертацию, потому что была снова беременна, и родила она двойню, двух очаровательных девочек.

Иваныч души не чаял в своих внуках. Если к пацанам-внукам, как когда-то и к своему сыну, он относился сурово, то от девочек, после того как они начали бегать, да чего-то лопотать, да целовать и обнимать своего деда, он просто таял. Семейство разрослось значительно, и стал Иваныч требовать от молодых, чтобы те перебирались жить в его большой дом, который он перестроил так, что появилась возможность двум семьям существовать в нем практически не общаясь. Даже гараж перестроил: был на две машины, стал на четыре. Дом был действительно большой: бывший сельский клуб с облагороженным зелёным участком за трёхметровым кирпичным забором, когда-то за городом, а теперь уже и не за городом. Были на этом участке размером чуть поменьше гектара и беседки для чаепитий и разговоров, и баня с зимними крытыми верандами, и летняя кухня с камином, в котором можно на вертеле жарить если не быка, то уж барана-то или телёнка точно. В таком доме, по моему представлению, пехотный батальон времён Великой Отечественной войны мог спокойно разместиться на постой.

Молодые согласились.

Хотя и Саша, и Мариночка подспудно понимали, что не желание каждый день общаться с внуками стоит за новой идеей Иваныча, а что-то другое. И это другое было понятно всем: похоронил Иваныч свою половину, Сашину маму. Сожрал её рак моментально, на корню, да так, что, казалось, и хоронить-то будет нечего. Саша как-то легко перенес эту утрату, а Иваныч просто рвал себя изнутри на части – так тяжело воспринял он уход супруги.

3

Незаметно, но уже со времени рождения первого сынишки практически членом новой Мариночкиной семьи стала няня, Зинаида Викторовна. Она стала няней и второму сыну, а вот теперь и с девочками возилась. Была Зинаида Викторовна доцентом пединститута когда-то, но когда на эту научную зарплату не то что новую книгу купить, но жить-то приходилось впроголодь, пошла она в няньки. Занималась она с ребятишками и музыкой, и английским, и гулять ходила, и книжки читала. Марине с ней было легко, она даже вроде не волновалась, когда ненадолго куда-то уезжала и оставляла детей на Зинаиду Владимировну, которая могла пожить с ними несколько дней. А как дочки чуть-чуть подросли, повадились Мариночка с Сашей летать по заграницам раз в два-три месяца: иной раз покупаться в теплых краях, а то так и просто погулять. Когда у Саши что-то не срасталось по времени, Мариночка и сама могла сгонять в Милан за какими-то шмотками для детишек: маечки, трусики, курточки, обувь всякую.

Перебравшись на новое место жительства, большое семейство Марины не просто заняло свою половину дома, которая была больше чем безобразно большой, – оно практически оккупировало весь дом благодаря вездесущим детям с их шумным и все заполняющим играм. Матовые дубовые панели, никелированные и стальные поручни и обкладки, сотни скрытых светильников с приглушенным светом и сияющие дорожные люстры делали дом Иваныча похожим на турец-

кий пятизвёздочный отель. Теперь же детские горшки, стоящие то на лестничных пролетах, то под столом в гостиной или на кухне, разбросанные по всем комнатам игрушки и книжки, рисунки фломастером на кафеле, а то и на обоях, пепельницы с окурками (Мариночка начала курить) стали превращать сказочный дворец, построенный Иванычем, в жилой дом.

А курить Мариночка начала потому, что после третьей беременности и родов опуститься ниже восьмидесяти килограммов она уже не смогла: так и болтался этот новый вес, иногда поднимаясь до гадкого центнера.

Были и ещё постоянные обитатели в этой усадьбе Иваныча. Во-первых, это живущий тут же дядя Коля, который был в доме «мужиком на все руки»: и садовник, и шофер, и электрик, и сантехник. Он был всю жизнь рядом с Иванычем, и никто уже не задумывался – откуда он и почему здесь живёт.

Была ещё приходящая уборщица, дальняя родственница покойной супруги. В обязанности её входили всевозможные действия по поддержанию порядка и чистоты в доме и во всех остальных постройках.

Жил ещё в усадьбе огромный пес-кавказец, которого держали в огороженном запертом вольере, откуда его не выпускали теперь даже на ночь. Был он уже старый. И вообще, с появлением детей пора было задуматься о том, как от него избавиться.

Постепенно, следуя за детьми, весь этот дом стал зоной постоянной ответственности Зинаиды Викторовны. И как-то все с этим не просто смирились, а даже обрадовались. Потому что хозяйка в доме нужна. И дядя Коля, и приходящая уборщица радостно перешли под командование Зинаиды Викторовны.

Истинная причина всей этой пертурбации и переезда Мариночки с семьёй в дом к Иванычу крылась, конечно, в другом: Иваныч после смерти супруги просто начал на глазах дряхлеть. Ему вдруг стало лень работать: встречаться с партнёрами по бизнесу, что-то придумывать, чего-то ждать, кого-то кормить обещаниями, кого-то наказывать. Такое редко бывает с активными мужиками, но бывает. Иваныч ждал, что это дурацкое состояние пройдет, но оно всё тянулось и тянулось – тянулось уже больше года. И дело тут не в возрасте, хотя и приближались семьдесят. Пора дела было передавать Сашке, а для этого он должен быть под боком. Хотя ничего не скажешь, из глупого пацана умный вырос мужик: и схватывает все на лету, и дружить умеет с нужными людьми.

К родителям своим Мариночка теперь ездила в гости совсем редко: только с Новым годом поздравить да с днями рождения. А так чтобы чаю попить, да поговорить, да чтобы ещё и с внучатами – вообще не бывало. Правда, заскакивала каждый раз на минутку после зарубежных вояжей своих, чтобы вручить какой-нибудь сувенирчик. Но редко она даже раздевалась в своём родном доме: всё больше наскоком, в прихожей в щечку мамулю чмокнет, сунет, стесняясь, ей какой-нибудь сверточек и побежит куда-то. И всё скороговоркой: будто оправдывается в чем-то, будто виновата, будто украла что.

Это совсем выбивалось из понятий её папы и мамы, которые почему-то считали, что встречи близких родственников, которые живут в одном городе, должны случаться каждую неделю. Но ездить в гости к Иванычу было профессорам не с руки, и чувствовали они себя в этих гостях неуютно.

Папа при этих редких встречах в прихожей начинал язвить, поминая о какой-то диссертации:

– Где же она, твоя обещанная диссертация?

– Мои четыре диссертации написаны, бегают по дому, и мне их надо ещё много-много лет защищать, – в том же духе отвечала ему Мариночка.

– Разденься, сядь, посидим, поговорим, – говорила при тех же встречах мама.

– Ой, мамуля, – отвечала впопыхах Мариночка, – в парикмахерскую я записана.

Были варианты: «в солярий», «на фитнес», «в автосервис», «в бассейн».

Саша полностью ушел в бизнес, который перевалил на его плечи Иваныч, и не бывал дома с раннего утра до позднего вечера. А Мариночка, видимо, родилась не научным работником, а домашней хозяйкой. Поварихой она стала прекрасной, дети у неё ухоженные, здоровые, умненькие, рубашку Саше своему каждое утро свежую, выглаженную подаст, галстук завяжет. Хотя времени у них с Сашей на личную жизнь почти не оставалось – только перед сном удавалось Мариночке с ним, усталым и вымотанным, перекинуться парой слов и предложить какое-нибудь мероприятие на выходные. Саша со всеми предложениями соглашался, но Мариночка понимала, что планы всегда могут измениться. Мариночка всё понимала! Она была умная и сильная – в этом она сама себя убеждала каждый день, и это у неё получалось.

Как-то раз она, вернувшись из школы с родительского собрания не очень поздно, застала Зинаиду Викторовну сидящей на нижней ступеньке лестницы, ведущей на второй этаж, всю в слезах. Сверху разносился на весь дом ревуший голос Иваныча:

– Зинка, я тебе не то что по шее – я тебе ещё и жопу дубцом напорю, курва рваная. Сказал же тебе, вошь лобковая, чтобы чай мне на второй этаж принесла. Дети у неё! Дети твои подождут, если я позвал.

Мариночка встала как вкопанная. Что-то у неё поднялось – она почувствовала – прямо из чрева, через грудь и загудело в голове.

– Зинаида Викторовна, это он что – вас обидел? Это он с вами так разговаривает?

Зинаида Викторовна посмотрела на Мариночку глазами, полными слёз, и промолчала.

Как была, в модном длиннополом плаще-тренчке от Бёрберри, с сумкой Hermes Picotin через плечо, она поднялась по лестнице и уперлась лицом в лицо со своим свекром Иванычем. Тот стоял, облокотившись на перила, в своей домашней, полосатой, похожей на больничную, пижаме.

– Послушай, ты, старый козёл, – сказала Мариночка почти спокойно, едва сдерживая свой гнев, – если ты хоть раз ещё посмеешь поднять голос на Зинаиду Викторовну, если я только узнаю об этом, я тебя не только с лестницы спущу, не только ноги переломаю – я тебе башку отшибу. Я тебе это точно говорю, и ты можешь в этом не сомневаться. Зинаида Викторовна ухаживает за моими детьми, заботится о них и воспитывает их, и ты должен относиться к ней как к своей любимой и ненаглядной. Понял? Если только я узнаю... Не посмотрю на твоё коммунистическое и бандитское прошлое.

Иваныч оторопело смотрел на эту крупную гневную красивую женщину, и всколыхнулось в нем что-то знакомое, но забытое, и испугался он, и понял он, что эта женщина обязательно сделает то, что обещает.

Вечером случился с Иванычем удар – инсульт, если по-научному.

Потом восстановился Иваныч. Три недели в больничке провалялся да месяц в доме отдыха, куда чуть не каждый день ездили к нему все: и сын Саша, и Мариночка, и внуки, и дядя Коля, и даже Зинаида Ивановна.

Восстановился Иваныч да, видимо, не совсем. Вернувшись домой, он больше все на диване лежал, а то и в постели своей, не вставая попустому: только если по нужде да за стол общий покушать. И ещё – немножко хитрить он начал: подзовёт внучек своих и уговаривает, что, мол, если мамка вам книжку будет на ночь читать, приходите ко мне, чтобы она и мне почитала. Девочки маме своей все доложат, а та не возражала: шла с дочками вечером в комнату к старику и читала вслух «Колобок» или «Рукавичку».

Чувствовала и Мариночка свою вину.

УРОКИ ГРУЗИНСКОГО

Приезжая в чужой город, всегда стараюсь попасть на местный базар. Вот где можно сразу разглядеть, какой народ живет в округе, и какие грибы-ягоды в здешних лесах растут, и какая рыба в реке-море водится, и какие плоски-матрешки промысловики-умельцы руками мастерить могут. Хотя с национальным составом не разберешься: на рынках и базарах много приезжих торговцев, так было и двести лет назад, и сейчас так. Но некоторые колоритные местные особенности все равно можно разглядеть: я помню, как мы с моим другом, к которому я приехал в гости в Тбилиси, бродили по центральному рынку, и он искал, чтобы меня угостить, сыр домашнего приготовления. Ему нужен был сыр, который приготавливался если не в его селе, то хотя бы в его районе: там, в горах, где он родился и вырос. Так моя бабушка в детстве на базаре всегда спрашивала – из какого района картошка, из Лысковского или из Спасского.

Многие рынки знамениты на весь мир: «египетский базар» в Стамбуле, на котором продают лучший в мире кофе, умопомрачительные барахолки в Париже «пуке», в переводе на наш – «блошиный», это название разбежалось по всем городам земли, или каирский рынок Хан, о котором можно рассказывать часами. У нас в стране есть тоже прославившиеся на весь мир рынки: Черкизон московский или Привоз одесский. Да что там Москва и Одесса – с незапамятных времен в самых небольших городках и селах центральное место – базарная площадь; можете даже не спорить, рассказывая про фонтаны, памятники Ленину или церкви и мечети.

У нас в городе тоже есть несколько рынков, про каждый из которых можно написать книгу. Но книгу в следующий раз, а вот пару слов я должен сказать. На площади Сенной был Сенной рынок, и пока его не перенесли поближе к автостанции после открытия Большого трамплина, самого большого в стране, торговали на нем семечками, картошкой и квашеной капустой. И стояли понуро, засунув свои большие головы в холщовые торбы с овсом, деревенские лошади, притороченные к деревянным пряслам из оструганных слег.

Когда-то, видимо, здесь велась торговля сеном, которое привозилось из деревень, отсюда и название. Но когда был открыт трамплин и стали у нас в закрытом городе проводиться крупнейшие всесоюзные соревнования, да и международные, то в такие дни мужское население просто сходило с ума. Трамваи Городского кольца шли на Сенную облепленные пацанами и мужиками: висели на подножках, ехали на крышах, на колбасе убиралось по пять человек. Все мальчишки города в возрасте от десяти до пятнадцати лет бредили первыми чемпионами и рекордсменами трамплина: Солдатов, Князев, Сахарнов, а потом героями ста-

новились Самсонов, Коба Цакадзе. А будущие чемпионы СССР и мира Веретенников и Гарик Напалков тогда ещё и сами пацанами были.

Вот толпы болельщиков и смели, и вытоптали Сенной рынок. Сначала он перебрался на другое место, чуть подальше, а потом и вовсе скончался.

На Среднем рынке, что напротив телецентра, мы с пацанами продавали желтогрудых чижей и пёстрых щеглов, которых ловили сетками и чапками в оврагах Пушкинского садика. Ещё, помню, там сидел старик-китаец дядя Лю, он торговал гипсовыми, ярко раскрашенными какими-то просто ядовитыми красками кошками со щелкой на башке (копилка такая), и их охотно у него покупали.

Мытный рынок был для богатых, или, как их ещё называли, «деловых». Там если и не найдешь сразу того, что надо, то можно было заказать диковинное лакомство на свой вкус, и на следующий день всё будет привезено из Москвы, если у местных не найдется. И до сих пор хорошую черную икру из-под полы и живую сурскую стерлядь можно купить только там.

На Маяковке, в смысле на Рождественской, был тоже базарчик, затерявшийся между домами, но был он победнее Мытного.

Да что про все эти базары вспоминать – главным рынком города всегда был Канавинский. Главным его делала близость к Московскому вокзалу и ещё, конечно, память о гудевшей когда-то рядом Нижегородской ярмарке.

Вспоминая, я сейчас не могу понять – почему мы так любили болтаться по всяким базарам и рынкам. Хотя в детстве на всё времени хватало: и на школу, и на футбол, и на кружки какие-то в домах пионеров, и на личные секретные увлечения.

С Жоркой Дадиани я познакомился на трамвайной колбасе: я прыгал на ходу, и он мне помог зацепиться за какой-то выступ уже идущего трамвая, мы ехали смотреть прыжки с трамплина. Чемпионом страны стал Коба Цакадзе, Жоркин земляк. Жорка тогда умудрился с ним сфотографироваться и долгое время хвастался в школе этой фотографией.

А близко я с Жоркой сдружился, уже занимаясь в авиамodelьном кружке, куда я ходил несколько лет и куда затащил его. Этот районный Дом пионеров, где мы строга́ли, резали и клеили, располагался в большом бывшем купеческом особняке и выходил своим заросшим садом, а может, даже небольшим парком прямо на стадион «Водник», где мы и испытывали свои самодельные самолеты. Там мы крутили кордовые модели, управляли эфиром таймерные, разгоняли планеры.

Жорка пришел в нашу школу в шестом классе, жил в соседнем дворе, и откуда он к нам свалился, мы с пацанами долго не могли понять. Жорка был маленький, худенький, жилистый, с огромной гривой длинных черных волос. Кроме авиамodelьного кружка он ходил в музыкальную школу, где учился играть на гитаре, гонял с нами в футбол и никого не боялся. Я даже неправильно выразился.

Мы все в те годы ходили с ножами в кармане, и не для того чтобы в случае необходимости ткнуть кого-то в бок, а просто многие наши мальчишьи игры были связаны с ножичками или что-то на ходу изготавливалось с их помощью: луки, стрелы, рогатки, кораблики, да мало ли. Ножи были у всех разные от «школьных» и «шахматных» до охотничьих с выкидными лезвиями и «финских» с наборными ручками.

Так вот, однажды какой-то дядька в нашем школьном дворе, где мы собрались покурить после уроков, застав нас, треснул Жорку по затылку

и велел нам сматывать удочки и идти по домам. Если бы вы видели, а мы-то видели, как он бежал от Жорки, когда тот вынул из кармана нож. И Жорка бы пырнул его, если бы дядька не успел вскочить на подножку проходящего трамвая.

Жил Жорка с матерью в комнате с подселением в коммунальной квартире, где на кухне кроме них были ещё три хозяйки. Маму Жоркину звали Машей, она была очень красивая и совсем не грузинка, а самая настоящая русская, хотя мы знали, что они с Жоркой переехали к нам в город из Грузии, где у Жорки убили отца. У неё была большая русая коса, которую она укладывала халой на голове, и василькового, даже небесного цвета глаза. Жорка мать свою очень любил и помогал ей во всем, даже совсем не мужском: таскал на двор в тазу стирание белья и помогал его развешивать, ходил с ней на базар и пер оттуда тяжёлые авоськи с картошкой или капустой. В общем – заботился.

Мы в детстве обычно знали друг про друга всё. Но вот у Жорки был какой-то секрет, который нам разгадать долгое время не удавалось. Довольно часто мы прогуливали уроки, чтобы сходить в кино, проверить незапертый сарай на предмет чего-нибудь пожрать или просто погонять в футбол. И всегда мы прогуливали небольшой компанией в три-четыре человека. Как правило, в нашей компании оказывался и Жорка. Но иногда, раз в неделю, а может, через две недели, он бессистемно игнорировал мероприятия нашей компании. Нам он говорил, что ходит на какие-то занятия, но мы знали, что это не так, потому что не может быть занятий без твердого расписания.

В такие дни сразу после уроков он садился на трамвай первого маршрута, который шел на Московский вокзал, и куда-то уезжал. Возвращался он обычно часа через три или четыре. Мы спрашивали у него про его поездки много раз, но он отмалчивался или говорил про какие-то важные тренировки, но мы понимали, что он врёт. Предположения мы делали разные – от самых смешных и несуразных до самых страшных и печальных. В конце концов нами, пацанами нашего двора, была разработана секретная операция, в результате которой мы должны были раскрыть Жоркины отлучки.

Мы подговорили Машку Чуплыгину из параллельного класса как бы невзначай сесть в тот же трамвайный вагон, что и Жорка, и незаметно проследить за ним. При этом призом для неё была возможность каждый день, пока она не выполнит своей миссии, есть мороженое с Вовкой Сюзёмовым, сидя на скамеечке около трамвайной остановки, с которой должен был отъехать Жорка в неизвестном для нас пока направлении, ждать его, а потом и преследовать. Чуплыгина была тайно влюблена в Сюзёмова и при всем её презрении к нашим мальчишьям затеям отказаться не смогла. К тому же главный приз ждал её впереди: заключался он в том, что Сюзёмов обязался сводить Машку в кино, если ей удастся разгадать засекреченную Жоркину точку. Сидеть на скамеечке с мороженым и в темном зале кинотеатра было удобно – Машка была на голову выше Вовки, такое бывает с девочками в непродолжительный период их жизни, но потом мальчишки это недоразумение, как правило, наверстывают.

Мороженое пришлось есть три дня, и Машка уже вошла во вкус. Кроме того, я был уверен, что она специально провалит операцию, чтобы еще разок через неделю побаловать себя. Однако я ошибся.

Чуплыгина вернулась через два часа и уверенно разыскала всю нашу кодлу на стадионе «Водник», где мы гоняли мяч. Она уселась на три-

бунной скамейке и нетерпеливо постучала по деревянной сидушке, но мы уже и так её заметили и, с интересом поспешая, направились к ней. Даже Сюзёмов поторопился к нашей Мата Хари, которая уже поглядывала на него и довольно плотноядно.

Отчет Машкин был короток и содержателен: Жорка доехал до конечной остановки, потом прошел пешком до Канавинского рынка, ничего не покупая и не разглядывая, прошел до одного из дальних прилавков, где толпились какие-то взрослые мужики, черные, с усами и в больших кепках. Мужики говорил на своем каком-то языке – наверное, на грузинском, потому что Жорка там остановился, а потом и вовсе стал с этими мужиками болтать о чем-то. Грузины его хорошо знали, хлопали его по плечу и угощали орехами и сушеными фруктами.

На следующий день Машка с Сюземовым пошли в кино.

На следующий день Жорка сказал мне, что видел на Канавинском рынке Машку Чуплыгину. И я спросил, не таясь у Жорки:

– А ты зачем едешь на Канавинский рынок?

– А поговорить.

– В смысле?

– Что значит – в смысле? Я хочу говорить на своем родном языке. Я люблю на свете только две вещи: маму и свой родной грузинский язык. Он красивый. Ты знаешь, как красиво поются грузинские песни? Их поют взрослые мужчины на несколько голосов.

– Так у тебя же мама русская, значит – ты русский и твой родной язык русский.

– Нет, я – мингрел. У меня фамилия мингрельская. Это такая есть национальность в Грузии. А мой родной язык тот, на котором я начал говорить в детстве. То есть – грузинский. Ты даже представить не можешь, какой он красивый и музыкальный. Я прямо теплом наполняюсь, когда разговариваю с моими земляками на базаре. А они меня понимают. Ведь когда я вырасту, я вернусь в Грузию. Я должен туда вернуться – ты этого не поймешь. А может, когда-нибудь и поймешь – не знаю.

– А зачем тебе возвращаться в Грузию? Что, тебе здесь плохо?

– Нет, ты не понимаешь! Там моя родина, и я должен вернуться туда. А поэтому я должен не забывать свой язык. Вот потому я и езжу на Канавинский рынок, что бы поговорить с земляками. Это – как на уроки. А потом, я просто скучаю, даже тоскую, когда долго не слышу его.

Игорь АЛЬМЕЧИТОВ

Родился в 1973 году в Воронеже. Окончил факультет романо-германской филологии Воронежского государственного университета. Проходил срочную службу в Российской армии. Публиковался в журналах «Подъем», «Урал», «Дальний Восток» и других, в сетевых изданиях. Победитель литературного конкурса русскоязычных авторов «Литературная Вена» в номинации «Малая проза» (2013).

Живет в Воронеже.

ЗИМА ДЕВЯНОСТО ПЯТОГО

On Thu, 06 Oct 2005

Николай Р... <...@mail.ru> wrote:

Игорь, здравствуйте.

Я прочитал вашу вещь, спасибо. Знаете, пока – не пойдет. В рассказе слишком много явных ляпов, править и редактировать ее – труд неподъемный. Много говорить не буду, коротко разберу первый абзац, показываю ляпы:

1. От переноски ПКМ за 15 минут не сдохнет даже самый дохленький боец.

2. Бойцы НИКОГДА не усиливали броники (за 20 лет службы ни разу такого не видел), чаще они, наоборот, эти пластины выкидывают для облегчения (а сержанты их за это лупят).

3. Пулеметчику никто не даст автомат – у гранатометчиков второе оружие АКСУ (раньше давали пистолеты Стечкина), а пулеметчику – по штату не положено.

4. Вес пулемета со 100-патронной лентой – около 12 кг, а не 10.

5. Какой, к чертовой бабушке, привал в ауле?! Жить надоело, что ли?

Игорь, для вашей же пользы – лучше не надо. Рискуете заработать лавры Ляписа Трубецкого с его «стремительным домкратом», оно вам надо? Читатели и авторы нашего сайта – народ строгий и въедливый, старые солдаты, не знающие слов любви. Залажают, бессердечные гады. Я бы посоветовал вам выложить ваши вещи на сайте у Мошкова, в журнале «Самиздат». Туда все примут. Ну и отзывы читателей посмотрите, поймете, над чем работать. А рассказы у вас неплохие. Не в моем вкусе, правда – не люблю депрессию и не понимаю вообще – какая на асфальте может быть депрессия? – но все равно, есть стиль и чувство слова. Без обиды, ладно?

*Удачи!
Николай*

On Fri, 07 Oct 2005

«Игорь Альмечитов» <... @rambler.ru> wrote:

Добрый день, Николай.

Без обиды...

Рассказ был самый первый и любительский, потому слабый – согласен на все 100%. Даже то, что послал его вам на ознакомление, уже было ошибкой с моей стороны. Хотя все же лично вас я и не знал, когда посылал рассказ вам. Думаю, в какой-то степени меня это извиняет.

А теперь по вашим же пунктам:

1) Вы сами лежали под пулями, чтобы рассуждать о подобных вещах? Хотя бог с ним... Ближе к теме...

«От переноски ПКМ», когда недосыпаешь, а то и вообще не спишь по несколько суток кряду, когда сам ПКМ весит 9,9 кг, когда на вас, помимо этого, висит еще килограммов 40–45 веса, пробовали ходить, я не говорю – бегать?

2) Вы видели последствия того, когда одиночные тонкие пластины пробивала пуля калибра 7.62 и рубила кишки в капусту, метаясь от одной стенки бронежилета к другой? Я не знаю, кто «не усиливал бронежилетов НИКОГДА», – на моих глазах это делали десятки человек, именно потому, что стереотипы кабинетных теоретиков там не срабатывали (с тем, что рассказ слабый в плане стилистики, я уже согласился, но о вещах, о которых сами не имеете представления, не судите бога ради – я видел результаты того, как у комбата одиночная ТОЛСТАЯ пластина едва выдержала скользящее попадание пули 7.62 калибра и сломала ему ребро). Что касается сержантов – то там различия в званиях не имели значения, но надо отдать сержантам должное – и они это делали – я имею в виду утяжеляли бронежилеты.

3) Дорогой вы мой, уж извините за обращение, вы городите абсолютную чушь, вбитую в вас не знаю даже где – возможно, в ваших же военных училищах. Лично я на себе таскал почти постоянно ПКМ, АКС (потому что ПКМ, если не знаете, периодически клинит – неважно кто и что считает – я говорю о собственном опыте и опыте всех тех, кто меня тогда окружал) для подстраховки и не менее 5–6 магазинов к нему. Я постоянно таскал с собой несколько гранат, потому что ваши военные измышления здесь просто пустые слова, когда перед тобой духи, и не дай бог не хватит несколько десятков патронов – не буду говорить, что делали с солдатами там, и вам не дай бог увидеть вживую такое – утяжелили бы и бронежилеты, и таскали бы по несколько автоматов сразу... Я также таскал с собой «Муху» – одну как минимум и почти постоянно, когда не надо было нести чего-то еще. Если ничего не знаете о той войне из личного опыта, забудьте про ранжирь и стереотипные инструкции – ребята просто хотели выжить и ненавидели и армию, и таких инструкторов, потому что не видели смысла ни в той войне, ни в присутствии в Чечне, и героизма там было одновременно и с гулькин хрен, и в то же время на каждом шагу. И не ищите противоречия в моих словах – если бы побывали там, то поняли бы, о чем я говорю. Кстати, «не по штату» – таскал с собой сначала один, а потом два охотничьих ножа... Так... на всякий случай. Думаю, этого в штатном расписании тоже не найдете...

4) Если пишете про 10 или 12 килограммов ПКМ, то хотя бы удосужьтесь внимательно прочитать мою пусть и слабую прозу – вот вам дословно: «К десятикилограммовому пулемету была пристегнута

коробка с лентой в сотню патронов» – где вы видите общий вес, прописанный здесь?

5) Где вы заметили в моем рассказе «аул»? Грозный – это Грозный, и на другом берегу Сунжи – частные кварталы – хоть выкладки давайте верно.

Жаль, что вы не поняли основного – насколько грязной была та война (как, впрочем, наверняка и любая другая) и скольких она сделала калеками – либо моральными, либо физическими. Мне просто стыдно за вас – «старых военных, отслуживших по 20 лет».

Извиняться не буду – если умный человек – поймете, что просто отвечал на ваше неказистое мнение.

Хочу, чтобы вы поняли – во мне не говорит уязвленная гордость по поводу того, что рассказ вам не понравился – я перевалил через тот возраст, когда мне требовалось признание в глазах окружающих, а только против однозначных и упертых мнений. На это могу ответить только одно – почитайте Монтеня – вот 26-я или 27-я глава его «Опытов» так и называется – «Безумие судить, что истинно и что ложно, на основании нашей осведомленности».

Вот на этом и предлагаю завершить нашу переписку.

Игорь Альмечитов

Наступит день, и мы вернемся,
И будут нам светить издалика
Не звезды на погонах у комбата,
А звезды на бутылках коньяка.

От ремня ПКМ, перекинутого через плечо, и напряжения уже через четверть часа начало ломить мышцы спины. Каждую секунду, направляя дуло пулемета в пустые и темные глазницы окон, разбитые калитки, щели в заборах, я ожидал очереди духов...

Поверх бушлата я надел двадцатикилограммовый бронезилет, специально мной утяжеленный – во все кармашки спереди и сзади, помимо тонких, в два слоя были всунуты толстые металлические пластины – хоть какой-то шанс остаться живым при прямом попадании пули или осколка. За спиной висел АКС-74 «Калашников». К десятикилограммовому пулемету была пристегнута коробка с лентой в сотню патронов, в четырех карманах бронезилета на животе были вставлены магазины с автоматными патронами, в карманах на груди и спине упаковки патронов, в карманах бушлата лежали несколько гранат РГД и Ф-1. Из-за всего этого уже некуда было вешать «мух» и «шмелей» – одноразовых гранатометов и огнеметов...

Утро было сырым и туманным, небо было еще темное, но чувствовалось, что скоро начнет светать. Под ногами то и дело хрустели осколки оконных стекол и битый кирпич. Несмотря на то что только начался февраль, снега не было вообще.

Шли двумя группами – под прикрытием домов и деревьев, по обеим сторонам дороги, ожидая привала и возможности поспать хотя бы несколько минут. После суток напряжения при малейшей остановке глаза начинали слипаться, ступни и спину ломило от усталости, но неживая пугающая пустота улиц не давала окончательно расслабиться...

Первая очередь разорвала тишину и, казалось, наконец расставила все по местам, хотя каждый в глубине души надеялся, что в это утро нам повезет и мы не натолкнемся на духов...

Стреляли по другой стороне улицы, по второй группе. Я только прошел аккуратно уложенную кучу кирпичей перед очередным домом. С первым выстрелом резко присел на колени. Понадобились долгие полторы секунды, чтобы вскинуть пулемет, направить ствол в сторону разбитого дома на перекрестке метрах в тридцати от меня, перевернуться на задницу и нажать на спуск.

Все уже стреляли. Звуки ПКМ наложились на остальную стрельбу и почти полностью заглушили ее. В таком сидячем положении, зажав приклад пулемета под мышкой, я продолжал палить по пустотам окон бронебойно-зажигательными пулями, от которых внутренности дома светились нереально розоватым, призрачным светом. После дюжины выстрелов в доме наступила тишина. По инерции я продолжал жать на спуск и выпустил еще десятка полтора патронов, одновременно выливая на духов самые грязные ругательства, которые знал. Вокруг стоял такой же мат, по мере затихания стрельбы становившийся все отчетливей.

Пулемет резко заклинило – в ленте не было одного патрона. ПК щелкнул вхолостую и затих. Я воспользовался затишьем и отполз за кучу кирпича. Там уже сидели несколько человек. Некоторые из них периодически высовывались и давали короткую очередь по дому. Я открыл крышку ПК, поправил ленту и передернул затвор. Чика стянул с плеча огнемёт и орал на всех, чтобы заткнулись и не стреляли.

Наступила относительная тишина – постоянно кто-то срывался и стрелял, заглушая собственные злость и страх. Казалось, даже сердце билось где-то в самой глотке. В ту же минуту духи снова открыли огонь – мелкие яркие вспышки и разрывы выстрелов, вдвойне гулкие в коротком затишьи, словно забивающие гвозди в издерганные нервы.

Казбек высунулся из-за кучи кирпича и разрядил в дом полмагазина. Я подполз к выступу, отодвинул Казбека рукой и, не целясь, выпустил в контуры дома еще двадцать-тридцать патронов. После ПКМа опять наступила тишина. Чика, наконец, приготовил «шмеля». Несколько человек дали по короткой очереди для прикрытия. Он встал в полный рост – все сидевшие рядом заткнули пальцами уши, – прицелился и выстрелил. Если в доме на тот момент остался кто-то еще, то в доли секунды заряд «шмеля» выжег все живое...

Кто-то отдал приказ отходить. Один за другим короткими перебежками отошли метров на пятьдесят назад в переулок, под прикрытием одинаково серых полусожженных домов, чуть больше месяца стоявших без хозяев и уже пришедших в полную негодность. Во всех оконных проемах не было стекол, редкие рамы болтались на одной петле либо обуглились до такой степени, что при прикосновении осыпались густой черной пылью.

Человек шестьдесят замерло в ожидании нового приказа. Некоторые прислонились к заборам или стенам домов, большинство уселись на пожухшую прошлогоднюю траву. Почти все тихо переговаривались.

– Вроде бы ребят из разведроты зацепило...

– Говорят, Жуков ранен...

– Хоть бы назад за речку отошли...

– Может, через недельку выведут отсюда. И так уже половины народа нет...

– Кому ты на хрен нужен... Пока всех не перебьют, хрен кто отсюда вылезет...

Совсем недавно мы переправились через Сунжу. Многие уже мечтали о том, что их легко ранят и будет возможность вырваться из этой мясорубки, по крайней мере в госпиталь, к нормальной кормежке, покою и тишине. Туда, где нет войны...

Небо, наконец, засерело. Туман не рассеивался, казалось, даже сгустился оттого, что в утренней мгле стало видно, насколько он плотен.

Кто-то тронул за плечо. Стрельцов, замком 7-й роты.

– Где остальные?

– Кто «остальные»? – не понял я.

– Разведзвод где? – «Остальные» – это Роман и Ящур. Три человека – остатки всего взвода.

– Не знаю... Здесь где-то.

– Давай, ищи их и на угол. Если что... – Он задумался на мгновение и махнул рукой – делай, мол, что хочешь.

Вставать страшно не хотелось. Не спали уже больше суток, и эта остановка казалась достаточным поводом для отдыха. Романа нигде не было видно. Я зацепил Ящура, ворчавшего под нос ругательства, и поплелся с ним на угол. Метрах в двух от выступа лег на сырой асфальт, усыпанный отвалившейся штукатуркой, подполз к краю фундамента и выглянул на улицу, только что оставленную нами. Ящур устроился метрах в трех сбоку, под деревом.

Нижнее белье промокло от пота, сочившегося от напряжения. Холода не чувствовалось. Минут на пятнадцать наступила полная предрассветная тишина, лишь из-за спины слышались шепот и обрывки разговоров. Я лежал и матерился сквозь зубы. Было обидно оттого, что остальные отдыхали всего метрах в двадцати позади, и страшно, что в любой момент могли появиться духи. И хотя за спиной были свои и это вселяло относительное спокойствие, первому все равно пришлось бы подставляться мне. Страшно еще и оттого, что духи могли появиться не только из-за угла, но и с улицы напротив, а в этом случае я был бы у них как на ладони.

Я лежал и клял на чем свет стоит войну, Чечню, духов, судьбу, занесшую меня в разведзвод и кинувшую на этот никому неизвестный переулок Грозного. Ящур вторил мне в унисон. Материл я и его за то, что он, идиот паршивый, лежал на том же углу рядом со мной, а не спал сейчас где-нибудь дома под Краснодаром в тепле и чистой постели. И он был благодарен мне за мой мат, а я ему за его, потому что это было единственное, что позволяло чувствовать, что ты не один и все еще жив, вселяло надежду, что когда-нибудь все это для нас наконец закончится. И я знал, что если духи появятся, то дальше нас они не пройдут. И не потому, что силу давало ощущение, что за нами есть много людей, которые смогут прикрыть нас, и не потому, что мы – я и Ящур – должны их защитить, – плевать нам было на это, – а потому, что духи просто споткнулись бы о наши злость и усталость и не сдвинулись бы с места, пока у нас оставалось хоть по несколько патронов в магазинах.

Бушлат и штаны отсырели. Иногда я выглядывал за угол – улица была пустой. Напряжение не спадало. Неожиданно послышались звуки передергиваемых затворов. Я махнул рукой Стрельцову. Тот мигом подбежал ко мне. Я показал в сторону улицы, затем на затвор своего автомата. Он кивнул головой, показывая, что понял. Мы замерли в ожидании. Прошло минут пять. Тишина. Опять слабые щелчки затворов.

Ящур заерзал под деревом. Я повернул голову к Стрельцову, показывая сначала на ночной бинокль, висевший на ремне у него на шее, потом глазами в направлении темного переулка напротив. Он поднял бинокль, поводил им несколько секунд по сторонам и отрицательно покачал головой. Пусто. И слава богу, хотя это и не особенно успокаивало.

Наконец, спустя почти час ожидания, пришел приказ занимать окрестные дома.

Полностью рассвело. Утро было серое – туман так и не прошел окончательно – и промозглое: дышалось с трудом – в легких, казалось, оседала сырость, пропитавшая воздух.

Разместились именно в том доме, на углу которого я провалился целый час, каждую секунду ожидая очереди духов. Дом был громоздкий и неудобный – комнат десять с верандой из свежего дерева, выходящей во внутренний дворик.

В одной комнате разместились человек пять. Первым делом задвинули оконные проемы шкафами с одеждой и, хотя было холодно, ни жечь костер, ни обустроиваться не стали – только стряхнули осколки стекла с обивки диванов и повалились спать.

Мельников, командир первой роты, осторожно ощупывал ногу – зацепило пулей. В госпиталь ехать отказался принципиально: так и ходил – прихрамывая и болезненно морщась. Сережка Смирнов из разведроты с недоумением и тоской озирался по сторонам. В руке у него до сих пор был зажат армейский лифчик, заполненный гранатами. Командира роты Жукова только что увезли в тяжелом состоянии, без сознания. Жуков шел первым, когда началась перестрелка. Пуля попала в гранату в лифчике и срикошетила в пах, перебив какие-то артерии. Еще троих ребят из разведроты увезли с легкими ранениями – почти всем в ноги. Не зацепило одного только Смирнова. И сейчас он не понимал, то ли радоваться тому, что остался жив, то ли плакать, что так и не удалось уехать отсюда.

Я поставил пулемет на стол, стащил автомат со спины, вытащил из ПК пустую ленту и начал заполнять ее. Ящур ворочался на диване, тяжело дыша и устраиваясь поудобней. Бронежилет мешал. Прокрутившись с боку на бок пару минут, он замер и тихо засопел, стараясь побыстрее согреться. Роман уже спал на одном из диванов, повернувшись ко всем спиной.

Кто-то зашел и сказал, чтобы переходили в другую комнату. Там в большой кастрюле уже горел костер и вокруг, греясь, сидели несколько человек. К оконному проему приставили огромный шкаф. Было темно, но тепло. Минометчики Боря и Грек натащили откуда-то матрацев, перин и одеял и устраивали вдоль стены лежбища. Установили дежурство по двое: один на крыше с моим ПК, второй – у ворот. Мое было через два часа. Я вышел во двор. Чика надрывался, таща найденный в доме сейф. Я помог ему. Сейф оттащили в угол двора. Чика достал шашку тротила, отрезал кусок бикфордова шнура, закрепил взрыватель, вставил шашку в замочное отверстие и поджег. Мы разбежались. Через несколько секунд раздался взрыв. Сейф подлетел метра на полтора в воздух и грохнулся оземь. Вместо замка зияла дыра из лепестков рваного и обугленного металла. Ценного внутри ничего не было. Чика засмеялся:

– Видал, как шибануло, – восхищенно протянул он, – аж взлетел!

Минут через пять нашелся еще один сейф. Его вытащили за ворота и взорвали – также пустой. Все разочарованно разошлись...

Через два часа я полез на крышу. Лежать было холодно – даже с одеялом, принесенным с собой. Проворочавшись с полчаса, я не выдержал и развел небольшой костер в ржавом корыте, найденном здесь же, на чердаке. Весь чердак был завален старыми досками, поломанными стульями и прочим хламом, так что дров хватало. Стрельба по городу не умолкала ни на секунду. Чаще всего автоматные или пулеметные очереди – то приближаясь, то удаляясь. Вдалеке слышалась артиллерия. Иногда взлетали три зеленые ракеты: сигнал не стрелять – идут свои.

Было около двух, когда Ящур полез менять меня.

Я зашел в комнату погреться. На столе стояла открытая банка помидоров. Съел пару штук. Больше ничего не было. В комнату ввалился Борис с парой стульев для костра, предложил сходить в соседний дом поискать, возможно, окажется что-нибудь съестное.

Перелезли через забор. Я махнул Ящуру рукой, чтобы прикрыл, если что случится. Дом казался относительно целым – даже стекла в окнах, выходящих во двор, были не разбиты. Выбили двери, зашли, но внутри ничего съедобного не было. Во дворе стояла еще одна постройка – то ли дом, то ли сарай. Я выбил ногой замок и вошел внутрь. Две пустые комнаты. Борис полез в погреб. Начал передавать банки с компотами и соленьями – всего штук десять. Я крикнул ему вниз, что этого достаточно, больше все равно не дотащим. Он вылез, вытер одну банку рукавом бушлата, достал штык и в двух местах пробил металлическую крышку. Отпил грамм двести и передал банку мне. Я тоже выпил и отставил банку в угол. Нашли пару сумок, сложили все в них и пошли назад.

Опять перелезли через забор. Ящур сверху попросил попить – я отдал ему одну банку с вишневым компотом. Зашли в комнату и выставили все на стол.

У огня сидели замком 9-й роты капитан Матвеев и Рябинин, молодой лейтенантик, сейчас исполняющий обязанности командира разведвзвода.

– Где были?

Борис махнул рукой в сторону открытой двери, указывая на соседний дом:

– Да здесь, рядом, товарищ капитан.

Откуда-то принесли хлеб. Все сели за стол и поели. От тепла начало клонить в сон – сказывалось, что не спал уже вторые сутки. До дежурства оставалось больше трех часов. Я разделся и повесил сырой бушлат у костра на спинку стула. Залез в самый дальний угол под толстенное стеганое одеяло, укрылся с головой и начал греться. Через пару минут стало тепло. С улицы донеслись автоматные выстрелы. Стреляли совсем рядом, через улицу. Звуки очередей начали убаюкивать. Приятно было сознавать, что ты не стреляешь где-то там, снаружи, а лежишь под одеялом, как гражданский человек в мирной жизни, и собираешься уснуть. Сознание переключилось на что-то другое, далекое отсюда, образы начали путаться. Через пять минут я уже спал глубоким сном.

Около шести меня разбудили заступать на пост. Уже стемнело. Оказалось, что это время произошло несколько событий. Жуков, командир разведроты, умер, так и не придя в сознание. Час назад увезли начальника оперативного отдела бригады Нужного. Ранение было очень тяжелым, и говорили, что тот вряд ли выживет. Так и случилось. Как оказалось, его даже не успели довести до госпиталя. Все произошло настолько глупо, что до сих пор не укладывалось ни у кого в голове.

Нужного, как всегда, потянуло на решительные действия. После того как его назначили начальником разведки группировки, он надумал делать глубокие разведрейсы в тыл к духам. Каждый раз, возвратившись назад, ребята ощущали, будто вернулись с того света.

На этот раз, захватив с собой шесть человек, Нужный пошел в сторону, где утром был бой, и наткнулся на чеченцев. После короткой перестрелки духи исчезли, а он, вместо того чтобы уйти, приказал оставаться в доме, надеясь дожидаться их возвращения. Прошло, наверное, больше часа, когда Казбек первым увидел, как через забор в дальнем углу двора перелез сначала один чеченец, осмотрелся, и за ним появился второй. Казбек позвал Нужного.

– Товарищ полковник, духи. Разрешите, я их положу, – Казбек был из Кабарды и, когда волновался, говорил быстро, и акцент усиливался настолько, что невозможно было разобрать отдельных слов.

Нужный отрицательно покачал головой.

– Возьмем живыми.

Казбек настолько разволновался, что полностью перешел на мат и шепотом орал на Нужного:

– Товарищ полковник, мать вашу, вы совсем охренели? Мы потом хрен из дома выберемся.

Нужный не слушал: во дворе было шестеро духов, и двое из них уже подошли к двери. Первый вошел в комнату, за ним в проеме возник второй. Нужный вышел из-за шкафа, поднял автомат и направил на них:

– Руки вверх, – словно в детской игре или как в дешевой комедии, и передернул затвор.

Патрон уже был в патроннике. Затвор лязгнул с сухим треском, патрон вылетел и ударился о битое стекло на полу. На все представление ушло секунды полторы.

Тот, что был первым, вскинул автомат и с криком «аллах акбар» нажал на спуск. Короткая очередь отбросила Нужного в угол. Казбек, нечленораздельно ругаясь, выскочил из второй комнаты и выпустил в обоих полный магазин. Первого оторвало от пола и отбросило на стену, второго вынесло на улицу. Остальные четверо кинулись назад, во двory. Перед тем как перелезть, один из них повернулся и, не целясь, выстрелил из гранатомета.

Двое наших успели выпрыгнуть в окна, остальные забились в углы. Взрыв. Следом за ним более мощный выстрел и чудовищной силы взрывная волна. Второй взрыв. Кирпичную стену, за которой скрылись духи, разнесло вдребезги.

Оказалось, те двое, что выпрыгнули из окон, увидели, что на дом направлена пушка танка. Не разобрав, чей танк, они рванулись наружу. Но танк был наш. Танкисты увидели, что происходило, и прямой наводкой выстрелили по духам...

В доме из четверых никто не пострадал. Ходили некоторое время ничего не слыша, но через несколько часов все прошло – не было даже контузии.

У Нужного билось сердце, хотя дыхания и не было заметно. Его погрузили в танк, но довести до полевого госпиталя так и не успели.

Никто не горевал и не сожалел о нем. Общее отношение выразил Казбек:

– Идиот, сам под пули полез.

Смерть стала чем-то привычным и обыденным. Все огрубели настолько, что пронять кого-либо уже вряд ли что-то могло. К тому же Нужного и не особенно любили...

Я залез на чердак. Сумерки начали переходить в ночь. Темнело очень быстро. Стрельба не прекращалась – то же, что и днем, только ракет в небе стало намного больше: красные, белые, желтые, зеленые огни. И хотя еще не совсем стемнело, темнота на земле сильно различалась с небом, расцветенным как во время праздничного салюта. Иногда ракеты взлетали почти над головой, и тогда окрестности ярко освещались неральным гипнотическим светом, заставляющим забыть, где находишься, приводившим в какое-то чарующее оцепенение, так что не хотелось ни думать, ни двигаться. Трассера резали небо во всех направлениях, и при взгляде на них казалось, что кто-то бесцельно палит ради забавы, дырявя черную, глухую ко всему пустоту. Розовые точки быстро гасли сверху, поднимаясь с земли пульсирующими тонкими лучами.

Два часа караула прошли спокойно, хотя костер в большом корыте чуть было не погас. Пришлось лазить по чердаку, собирать дрова, так что к концу дежурства я весь измазался в пыли.

После двух часов дежурства я зашел в комнату, согрелся у огня и начал раздеваться, собираясь поспать. Вошел Рябинин.

– Все в порядке?

Я кивнул, не поворачиваясь к нему.

– Я говорю, все в порядке? – переспросил он, пытаюсь придать тону стальные нотки.

Я опять кивнул:

– Да.

Рябинин был маленького роста, почти на голову ниже меня, Ящура и Романа. Судя по всему, для него это было основательным комплексом, который он пытался компенсировать развязной, начальственной манерой поведения. Никто не воспринимал его всерьез: офицеры посмеивались над ним, солдаты – кто презирал, кто просто не обращал внимания, за глаза называя либо сопляком, либо недоноском или, чаще всего, производным от фамилии, снисходительно-пренебрежительным «Рябчик». Быть проще и доступнее он то ли не мог, то ли сам попал в ловушку придуманной себе роли и уже не мог выбраться из замкнутого круга. Быть крутым командиром также не получалось. Ситуация давно вышла из-под его контроля и напоминала жалкий фарс. Похоже, он и сам чувствовал, что запутался, но вместо того, чтобы попытаться, пока еще не поздно, стать самим собой, еще сильнее закручивал внутренние гайки.

– Когда я с тобой разговариваю, надо поворачиваться лицом и отвечать как положено!

– Отстаньте, товарищ лейтенант, и без вас тошно, – даже здесь, на войне, где нервы были ни к черту, а люди озлоблены до предела, он пытался внедрить иерархические уставные отношения.

– Командира убили, думаете, никто вас больше в руках держать не сможет? Может, я и не сообщаю в разведке, как он, но уж вломить вам всем смогу не хуже его, – он стоял передо мной, лицо передергивалось от злости и бессилия.

– Ну-ну, – усмехнулся я, – флаг в руки... Только, смотрите, зубы не обломайте...

– Замучился я с вами. Жалко Ворожанина убили, он бы...

– Вы Ворожанина не трогайте. А насчет «замучились», так это мы замучились с таким идиотом, – я поймал себя на том, что тоже начал злиться.

Рябинин хотел сказать что-то еще, но промолчал, буркнул себе что-то под нос, развернулся и вышел на веранду.

Я поел печеной картошки с помидорами, снял сапоги и хотел уже было лечь, но с веранды донесся голос Матвеева:

– Садовский!

Я чуть не задохнулся от злости:

– Что?

– Иди сюда!

Я опять обулся, накинул сверху бушлат и вышел из комнаты.

Веранда находилась чуть ниже комнаты, облицованная плиткой, по периметру – перила из специально обожженной сосны. Посередине стол, вокруг плетеные стулья. На одном сидел Рябинин и, отвернувшись, шомполом помешивал угли в костре, обложенном битыми кирпичами. Рядом стоял Матвеев и ожидал, когда я подойду. Я спустился на несколько ступенек вниз и подошел к нему.

Матвеев был высокого роста, но ужасно худой. Создавалось впечатление, что он вот-вот захлебнется чахоточным кашлем. Даже когда говорил – тихо и отчетливо, – казалось, воздух выходил из его легких с хрипом и всхлипами.

– Вы что, ребята, совсем охренели? – обратился он ко мне во множественном числе. – Командира нет, совсем распустились?

Я молча стоял, ожидая, когда он закончит и можно будет вернуться в комнату и лечь спать.

– Рябинина назначили, значит, будете подчиняться, ясно?

– Ясно... – не было ни сил, ни желания ничего объяснять и доказывать. Проще было согласиться, к тому же Матвеев и не ждал моих объяснений.

Рябинин не шевелился и не поворачивался. Я покосился на него и презрительно покачал головой. Тут не выдержал Матвеев. Ладонью, как-то по-женски размахнувшись, он ударил меня по щеке. На долю секунды я потерял контроль, шагнул на него, хотел было ударить, но вовремя остановил себя. Он отступил на шаг.

– Ох, зря, товарищ капитан, не стоило этого делать, – воздух вырывался у меня из легких со свистом. Я смотрел на него не отводя глаз, потом перевел взгляд на Рябинина. Тот испуганно глядел в нашу сторону. Я развернулся и пошел в комнату. Зашел, сел на стул и уставился на костер. Силы мгновенно улетучились. Я обессиленно смотрел на языки пламени, играющие перед глазами. Кипятился Матвеев, а выдохся я. Появилась обида. Сразу на все и ни на что конкретно. Мысли путались, наполнили одна на другую: «Что я здесь делаю? Кому это нужно?» Улетучилась злость и на начальство, и на людей, затеявших эту войну, наверняка не знавших, что это значит на самом деле – пройти через все эти боль, грязь и кровь... Вслед за обидой пришла тоска. Я не знал почему, но судорожно копался в себе, пытаюсь найти причину. И не находил ничего конкретного.

Через несколько минут вошел Матвеев и, не говоря ни слова, сел напротив меня и уставился на огонь. В молчании мы просидели около четверти часа. Неожиданно Матвеев спросил:

– Тебя как зовут?

– Игорь, – я даже не шелохнулся, напряженно глядя на огонь и продолжая думать о своем.

– Ты извини, Игорек, сорвался.

– Да бросьте вы, товарищ капитан, вы тут ни при чем.

– Понимаешь, Рябинин еще молодой, неопытный. Тем более в такое время взвод принял, да еще после смерти Олежки Ворожанина, а вы ему даже шанса не даете проявить себя, – казалось, он пытается оправдываться. Правда, за что, я так и не смог понять.

– Не в Рябинине дело, товарищ капитан. Устали мы здесь просто. Черт знает как устали. Вот и все.

Матвеев вздохнул и помолчал с минуту:

– Ладно, ты ложись, отдохни.

Я молча кивнул. Неожиданно появилось ощущение внутренней теплоты и покоя. Матвеев поднялся и пошел на улицу. Я встряхнулся, быстро разделся, лег и почти мгновенно уснул...

...Я открыл глаза. Разговоры в комнате стали громче. Судя по всему, это меня и разбудило. Помимо голосов слышались постоянные лязг оружия и клацанье затворов. Я не вылезал из-под одеяла, сквозь дрему прислушиваясь к разговорам. В таком состоянии мысли уносились далеко, из ничего выстраивая причудливые образы. Резкий звук или повышение тона мгновенно смывали нарисованные картины и возвращали к действительности. Таким образом, то ныряя в сон, то приходя в себя, я провел с полчаса. Неожиданно снаружи что-то изменилось. Чувствовалось, что все голоса объединила какая-то цель. Некоторые из говоривших были мне знакомы. Послышался голос Матвеева:

– Возьми четырех человек, – очевидно, обращаясь к Рябинину, потому что тот сразу ответил:

– Кого?

– Бери всех своих и еще кого-нибудь.

– Садовского не возьму.

«Куда это?» – подумал я.

– Брось чепуху молоть. Бери его, Романова, Федосеева и Черненко.

«Черт, куда они собрались?» – я лежал под одеялом не двигаясь, боясь пропустить хоть слово.

– Может, Ящуря взять вместо Садовского? – опять Рябинин.

– Ящунко? – переспросил Матвеев. – Нет, его лучше оставить.

– Давай, буди, – обратился к кому-то Рябинин.

«В разведку, в город», – наконец дошло до меня.

Кто-то начал расталкивать, затем стащил одеяло. Леха Федосеев. Вставать с нагретого места не хотелось. Внутри все прыгало от холода и, главное, страха: кто знал, возможно, это была моя последняя прогулка в жизни. Вставая, сделал сонный вид, задал пару вопросов: «куда?», «зачем?», хотя и так уже понял, что предстоит. В комнату вошли сонный и злой Роман и улыбающийся Чика с печеной картошкой в руке. У огня сидели два незнакомых офицера: майор и старлей. Я, Чика, Роман и Федосей уселись рядом. Рябинин встал перед нами:

– Сейчас мы впятером идем в разведку в город.

Роман отвернулся в сторону и со злостью прохрипел: «Господи, и кто ж это только придумал?»

Рябинин сделал вид, что не услышал.

– Приказ начальника разведки бригады, – помолчал несколько секунд и добавил, не глядя ни на кого: – Через десять минут выходим.

Рябинин иногда косо поглядывал на меня. Видно было, что брать с собой не хотел. Боялся, что, если попадем в переделку, я его пристрелю. Ходила масса историй о том, как в разведку или на боевые уходили укомплектованной группой, а возвращались не все. Все списывали на боевые действия.

Оставалось еще минут пять. Я начал проверять и готовить ПК, но Матвеев сказал, что его лучше оставить. Автомат после пулемета казался ненадежным.

Рябинин с офицерами пыхтел над картой, выверяя маршрут. Наконец все уточнили, оглядели друг друга, несколько раз подпрыгнули, чтобы ничего не звенело при ходьбе, еще раз проверили оружие и присели на дорожку.

– Да, и еще, – заговорил майор, – я метров через пятьсот своих ребят оставил. Смотрите не перестреляйте друг друга. Пароль «восемь».

Матвеев проводил до калитки:

– Ну, ни пуха!

– К черту, – Рябинин махнул рукой на прощание.

На улице было темно, холодно и сыро. Мы пошли вниз по дороге. Напряжение и страх внутри растут с каждым шагом. Рубашка насквозь промокла. Явственно ощущаю, как капли пота сбегают по животу и спине и впитываются в ткань, где ремень перетягивает талию. Вязаная черная шапка то и дело сползает на глаза по мокрому лбу. Автомат снят с предохранителя, палец на спуске. Каждые пару минут останавливаемся, хотя за раз проходим не более полусотни метров. Стараемся ступать бесшумно, иногда на носках. Дорожки, прилегающие к домам, усыпаны битым стеклом и кусками штукатурки. При каждом неосторожном движении все это громко хрустит под ногами, гулко отдаваясь в тишине пустых улиц на десятки метров. Иногда взлетают ракеты: почти дневной свет замирает на несколько секунд, освещая все вокруг. Тени домов, деревьев удлиняются, ползут по земле, достигая невероятных размеров, затем неожиданно исчезают, и опять наступает темнота. В такие моменты мы замедляемся или останавливаемся совсем, опускаемся на землю, сливаясь с тенями от заборов и домов, ожидая наступления темноты. Потом встаем и идем дальше, обходя завалы и стараясь не шуметь.

Впереди Роман с «ночником», после него Федосей с неизменной саперной сумкой, набитой взрывчаткой. В середине Рябинин, за ним Чика с автоматом в руках и огнеметом за спиной. Замыкаю я.

Рябинин периодически останавливается, освещает карту маленьким фонариком, который дает минимальное количество света. Чика и Федосей подходят к нему вплотную, загораживая спинами даже малейшие проблески света, и в то же время напряженно оглядывают все вокруг. Роман и я опускаемся на колени с двух сторон от них и, держа автоматы перед собой, осматриваем дорогу и окружающие нас дома.

Опять поднимаемся и идем. Прошло уже, наверное, с полчаса. Мы же преодолели не более километра. С каждой минутой, с каждым шагом страх все больше пропадал. Уже минут через десять-пятнадцать после выхода боязнь наткнуться на духов почти полностью исчезла. Остались лишь напряжение от ощущения пугающей неизвестности и смутное чувство нереальности происходящего – все словно бы напоминало бессмысленную и бесцельную игру, которую необходимо доиграть до конца.

Мы остановились в тени забора. За ним горел огромный двухэтажный дом. Неожиданно с той стороны, откуда мы пришли, донеслись еле слышные щелчки затворов. Я тихо свистнул. Рябинин и ребята повернулись ко мне. Я показал пальцем на затвор и махнул в сторону происхождения звуков. Все мгновенно присели и стали напряженно прислушиваться, вглядываясь в темноту. Головой ругаюсь, у всех в эту минуту родилась одна и та же мысль: «Капец, влипли». Возможно, с небольшими вариациями. По правде говоря, я и сам не был полностью уверен, были ли это щелчки затворов или звуки горящих досок и лопающегося

от жара шифера. Но лучше было лишний раз подстраховаться, чем получить пулю в спину.

Так, без движения и в полном молчании, мы просидели минуты три. Тишина. Поднялись и пошли дальше.

Большой дом. Фигурные решетки на окнах. Пустые глазницы окон, нет даже рам, лишь слабый ветерок надувает легкие светлые занавески. И опять пугающая тишина и все более увеличивающееся равнодушие к своей судьбе, к своему будущему.

Следующий дом. Даже не дом, а лишь три обгоревших стены. На месте четвертой воронка от снаряда. Крыши нет. Остатки от нее огромным завалом лежат между стен.

На перекрестке мы останавливаемся и сверяем маршрут. Еще одна улица, заваленная обломками домов и заборов...

Огромный пустой город, захлебнувшийся в войне. Иногда на заборах, калитках или стенах встречаются надписи мелом или углем: «Здесь живут люди». Всегда одно и то же без изменений. Но сейчас едва ли в половине домов с надписями остались люди.

Еще раз осматриваемся и опять под прикрытием заборов и стен скользим вперед. И снова остановка, и опять физически ощутимая тишина. Но теперь уже не пугающая. Нервы устают от напряжения и дают сбой. На смену напряжению приходят спокойствие и уверенность в себе. А с ними приходит злость. На себя, на духов, на собственные страх и неуверенность, на бессмысленную и отупляющую войну. От злости скрипят зубы и вдвойне обостряется внимание.

Еще сто метров вперед. Перед нами трехэтажный дом. Без окон, дверей и половины крыши, наполовину черный от гари и пепла. Один за другим перебегаем улицу и с оружием наизготовку входим внутрь. Лестницы наверх нет. Поднимаем головы вверх: звездное небо. Части полов второго и третьего этажей каким-то чудом держатся между стенами. Еще раз сверяем маршрут и выходим на улицу.

Каждое здание на пути хранит отпечаток войны. Целыми у нас называются дома с дверьми и крышей. И каждый из них может укрывать духов и с ними нашу смерть.

Проходим еще метров двести вперед. Улица разбивается на четыре небольших переулка. Опять остановка. Рябинин разворачивает карту. По его лицу видно, что где-то здесь и есть наша конечная цель. Он сворачивает карту и удовлетворенно кивает самому себе. Потом встает и всматривается в ржавую облезлую табличку на стене с указанием улицы и номера дома. Еще раз кивает головой и показывает, чтобы отходили. Мы молча переставляемся. Опять Роман впереди, за ним Федосей, Рябинин, Чика и я.

Назад идем чуть быстрее. С тех пор как вышли, прошло уже полтора часа. У трехэтажного обгоревшего дома опять останавливаемся. Рядом с домом темный переулочек. Все с сомнением ожидают, что придумает Рябинин. Тот стоит в нерешительности, но приказ был, как видно, обследовать и это место. Рябинин встречается глазами с Чикой, секунды две они смотрят друг на друга безотрывно. Наконец, Чика кивает и, как всегда, весело улыбается:

— Я посмотрю.

Мы прижимаемся к забору. Чика беззвучно скользит в темноту. Смутно виден его силуэт метрах в пятидесяти впереди. Через три-четыре минуты возвращается назад. Идет посередине переулочка, даже не укрываясь. Знает, что бесполезно. Все равно как на ладони — достанут.

Война вырабатывает азарт и безразличие. Чем больше гибнет вокруг людей, тем легче и спокойнее воспринимается мысль о собственной смерти.

Чика подходит ближе и улыбается:

– Нет никого, чисто.

Мы улыбаемся в ответ. Чувствуется, что Чика уже давно устал бояться и живет только настоящей минутой. Весь вид его говорит: «Вот, мол, опять остался жив». И от его улыбки всем становится веселей и спокойней.

Возвращаемся. Поворот направо. Остановка. Поднимаемся и опять идем. Вот уже позади дом из трех стен, дом с резными решетками на окнах. Настроение поднимается. Тишина с мелкими ночными звуками действует расслабляюще. Проходим горящий дом. Только сейчас я задумываюсь, почему не слышно ни одного звука: в частном секторе нет ни одной собаки. Не слышно даже рычания. Духи стреляли собак, чтобы те не выдавали их лаем, наши – по той же причине. Если их и осталось хоть немного, то наверняка забились куда-нибудь очень далеко. Тоже своеобразный иммунитет против войны.

Останавливаемся там, где я услышал щелчки затворов. До своих – метров пятьсот. Глупо было бы не вернуться...

Ждем очень долго. Глаза устают всматриваться в темноту. Проходим еще метров сто. Переулок упирается в дом. Вместо окон – аккуратно уложенные стопки кирпичей. Растекаемся по обеим сторонам улицы. Если здесь и есть духи, то это их последнее возможное убежище на пути, дальше – наши. Время тянется мучительно долго. Не слышно ни шороха. Встаем и сворачиваем в переулок. Роман первый. Идет боком, быстро, но бесшумно. Приклад автомата уперт в живот. Дуло перескакивает от одного окна к другому, по мере движения мимо немых стен. Проскакивает. Садится на корточки и направляет автомат на забаррикадированные оконные проемы.

Теперь Федосей. Леха движется еще быстрее Романа. За ним двигается Рябинин. Я вжался в стену. Ремень автомата перекинут через плечо, палец ощущает холодный спусковой крючок. В левой руке зажата граната. Федосей устраивается в метре от Романа в той же позе. Теперь очередь Чики. Но не успевает Рябинин дойти до Федосея и Романа, как раздается резкий хриплый голос: «Стой! Три!» Как удар по оголенным нервам. Чика отскакивает назад. Рябинин от неожиданности поскальзывается и падает на задницу.

Полсекунды, секунда... Тишина. Лоб покрывается испариной. Предательски обжигающие капли пота катятся по спине и бокам. Еще секунда. Невозмутимо спокойный голос Лехи Федосеева отвечает: «Пять». Напряжение мгновенно отпускает. Плечи и руки расслабляются.

– Вы откуда? – тот же голос.

И опять отвечает Федосей. Равнодушным донельзя голосом. То ли самообладание такое, то ли ему действительно наплевать на все. Он спрашивает в свою очередь у невидимого собеседника, откуда они сами.

– Рязанский полк.

Рябинин медленно поднялся. Видно было, что он до сих пор с трудом верил, что все обошлось. Я засунул мокрую от пота гранату в карман и вытер руку о штанину. «Вот черт», – в голове застыла одна фраза, ни к чему не лепившаяся. Самопроизвольно родившись, она уже несколько секунд висела во внутренней пустоте. Я поглубже вздохнул и быстро зашагал за удаляющейся группой.

Минут через десять вошли во двор «нашего дома».

Грек, сидевший возле калитки, радостно вскочил и быстро заговорил с жутким акцентом, постоянно вставляя греческие слова взамен забытых русских. Подбежал ко мне, что-то говоря. Я не слушал. Вымученно улыбнулся, облегченно махнул ему рукой и пошел внутрь. Все пришедшие окружили кастрюлю, доверху засыпанную черно-красными мерцающими углями, и молча снимали бронезилеты и бушлаты. Я стянул бушлат. Китель и рубашка под ним были насквозь мокрыми. Быстро стащил и их, скомкал и бросил в дальний угол комнаты.

На столе стояли две открытые, наполовину пустые бутылки водки. Кто наливал водку в стаканы, кто прикладывался к горлышку. Я налил полстакана, залпом выпил и полез в шкаф искать свежую рубашку. После долгих поисков нашел подходящий размер, надел на голое тело и подошел к костру погреться.

В комнате уже было человек десять. Все возбужденно гудели. Лишь Чика и Федосей сидели откинувшись на стульях и молча, блаженно улыбались. Роман сразу же ушел спать в другую комнату. Рябинин пошел докладывать о результатах разведки. Офицеры что-то обсуждали и поминутно оглядывались на дверь, ожидая Рябинина. Спустя несколько минут тот вошел пошатываясь, видно, уже принял на грудь у начальника разведки.

Матвеев спросил первым:

– Что теперь? – имея в виду новое задание.

– Пока отдыхаем.

Они уселись за стол. Все наперебой стали спрашивать Рябинина, как сходили. Тот отвечал, все больше и больше оживляясь. Я согрелся у костра, разделся и залез под одеяло. Адреналин все еще бродил в крови, и заснуть было трудно. Через некоторое время шум стал доноситься слабее. От тепла и относительной безопасности настроение поднялось. Уже откуда-то издалека слышался голос одного только Рябинина – пьяный и самодовольный. Я усмехнулся сквозь наваливающуюся дремоту: «Разошелся Рябчик...»

Уже сквозь сон до слуха донесся голос Матвеева:

– Как ребята себя вели? – Я приоткрыл глаза, прислушиваясь.

Рябинин на секунду осекся.

– Федосей молодец. Если бы не он, перестреляли бы нас как... – как кого перестреляли бы, так и не сказал.

– Черненко тоже молодец, Романов вообще первым шел, – добавил уважительно.

Я вспомнил недавнюю ссору и усмехнулся: «Про меня, наверно, и не вспомнит».

Рябинин помедлил и, чуть понизив голос, смущенно добавил.

– И Садовский отлично держался, – наверняка тоже вспомнил ссору, свое недоверие ко мне и еще тише прибавил: – Молодец...

Я опять усмехнулся, но уже без злорадства. Стало плевать на войну, духов и весь бардак вокруг. С уважением вспомнил ребят, одного за другим, улыбнулся каждому и уснул.

Олег КУИМОВ

Родился в 1967 году в Кирово-Вятке, Армянская ССР, в семье офицера. Окончил Литературный институт. Переменил немало профессий: разнорабочий, экспедитор, маляр, коммерсант, прораб, менеджер, редактор журнала.

Публиковался в журналах «Луч», «Наш современник», «Север», «Берега», «Южная звезда» и других. Лауреат различных конкурсов и фестивалей, а также премии журнала «Сура» за 2016 год. Несколько лет сотрудничал с детским журналом «Рюкзачок с сюрпризом». Дипломант премий «Золотой витязь» и имени П. Ершова.

Живет в Подмосковье.

ДОЖИТЬ БЫ ДО ЛЕТА

Старику шел уже девяностый год – какой врач согласится на операцию! Однако досадное падение во время утренней прогулки, боком на торчащий из земли тонкий прут арматуры, не оставляло иного выбора.

Лежа на операционном столе, старик внимательно слушал хирурга. Его приятный, обволакивающий баритон звучал успокаивающе:

– Не переживайте, все будет хорошо, операция стандартная. Немного посложнее будет с восстановительным периодом. В принципе, я вам уже об этом говорил, вы, главное, не переживайте, это вам сейчас категорически противопоказано.

– Да я что?.. До лета только дожить хочется.

На лицо ему надели маску. «Считайте до десяти, Кузьма Егорович». – «Один, два, три, четыре, пять...» – принялся прилежно отсчитывать старик. Цифра шесть неподвижной массой завязла на его непослушном языке, и операционную поглотила тьма.

Очнулся старик в темном лесу и сразу насторожился: почему так тихо? Он резко, по-птичьи, задергал головой, озираясь по сторонам, – никого. Какое-то внутреннее чувство подсказывало, что надо срочно искать выход из мрачной чащи. Не переставая оглядываться, он осторожно двинулся наугад в поисках хотя бы редколесья, а уж там, глядишь, проще будет. Пройдя немного, старик напал на тропинку и пошел уже по ней. Тропинка временами терялась среди густой травы, а вскоре пропала и вовсе. Он остановился в раздумье, в какую сторону направиться. И в тот же миг словно кто-то, невидимый, зашептал ему на ухо: «Оглянись! Оглянись!»

Позади скалился огромный серый волк. Старик в страхе бросился прочь, ища спасения в густой чаще, но волк не отставал. Старик

оглянулся – оскаленная пасть с крупными желтыми клыками находилась всего в одном прыжке. «А-а-а!» – закричал старик, кинувшись к дубу. Еще миг – и он запрыгнет в большое дупло, но от сильного толчка растянулся во весь рост. «А-а-а!» – еще сильнее заверещал от страха старик, оборачиваясь. И – невероятное дело: вместо волка за ногу его держал зубами Васятка.

«Васятка! Братик! Родимый!» – зарыдал старик, уговаривая мальчика отпустить его. Тот ослабил хватку, повернул голову набок, задумчиво глядя ему в глаза, затем засмеялся и снова стал тем маленьким босоногим малышом, который откликался на любую шутку или ласковое слово. Братик... Старик успокоился, и в этот самый момент и Васятка, и волк исчезли, и оказался он в той дикой голодной весне тридцать третьего года, в которой шел ему девятый годок от роду – такой беспощадно горестный год, что и вспоминать – как по живому резать, хоть криком кричи. А лучше и забыть навсегда – так, словно и не было ничего. А оно сейчас вдруг предстало, как наяву.

Они втроем, сгорбившись, греются на солнышке на завалинке перед низенькой избенкой: он сам, младший брат Сергунька и десятилетняя сестра Машенька. В глазах плавают темные круги, но он уже привык к ним и неотрывно глядит вдаль, за край леса, до тех пор, пока все вокруг не закачалось в туманной пелене. Он отводит взгляд, но еще долгое время не может ничего видеть слезящимися по-старчески глазами.

Говорили помаленьку, переводя от слабости дыхание.

– Дожить бы до лета, да, Кузьма? – хрипло просипел, обращаясь к нему, худенький Сергунька. – Мамка говорит, лебеды наедемся вдоволь, ягод.

– Да, – подхватил он тихим голосом, – хорошо будет. Тятя рыбу в Волге будет ловить, от уха силушка появится, а там уже и осень недалеко – хлебушко уродится.

Все радостно оживились.

– А тятя говорит: грибное лето должно быть, – мечтательно улыбнулась Машенька.

– Да... орехи пойдут... чем не жизнь! – Сергунька расслабленно привалился к стене, сглатывая слюну, и принялся ожесточенно чесать язычку на щеке. – Вот же чешется, зараза!

При виде потекшей по лицу брата сукровицы Машенька ласково взяла его за руку.

– Да не расчесывай уже. У Кузьмы все лицо стало в ямках. Терпи уже.

– Да не могу я терпеть, невмочь совсем. Мамка говорит, что скоро все равно пройдет, до крапивы бы только дотерпеть. А там уже точно все пройдет, совсем хорошо станет.

– Да, – радостно вздохнули дети, отвлекшись, – дожить бы...

– А Васятка умрет скоро, я сама слышала: тятя мамке сказывал, – всхлипнула Машенька.

Все замолчали, утирая слезы: Васятка был всеобщим любимцем.

– Как мы без него жить станем?

– Жалко Васятку. Так голодным и отойдет. Яшу тоже жалко было, но он хоть быстро отмучился.

– А то не жалко... – вздохнула Машенька. – Я вся кровью обливалась, как он хрипел. Плакать-то уже не мог даже от голода. А ведь сосунок еще был, такой крошечный в гробике лежал. Ему теперь хорошо там, на небе. Хорошо... И кушать не хочется.

Кузьма сосредоточенно нахмурился и с твердой решимостью в голосе сказал:

– Был бы у меня сейчас кусочек хлебца, я бы его Васятке отдал, весь-весь, до крошечки.

Сергунька, проглотив слюну, вздохнул:

– Я бы – тоже. Только зачем он ему теперь: все равно не жилец.

Перед Кузьмой опять поплыли темные круги. Преодолевая дрожь в ногах, он нехотя поднялся.

– Пойду я... водицы попить. Больно уж в пузе скребет, и голова болеть начала.

На пороге Кузьма споткнулся и упал на давно не мытый грязный пол.

Сидевшая за столом мамка безучастно скользнула по нему огромными ввалившимися глазами и опять опустила вниз заострившееся лицо. Кожа на ее лбу стала тонкой, землистой, как у тех покойников, которых Кузьма раньше, когда не страшно еще было выходить со двора, видел на улице, прежде чем их успевали унести.

Он ждал, что мамка поможет ему подняться, но та, скользнув по нему унылым взглядом, продолжала сидеть. Прележав некоторое время, Кузьма все же собрался с силами и, опираясь о стенку, встал, выпил целый ковшик воды, добрел до мамки и присел возле.

На печи противно захныкал Васятка:

– Мамка, кусать хочу.

Ему было уже три года, а он все не умел ходить. В два года, правда, пошел, но после перестал.

Мамка тоскливо посмотрела на него и снова ушла в себя.

– Мамка, дай чего-нибудь покусать. Мамка, кусать хочу, – изводил тихим плаксивым голосом брат.

Он ненадолго замолкал и снова начинал ныть:

– Мамка, кусать...

Мамка вдруг очнулась и злобно, срываясь на визг, закричала:

– Заткнись, гадина! У-у, аспиды! Все соки высосали! У-у... – она затрясла кулачками и, внезапно выйдя из себя, схватила Кузьму за чуб. – Аспиды! Кровососы! Всю душу из меня выели!

Братья горько заревели. Мамка вдруг уронила голову на сложенные на столе руки и словно одеревенела. Из узкой спины ее выпирали острые лопатки. Кузьме стало жалко мамку, и он с плачем прижался к ней.

– Мамка, мамочка... милая... только не сердись... мамочка...

Он почувствовал, как рука ее ласково прошлась по его волосам.

– Простите меня, детоньки. Сама не знаю, что говорю. За что нам такое? На муки бы пошла, только бы вас спасти. Кабы знать только, что делать... кабы знать... – задумчиво повторила она.

Мамка хотела заплакать, но слезы не шли, и она снова замолчала; рука ее застыла на голове сына.

Ночью Кузьма спал плохо, часто просыпался от громкого урчания в собственном животе. Из родительского угла, где спал и Васятка, слышались его затухающие прерывистые стоны: «Мамка... кусать... хлебца...» Когда Кузьма проснулся в другой раз, то братик уже не произносил ни звука и лишь иногда прерывисто вздыхал. Из темноты донесся шепоток родителей. «Помирает... иначе не дотянем... деток надо спасать». Мамка тихонечко заголосила в подушку.

– Тише! Разбудишь! – сердито произнес тятя.

Плач ее стал совсем тихим, приглушенным то ли подушкой, то ли одеялом.

Кузьма хотел спуститься с печки и подойти к братику, но ему отчего-то стало страшно, да и не было никаких сил подняться, и он лежал, прислушиваясь, пока сон все-таки не сморил его.

Проснувшись в очередной раз, Кузьма услышал мамкин надтреснутый голос:

– Егор, деток не разбуди. Иди в сарай.

Тихо стукнула дверь, и Кузьма теперь уже уснул окончательно, до рассвета.

Разбудил его запах мяса. Он боялся поверить: «Еда!»

– Мамка варит! – зашептал ему в самое ухо Сергунька. – Васятка поест – жив останется.

Откуда вдруг в доме взялось мясо – Кузьма и помыслить не мог. Он знал, что случилось какое-то чудо. Может, власть выделила еду, чтобы людей спасти, ведь давно уже обещали? Теперь они, наконец, набьют живот и избавятся от непрекращающихся болей и тошноты. Не надо будет пить столько воды, от которой и так уже разбухло пузо, как у баб на сносях.

Мясо! Будет сила, глядишь – и до травы дотянут. Жить останутся.

Никто уже не спал. Все с шумом вдыхали аромат варившегося мяса.

– Мясце... – мечтательно закатил глаза Сергунька. – Мамка мясца даст.

Тятя, почерневший лицом еще сильнее, не глядел в их сторону.

– Вставайте уже... есть будем, – тяжело вздохнул он.

Пока тятя снимал с печи Яшу, мамка осторожно, чтобы не расплескать, поставила на стол большую деревянную миску, от которой по всей избе разносился будоражащий запах.

Тятя положил возле каждого нарезанные куски мяса. Наваристая, хоть и без единого зернышка и капусты, но подкрашенная свеклой похлебка была так вкусна, что тятю пришлось сердито прикрикнуть: «Цыц! По очереди!» – из-за того что дети в спешке сталкивались ложками.

Кузьма не замечал ничего вокруг, спеша насытиться, и лишь когда миска опустела и все замерли, выжидательно глядя на тятю, он заметил, что чего-то не хватает. Оглядевшись, Кузьма понял, что не так: не доносило жалобного хныканья Васятки. Братик ни разу не попросил кушать.

– Тятя, а где Васятка? – испуганно спросил Кузьма.

Тот нахмурился, взъерошил пятерней спутанные космы и с силой потянул вверх, отворачиваясь в сторону.

– Украли Васятку-то, волки унесли... Мы с мамкой за мясом ходили... на склад, а дверь запереть забыли.

...Сон старика исчез так же внезапно, как и появился, и ничего уже не снилось, однако, странное дело, все еще находясь под воздействием наркоза, он стал думать так, будто бодрствовал, и продолжал вспоминать.

Тем вечером, перед тем как уснуть, мальчишки шептались на печи: «А помните, у Семеновых тоже волки ребенка унесли?» – «Ага... а люди сказывают, съели они его». – «Так... а Васятка... может...» – «Нет, не может ничего такого быть. У нас тятя с мамкой настоящие. Васятку точно волки унесли», – заключили братья.

И все же с той поры зародилось в Кузьме сомнение, о котором и помыслить страшился, а все равно крепко оно в нем застряло. Годы летели, много чего было, Кузьма превратился в Кузьму Егоровича, вначале немолодого, а затем уже и старого, забывчивого. И память уже успокоилась, остыла, да и не в силах была удержать всего. Многое из

того, что в свое время волновало, терзало или радовало душу долгие годы, подзабылось, и если и вспоминалось, то куда спокойнее – так же, как, бывает, пробежит от легкого ветерка по тихой воде мелкая рябь и исчезнет, так и не всколыхнув глуби. А Васятка... Васятка все равно всегда был с ним. Всегда. По молодости, правда, совсем редко вспоминался, но это только по молодости, а потом... потом все чаще и чаще. И все сильнее ныло сердце, и все сильнее тянуло с ним встретиться – там, за порогом жизни. И чтобы братик обязательно ответил, наконец, на мучивший старика вопрос, а если вдруг что не так, то простил. «Эх, Васятка, встретиться бы с тобой поскорее. Во что бы то ни стало. Я знаю: что бы то ни было, ты все равно простишь. А если нет на мне никакой вины, то еще лучше. А потом мы обнимемся – как бывало прежде».

И, странное дело, старик, лишь отдельными кусками способный вспомнить, как росли его собственные дети, словно бы почувствовал сейчас нежность худеньких ладошек, с такой любовью обвивавших много лет назад шею старшего брата. Васятка прижимался к нему всем своим тельцем, и оба замирали, полные восторженной любви друг к другу. Только бы оно повторилось, это объятие, – там, где они, наконец, встретятся.

Внезапно старика ослепил яркий свет, от которого слегка закружилась голова. Немного привыкнув к нему, он увидел, что совершенно один в странном пространстве – как если бы очутился внутри сказочного калейдоскопа. Старик в буквальном смысле висел в воздухе, потому что никакой опоры под ногами не существовало. Как в морской глубине вокруг только одна вода, так и здесь его окружало невиданной прежде белизны пространство, состоявшее из искрившихся, переливавшихся вспышками яркого света мозаичных осколков. Он вспомнил, что лежит сейчас на операционном столе, и чувство горького, не постижимого одиночества обожгло его ужасающей догадкой, что в этом сверкающем царственном склепе ему предстоит провести целую вечность. «Неужели я умер?!» И еще более мучительная мысль породила в нем внутренний крик: «А Васятка! А тятя! А мама! А Яша! Машенька! Сергунька! Неужели каждый из них находится в подобном одиночестве и нам не суждено встретиться?! Неужто вот он какой, тот свет?! И выходит, что все земные надежды – обман, иллюзия, в которую мы верим?! Тогда что есть в этом мире настоящего, кроме этого тоскливого безмолвия? Какой смысл в такой жестокой бессмысленной вечности?!»

Между тем откуда-то из-за пределов его белоснежного склепа послышались глухие, чуть слышные голоса. Старик напрягся. Голоса приблизились, зазвучали явственно.

– Ира, следи за ним, я отойду, – густой мужской бас показался знакомым.

– Сколько ему еще? – мелодично прозвучал в ответ голосок молоденькой женщины.

– Да в принципе... вот-вот уже, наркоз-то легкий.

Старик сообразил: оказывается, этот склеп, что сейчас привиделся, – всего лишь странный сон опьяненного нракозом сознания, а значит, все будет так, как положено. И во что бы то ни стало будет встреча – придет срок!

Кузьма Егорович открыл глаза. Склонившаяся над ним молоденькая симпатичная медсестренка радостно воскликнула, обращаясь к хирургу:

– Все, Сергей Николаевич, он проснулся!

Михаил СТРИГИН

Родился в 1969 году в Сарапуле. Окончил Южно-Уральский государственный университет. Кандидат физико-математических наук, автор семи научных публикаций, в том числе в зарубежных журналах. В 1990-е годы отошел от науки и занялся предпринимательством.

Автор поэтических сборников. Учредитель детского поэтического конкурса «Как слово наше отзовется», член жюри Южно-Уральской литературной премии.

Живет в Челябинске.

ЧУЖАК

Рассвет упорно пытался зацепиться за крыши домов, но облака отбрасывали его лучи вверх, не давая им опуститься ниже и осветить мансардные окна самого лазурного города Франции. Как будто облакам вчера отвалили жирные чаевые, чтобы они позволили выспаться после загула гостям и жителям Ниццы. Самые богатые люди со всего мира приезжают сюда, где на улицах города каждый вечер происходит показ самых последних марок дорогих автомобилей и не менее дорогих платьев. Сегодня, в День взятия Бастилии, выспаться утром просто необходимо – главный праздник Франции требует безукоризненного внешнего вида. Город уже позаботился об этом, он ещё вчера был украшен французскими флагами, развешанными на каждом углу.

Пока рассвет безуспешно боролся с облаками, на одной из улиц района Аббатуар смуглый, крепко сложенный мужчина в изрядно поношенном джинсовом костюме возился с тросом, которым к перилам крыльца был прицеплен велосипед. Какой-нибудь ранний или, наоборот, слишком припозднившийся прохожий мог бы принять его за воришку: мужчина никак не мог попасть ключом в скважину замка, его руки тряслись, он как будто сильно волновался. Мужчина был средних лет, но седина уже пробивалась сквозь чёрную плотную шапку волос. С юности обожжённое солнцем лицо с грубоватыми правильными восточными чертами было покрыто недельной щетиной.

– Проклятая Ницца, проклятая Франция, – процедил он.

Анис, так звали мужчину, уже вспотел, как будто тягал пудовую гирию, а выражение лица было настолько злым, что казалось, будто он снимает не трос с велосипеда, а ошейник с собаки, которую хочет спустить на врага. Но вокруг никого не было. Редкие машины, проезжавшие мимо, в основном пикапы, развозили к завтраку продукты и свежую выпечку по ресторанам. У Аниса внутри всё произволь-

но сжималось и тошнота подступала к горлу раньше, чем нос успевал уловить аромат печёного. Вчерашняя смесь дешёвого вина и местной настойки стояла колом в горле, а резкий запах дешёвой женской косметики не смылся даже под холодным утренним душем. Анис снова воспользовался службой знакомств, хотя уже несколько раз клялся себе завязать с этим делом. Дамы, которые приходили на свидание, весьма отдалённо напоминали выложенные в Интернете фотографии. Ему вспомнился вчерашний бигмак в «Макдональдсе», столь же отдалённо похожий на свою аппетитную рекламу на фасаде ресторана.

Замок всё никак не поддавался. Превозмогая тошноту, Анис сосредоточился на руках. Злость ядовито шипела внутри. Её хватило бы, чтобы отравить небольшой город. Ему вспомнилось, как в юности он пытался угнать мотороллер со склада спортивного магазина, но тогда трос оказался настолько толстым, что он не мог перекусить его кусачками. Анис сумел оставить на металле только пару зазубрин, но прибежал охранник с собакой и схватил его. Громкое разбирательство в школе и поход с отцом к местному мулле не вразумили Аниса.

– Ты не можешь мне купить мопед! Аллаха нет! Всё устроено нечестно! – кричал он на отца.

Воспоминание ещё больше разозлило Аниса, он ругался на свою вчерашнюю слабость, на свою мать, которая родила его невезучим, он злился на этот город, который может себе позволить спать до обеда, на президента Франции, который игнорирует права эмигрантов... Ключ неожиданно повернулся, и трос резко раскрылся, больно ударив Аниса замком по руке. Небольшая, но глубокая ранка моментально заполнилась кровью.

– Дьявол! – чертыхнулся Анис.

Ему предстояло добираться на велосипеде практически через весь город, до места парковки грузовика, на котором он развозил мороженое по сети ларьков местного предпринимателя Этьена. В этом сладком грузе тоже была некая насмешка судьбы: каждое утро с горького похмелья доставлять сладкое лакомство тем, у кого и так было всего с лихвой. Анис передёргивало, когда он видел детей, уплетающих мороженое. В детстве он лакомился только по большим праздникам, а яркие фотографии Nestle с плакатов на фасаде супермаркета тянули к себе каждый день, когда он шёл мимо них в школу. Вчера вечером, прогуливаясь вдоль фонтанов по площади Массена, он не выдержал и украдкой толкнул в спину конопатого пятилетнего мальчишку, смачно поедающего эскимо. Тот споткнулся и припечатал мороженое к яркой шифоновой юбке своей матери. Получив от неё подзатыльник, малыш обиженно разревелся...

* * *

Четыре года назад Анис, оставив дома в Тунисе жену с тремя детьми, подался на заработки во Францию. Он забрал с собой десять тысяч евро, которые были накоплены семьёй за десять лет, с твёрдым желанием их удесятерить. Анис по телефону, выслушав всё, что о нём думает жена, обещал ей, что когда-нибудь покатает её на кабриолете по Лазурному побережью и они обязательно отведают омаров в лучших ресторанах Монако. Анис мечтал о ночных клубах, спортивных аренах, больших кинотеатрах... Впервые приехав в Париж, он почувствовал, что сказка воплощается в действительность и он словно скользит

от ночи к ночи, упиваясь столичной жизнью. Ничего похожего в его помусульмански аскетичном городе Мсакен не было.

В Тунисе при внешней религиозности уже царила светская мораль – хочешь молись, хочешь нет. Мечеть находилась далеко от дома Аниса, и он уже в старших классах позволял себе пропустить утренний намаз и поспать пару лишних часов. Отец работал на виноградниках и уходил на работу рано:

– Сын, через час подымайся и иди в мечеть, воистину намаз отстраняет от мерзости и явного греха, – цитировал он суру из Корана, собираясь в поле.

– Хорошо, отец, – отвечал Анис и спал дальше, порой просыпая и первый урок.

– Ты не мусульманин, опять пропустил намаз, тебя накажет Аллах! – кричала мать, поднимая его в школу.

– У нас из класса почти никто не совершает фаджр.

Книг Анис не читал, зато буквально глотал американские фильмы.

Когда-нибудь я буду жить в стеклянном небоскрёбе на сотом этаже и забуду этот убогий одноэтажный город с его Рамаданом и никому не нужными правилами Корана, мечтал он.

Почему, спрашивал себя Анис, где-то там ходят в рок-клубы, а здесь обречены на пение муэдзина? Он завёл дружбу с местными байкерами, но отец не мог купить ему мотоцикл, и Анису приходилось завистливо вздыхать при виде стальных машин.

Во Франции Анис надеялся получить всё и сразу. В Париже он работал водителем такси, сутенёром, потом был боевиком в одной полукриминальной структуре, но, получив год условно, завязал с этим. В веренице событий Анис получил извещение о разводе и понял, что остался один. Отец учил его, что мужчина в семье – опора.

– Слушай лозу, она расскажет тебе, о том, что без корней засохнешь, семья – это основа – говаривал он, приводя сына на виноградники, где в сезон приходилось работать по двенадцать часов в сутки. Но Анису всегда казалось, что он упускает что-то большее. Узнав о разводе, он ощутил облегчение. А с другой стороны, какой теперь смысл пыжиться изо всех сил?

«Особняк, “мерседес” – для кого теперь это всё?» – вспоминал свои мечты Анис. Возвращаться ему было некуда.

– Ну её к шайтану. Женщина – порождение ада. Не поймёшь, что у неё на уме. Говорит мне: «Ты глава семьи. Ты наш защитник. Слушайся муллу, он плохого не скажет». И тут же: «Что ты мне свою мать в пример ставишь, сейчас не прошлый век». Отец зарабатывал мало, и то мать боялась глаза на него поднять. А моя: «Не нравится – уходи». Знает, что имущество ей отойдёт. Новые правила развода, брачные контракты – это всё объедки со стола Франции, – рассказывал Анис своим поделщикам.

С каждым годом желание срубить куш постепенно растворялось в череде неудач и развлечений. Сказка превратилась сначала из цветной в чёрно-белую, а затем стала просто фотографией какой-то китайской деревни: в бедном районе Гобелен в Париже, где он жил, все вывески были написаны иероглифами, и французский язык здесь не слышали уже давно. После того как у него обчистили квартиру, с остатками денег и небольшой дорожной сумкой Анис добрался до Ниццы.

Переночевав в хостеле, он решил прогуляться по городу, пытаюсь найти место, где ему может улыбнуться удача. Выйдя на набережную,

Анис почувствовал жажду, но прошёл мимо множества открытых ресторанчиков и присел выпить кофе только возле отеля «Негреско». Ему хотелось хоть как-то прикоснуться к роскоши, подышать одним воздухом с людьми, сидящими здесь. Они приезжали и уезжали на дорогих авто, которые стартовали со звериным визгом и рыком. Это было круто. Анису захотелось стать владельцем такого автомобиля. Он развалился в плетёном кресле и представил, как его новый шёлковый костюм будет охлаждать разгорячённое тело в открытом кабриолете...

– Что будете заказывать? – вопрос официанта прозвучал словно из ниоткуда. Анис вернулся к действительности и расстегнул душную джинсовую куртку.

– Кофе, будь любезен, – растерянно попросил он.

Чуть позже, когда официант, по виду тунисец, застилал стол салфеткой, Анис вкрадчиво спросил:

– Земляк, где бы можно подработать?

– Гражданство есть? – вопросом на вопрос ответил официант.

– Да я коренной француз, – обиделся Анис, показывая французский паспорт.

– Тут в порту стропальщиками такие коренные работают. Сам два года отпахал, пока не нашёл это место. Правда, оно тоже сезонное, и я вместе с птицами лечу каждую осень обратно в Африку. Но если ты хочешь что полегче и есть права и деньги, то можешь взять грузовик в аренду и развозить мороженое. Есть в городе одна компания, там директором Этьен, она поставляет мороженое в два десятка ресторанов. Одна машина вполне справится, если начинать затемно. Местная компания, где он нанимал водителей, сейчас бастует, поэтому Этьен может заплатить и двойную цену. В это время он обычно в офисе.

«Может, повезёт», – подумал Анис, а вслух спросил:

– Какое сегодня число?

– Десятое июля. Скоро День взятия Бастилии, большой местный праздник – сказал официант, нахмурившись. – Сплошная суета. Кстати, у нас тоже праздник, неделю назад наконец-то открылась мечеть, приходи в пятницу на вечернюю молитву.

– Я не верю в Аллаха, – с вызовом ответил Анис.

– Так не должно быть. Ты родился правоверным, – бросил официант и ушёл на кухню.

Рёв автомобиля заставил Аниса обернуться. Из припаркованного спортивного авто вышла девушка в обтягивающих джинсах и незаметном топике, на её голове была широкополая соломенная шляпа необычной формы. Шляпа была похожа на морскую раковину, из которой выглядывал и сам моллюск: лицо девушки было абсолютно бледным, а взгляд – холодным.

«Или финка, или шведка», – подумал Анис.

Когда она проходила мимо, верх её шляпы зацепился за спицу зонта, под которым сидел Анис. По инерции девушка сделала ещё несколько шагов, а шляпа так и осталась висеть на краю.

– Шанс, – решил Анис. Он встал, снял головной убор и протянул его девушке. Но та бросила на него уничижающий взгляд и, поглубже надев шляпу, прошла к угловому столику. Анис разочарованно упал в кресло, стараясь не смотреть в её сторону.

«Пришла одна и уйдёт одна», – он бросил ещё один взгляд на её двухместный спорткар, в котором пассажирское сиденье было завалено коробками с одеждой.

Жалобный скрип стула отвлек внимание Аниса. Из-за соседнего столика поднялся молодой рыхлый итальянец. Он бросил на стол две купюры по двадцать евро и пошёл к выходу, не отрывая взгляда от экрана смартфона.

Итальянец выглядел нелепо в дорогом, но сильно измятом белом шёлковом костюме и отельных шлёпанцах на босу ногу. Завершал картину жёлтый шарф, небрежно повязанный на шее, – Анис невольно вспомнил селезня, которого держали в декоративном прудике китайского ресторана в Париже. Анис всё ждал – когда же его приготовят для какого-нибудь любителя утятини.

Проходя мимо, итальянец запнулся и, чтобы не упасть, схватился свободной рукой за ближайший к нему стол. Недопитая чашка кофе, соскользнув с блюда, опрокинулась на колено Аниса. Он подхватил её и, поставив на место, привстал и расправил плечи, но итальянец, не отрываясь от экрана, пробормотал «сорри» и бросил на стол пятьдесят евро. Анис мельком успел разглядеть на смартфоне фото морской рыбалки на акулу.

«Он думает, им всё можно».

Место для скандала было неподходящим.

«Это он здесь селезень, а хотелось бы послушать, как он будет кричать уткой, если его зажать где-нибудь в проулке».

Анис забрал брошенную купюру и прихватил чаевые, которые итальянец оставил на своём столе. Пора идти искать офис торговой фирмы.

Он быстро договорился с Этьеном, невысоким, худощавым французом. У того была практически безвыходная ситуация – рестораны искали других, более шустрых поставщиков. Этьен предложил подписать партнёрский контракт.

Несмотря на природную удобу – кости выпирали на плечах из-под рубашки, – он пытался произвести впечатление серьёзного бизнесмена. Все атрибуты: просторный кабинет, большой дубовый, покрытый кожей стол – говорили об этом. Внимание Аниса привлекли крупные золотые, инкрустированные камнями часы на руке Этьена: они сползли по запястью, когда тот ставил свою подпись. Этьен быстрым движением поднял часы на место. Анис подумал, что было бы неплохо со временем сесть в этот кабинет вместо Этьена и обзавестись такими же часами. Но что-то его смущало: может, излишнее радушие, может, странная суетливость хозяина:

– Тунис и Франция были столько лет вместе, мы должны помогать друг другу. Предлагаю обмыть сделку. Гренаш – моё любимое тунисское вино.

– Отлично, – ответил Анис.

Подписывая контракт, Анис заволновался. Чтобы успокоиться, он начал вращать ручку между пальцами, как любил делать его поделщик в Париже. Этьен откупорил бутылку и начал разливать вино по бокалам, но, заглядевшись на ловкие движения Аниса, отвлекся, и вино забрызгало джинсы новоявленного партнёра.

– Оу, – выдохнул Анис.

– Извини, в квартале отсюда есть химчистка, там отстирают и вино, и кровь, – сочувственно заметил Этьен, указывая на тёмное пятно.

– Это не кровь, это кофе, – Анис повернулся, скрывая ногу под столом.

Этьен достал из сумочки толстый кожаный бумажник, замывшись, вынул пятьдесят евро и положил их на стол перед Анисом.

«Отец неделю работал на виноградниках, чтобы получить такие деньги, – подумал Анис. – А вдруг это вино из того самого винограда?» Он украдкой бросил взгляд на бутылку – вино было закупорено через два года после смерти отца. Но внутри колыхалось странное эхо:

«Мы на побегушках у европейцев, мы на побегушках, это неправильно».

После встречи с Этьеном Анис поехал в прокатную фирму на холмах за городом и взял в аренду среднетоннажный рефрижератор марки «Рено». Он заплатил две тысячи евро залога и четыреста в виде оплаты аренды за три дня. Ему предлагали пикап, но он посчитал, что сможет кроме мороженого возить что-нибудь ещё. Анис хотел почувствовать себя хозяином дороги, вожаком стаи, за которым бегут легковушки, мотоциклы, пикапы... Хотел посмотреть, как расступятся все они, когда он выедет на дорогу. Он жаждал новых впечатлений. Его уже не так пугало, что в кармане осталось несколько сотен евро.

«Может, ещё и покатаю на кабриолете не жену, так детей, – думал Анис, выходя из офиса прокатной фирмы и нащупывая в кармане остатки денег. – А может, и не получится», – мысль царапнула и пропала в потоке приятных предчувствий.

Когда он подходил к городу, солнце точным броском опустилось в единственное облачко на горизонте, как бильярдный шар в лузу и, подсветив его, ещё долго выглядывало из-за горизонта, словно луза была переполненной.

«Эту партию я должен выиграть», – подумал Анис и отправился искать жильё.

В сравнительно недорогом местечке Аббатуар он нашёл то, что было нужно. Зайдя в комнату и бросив сумку на кровать, Анис первым делом достал ноутбук, вошёл в Интернет и погрузился в местные сайты знакомств. Он верил, что сегодня его день и он в приятном обществе прогуляется по Английской набережной...

* * *

Три дня пролетели в суете. Было очень жарко, и Ницца огромными порциями поглощала мороженое. Рефрижератор Аниса, как большая ложка, сновал от базы к ресторанам, без усталости убаюкивая город.

Наступило утро долгожданного праздника. Особо настойчивые лучи пробивались сквозь облачный занавес, проникли под тёмные гостиничные портьеры и потревожили нежащихся в постелях гостей города. Город начал готовится к вечернему действу: флагами и шарами украшали набережную, устанавливали VIP-зону и полицейские ограждения, представляли пиротехнику, залпы которой должны были напомнить о давно прошедших событиях.

Разделавшись с парковочной цепью, Анис устало крутил педали. Даже раннее облачное утро не остужало внутреннего жара. Каждый оборот педалей отдавался болью в голове, если бы не похмелье, организм бы уже привык к нагрузке. Пот ручьём лил по лицу и спине. Анис с завистью подумал о мажорах, которые приезжают за своими грузовиками на такси. А бросив взгляд на облачное небо, позлорадствовал: «Никто, кроме небожителей, ваш салют и не увидит».

Обливаясь потом, он вспомнил свои мечты о том, как будет хозяйничать на дорогах. Работа на грузовике была тяжёлой – приходилось

помогать на разгрузке. Вставая перед рестораном, грузовик обычно перегораживал улицу, и автомобилисты, которые не могли объехать большегруз, с удовольствием жали на клаксоны. Так нелепо тявкают на сенбернара болонки. Это даже забавляло Аниса, но управляющий одного из ресторанов пожаловался Этьену.

Когда выдавалась свободная минутка и Анис мог спокойно посидеть в кабине грузовика, он с завистью выглядывал посетителей в дорогих костюмах, входящих в ресторан с парадного входа. Их взгляд обычно не останавливается на грузчиках и водителях. Они не замечают их, как не замечают мелких грызунов крупные хищники, высматривающую только крупную дичь: дорогие машины, ярких женщин... Анис пытался отрепетировать подобный взгляд перед зеркалом, но у него выходило комично и жалко.

«Они, наверно, и этот взгляд получили вместе с наследством», — Анис вспомнил Этьена. Ему не хотелось верить, что тот достиг всего сам. Хотя хватка современного бизнесмена проявлялась в Этьене отчётливо: в первый день он не заплатил под предлогом, что заболел бухгалтер, во второй сказал, что готовится к празднику и пришлось все деньги вложить в оптовую партию мороженого.

«Я должен сегодня забрать свои деньги», — пульсировало в голове у Аниса. Ему было необходимо сегодня вернуть машину в агентство или внести ещё четыреста евро, а денег осталось только на мороженое. Внимание Аниса привлекла ярко освещённая витрина ювелирного магазина. Он притормозил, его взгляд пробежал по ценникам и остановился на одном, с четырьмя нулями. Анис присвистнул:

— Ломик бы сейчас...

Нет, сидеть он не хотел. Заметив, что самым дорогим на витрине было обручальное кольцо с крупным бриллиантом, Анис непроизвольно посмотрел на свою правую руку, где ещё не так давно блестели его обручальное на безымянном и родовое кольцо на среднем. Первое он подарил в прошлом году уже забытой девушке по вызову. След от него уже сравнялся с общим загаром. Родовое кольцо, переданное отцом от деда, было бездарно проиграно в напёрстки на Монмартре таким же коренным французам, как и он. Попытка забрать кольцо назад стоила ему разбитого носа.

Анис на скорости приблизился к перекрёстку и, не слезая с велосипеда, поехал по пешеходному переходу. Сигнал клаксона застал его врасплох. Велосипед вильнул вбок и врезался в парапет. Анис, перелетев через раму, упал на тротуар. Оглянувшись, он увидел за рулём грузовика крепкого араба, бледного от неожиданности.

— Как у себя дома, — сплюнул Анис и вытер кровь с локтя.

Когда Анис приехал на парковку, тучи уже расступились и пятились к горизонту, уступая пространство празднику. Анис, загрузив машину мороженым, поехал развозить лакомство по точкам Этьена. Когда в холодильнике осталась только пара контейнеров с подтаявшим мороженым, Анис, оставив грузовик на парковке, отправился в офис за зарплатой. Он чувствовал, что Этьен так просто не расстанется с деньгами, и эта мысль заставляла его остервенело крутить педали.

Этьен спокойно стоял у зеркала, разглаживая полы своего дорогого хлопкового пиджака в крупную коричневую клетку. Пиджак был несколько великоват для него. Заметив Аниса, Этьен ещё раз провёл рукой по лацкану.

– Садись, – неожиданно резко бросил он.

Анис растерянно плюхнулся в кресло и больно задел разбитым локтем о край стола.

– Я больше не нуждаюсь в твоих услугах. Забастовка закончилась. Не вижу необходимости платить тебе больше, чем другим. Вот ещё что, мне позвонили из нескольких точек – мороженое было подтаявшим. Это я тоже вычту. Ты же не хочешь, чтобы я проинспектировал остальные точки... Мой юрист всё подготовил, – отрезал Этьен.

Боль не позволяла Анису сосредоточиться. Но при слове «юрист» у него внутри всё оборвалось: как ловко Этьен из обвинителя превратил его в обвиняемого.

Он забрал деньги не пересчитывая, посмотрел на Этьена с обречённой ненавистью и вышел. Забыв про велосипед, стоящий у входа, он пошёл пешком. Невыносимая обида подступила к его горлу и встала поперёк, мешая дышать.

Пройдя квартал, Анис зашёл в неприметное кафе, спрятавшееся за яблонями. В нём не было никого в это время – время сиесты. Сел за первый попавшийся стол. Огляделся с ненавистью и болью. Напротив его стола висела картина – единственное яркое пятно на серо-коричневой стене.

На картине была изображена гостиная в марокканском доме, где семья – муж, жена и двое детишек – обедала. Ещё пять лет назад он так же сидел во главе стола и лениво покрикивал на балующихся детей, пока жена накрывала на стол. Он подробно разглядывал своё прошлое, боясь заглянуть только в глаза изображённых на картине людей, интуитивно опасаясь их презрения. Сквозь гул в голове он услышал женский возглас, донёсшийся от входа в кафе:

– Настя!

Обернувшись, Анис увидел у входа молодую пару. Женщина в белом коротком платье быстрым движением придержала маленькую девочку, с рыжеватыми кудрями, чуть не упавшую с плеч мужчины. Мужчина – молодой брюнет в чёрных шортах и фирменной футболке клуба «Лион» – видимо, запнулся за порог.

«Русские», – подумал Анис.

Он немного знал их язык. В криминальных кругах Парижа они всегда удивляли его хмуростью, но уж если смеялись, то оглушительно громко. Эта троица была другой – она светилась изнутри.

Они, возбуждённые происшествием, прошли через всё кафе, сели за столик под картиной и на смешном английском заказали рыбный суп.

Анис не понимал, как может им быть так хорошо, когда ему так плохо. Он смотрел, как они играют с девочкой, заигрывают друг с другом, но когда мужчина поцеловал женщину в шею, Анис смутился и перевёл взгляд на картину. Он встретился взглядом с улыбающимся мальчишкой – и картина ожила. Ребёнок, смеясь, уплетал кус-кус.

Аниса пронзило чувство одиночества, пронзило так сильно, что ушло в позвоночник. Как будто игла хирурга вошла в него и обездвижила. Боль отступила – он впал в оцепенение и боялся очнуться, чтобы не испытать её снова. Он не слышал официанта, подошедшего принять заказ, и заметил его только тогда, когда ему на колени запрыгнула кошка.

– Кыш! – Анис отшвырнул её на пол. Отскочив, она оглянулась и жалобно посмотрела на Аниса.

Он подумал: «Меня отшвырнули так же».

Он заказал чашку чая, достал смартфон, чтобы чем-то занять руки и голову, начал быстро прогонять новостную ленту «Фейсбука». Вдруг он заметил на экране знакомое лицо – с фотографии улыбалась девушка, как две капли похожая на его жену в молодости, рядом с элегантным немцем. Они стояли возле огромного «мерседеса». Комментарий к фотографии гласил: «Он увезёт нас в рай». Кто он – джип или мужчина, – было непонятно. Разглядывая джип, Анис вспомнил свой грузовик. Ему стало ясно, что делать дальше. Пружина разочарований, сжимавшаяся последние два года, моментально распрямилась. Он вдруг понял, что вся его жизнь была вызовом Аллаху, а все невезения – ответом ему. Что в глубине души он презирает тех мажоров, к которым его тянуло на протяжении всей сознательной жизни.

«Вечером, в праздник, на набережной будут все. И Этьен притащится. Лощёные подонки, вы заманиваете нас в свой европейский рай. А я покажу вам арабский ад!»

Он отшвырнул телефон, смахнул чашку на пол и вышел из кафе. План выстроился быстро.

«И возвращать грузовик не надо», – проскочила мысль.

Он добрался до гостиницы, взял из сумки пистолет калибра 7.65, привезённый из Парижа. Вспомнил, как обошёл металлоискатели на железнодорожном вокзале: «Не зря», – и с этой мыслью он отправился к грузовику. На последние деньги шиканул и взял такси до парковки. Уже когда грузовик шёл полным ходом к Английской набережной, его остановил кордон полицейских. Анис не торопясь вылез из кабины, подошёл к двум офицерам:

– Везу мороженное на праздник. Оно тает. Очень жаркий день. Гости Ниццы останутся без сладкого.

Один из офицеров сказал другому, что машину необходимо досмотреть. Но второй махнул рукой – и Аниса пропустили.

Вокруг уже было темно, по улицам двигались тысячи людей – словно десятки горных ручьёв вливались в бурлящий поток, где всё светилось, вспыхивало, кружилось, шумело, и было не разобрать – ад это или рай.

Анис медленно подъехал к полицейским ограждениям, отделяющим пешеходную зону, и выглянул из-за деревьев на набережную – там извивалась огромная сверкающая змея. Празднующие люди как будто перестали быть живыми, они как будто уже частично переварились этой змеей и превратились в оплывшие манекены, в тряпичные куклы. Пустота! Пустота гудела над яркими огнями. Эти огни светили, но светили они чёрным светом.

– Этьен!..

Анис включил магнитолау на полную громкость. Вместе с ударившими басами он вдавил педаль газа до упора и, пробив невысокие ограждения, влетел на набережную. Первыми он отбросил нескольких стражей порядка. Кого-то из них переехал. Машина подскочила, Анис прикусил губу и почувствовал вкус крови. Чувство превосходства распрямило его. Теперь он специально начал вилять, чтобы зацепить людей, идущих сбоку. Колонки в кабине были мощными – крики практически не доносились до него. Через несколько секунд после того, как он переехал ограждения, картина на набережной преобразилась. Броуновское движение стало упорядоченным. Как будто прорвало в нескольких местах плотину и вся вода устремилась туда. Люди разбе-

гались, пытаясь заскочить в проулки, многие прыгали с мостовой на пляж. Анис видел множество лиц. Большинство людей, прежде чем уйти под машину, успевали обернуться. Они как будто что-то хотели сделать или сказать.

Некоторых сбитых грузовиком подбрасывало вверх, и они ударялись о кабину водителя. Анис видел их бесконечный ужас. Он искал глазами пиджак в крупную коричневую клетку. Больше всего ему хотелось заглянуть в глаза его владельца.

– Этьен, ну где ты?

Машина неслась словно по полю с высокой травой, подминая под себя людей и оставляя лежать их уже смятыми, сломленными. Когда грузовик пролетал мимо отеля «Негреско», Анис заметил знакомый жёлтый шарф на шее толстяка.

– Посмотрим, чем ты заплатишь теперь.

Итальянец держал смартфон в правой руке, подняв его выше бегущих мимо людей, и даже не смотрел на грузовик – он смотрел на экран, медленно спускаясь с крыльца отеля и снимая происходящее.

Анис резко крутанул руль в направлении мужчины, тот, в свою очередь, опустил в ужасе глаза, и их взгляды встретились.

– Ага, ты увидел меня!

Но в следующий момент Анис крутанул руль в обратном направлении и объехал итальянца. От воздушной волны тот отшатнулся, но вес позволил ему устоять. Уже проехав метров пятьдесят, Анис бросил взгляд в зеркало заднего вида и увидел, что итальянец идёт, переступая через людей и снимая их. Тела лежали как скошенная трава.

– Снимай, снимай, итальяшка.

Грузовик неумолимо мчался по набережной. Кто-то из полицейских выпустил обойму по кабине, но от бронированной плёнки, наклеенной на лобовое стекло для защиты от камней на трассе, пули отскакивали.

– Слабаки! – разгорячился Анис и сильнее надавил на акселератор.

В эту секунду в боковое зеркало он увидел, как мотоциклист перепрыгнул со скутера на подножку грузовика и пытается открыть дверцу. Анис повернул руль рефрижератора и, проскрежетав юзом по фонарному столбу, сбросил хабарца на мостовую. Выжить после такого падения было невозможно.

Анис перевёл взгляд с бокового стекла на лобовое и увидел пару, стоящую прямо по пути следования автомобиля, – мужчину, пытающегося достать младенца из коляски, и девушку, остолбеневшую от ужаса. Фары грузовика уже ярко осветили их. На мужчине блестела знакомая футболка клуба «Лион». В последний момент мужчина подхватил ребёнка и рванул, словно спринтер, в сторону, ухватив за руку девушку. В следующую секунду они выскочили на газон.

– Везучие эти русские, – бросил Анис со злостью. Уже пустая коляска взлетела в воздух и, прочертив дугу, словно бейсбольный мяч, рухнула на траву.

Анис увидел, что врезается в группу арабских туристов, и первым, кого он сбил, был мальчишка – его подбросило и припечатало к лобовому стеклу. Искажённое от боли лицо оказалось прямо напротив лица водителя.

На Аниса смотрели глаза его сына. Анис выпустил руль из рук. Автомобиль выскочил на газон, сбив холодильник с мороженым, и врезался в дерево. Через несколько секунд подоспели полицейские и всадили

в кабину не меньше полусотни пуль. Когда открыли двери, изрешеченный Анис вывалился из них на кем-то брошенный французский триколор, залив его кровью...

Утро пришло равнодушно и неспешно. Набережная, открывшаяся рассвету, была то тут, то там обагрена кровью, будто бы по ней, мечась между домами и деревьями, уходило от охотника гигантское раненое животное. Небо было чистым, и краски буквально горели на солнце.

Зной быстро затопил набережную. Он накрыл искорёженную коляску, лежащую на газоне рядом с самым пафосным отелем Франции. Его тяжёлое дыхание почувствовала маленькая Анастасия, разбросавшая рыжие локоны в утреннем сне на лоджии недорогой съёмной квартиры. Обжёг он и Этьена, лежащего у открытого окна в госпитале – тот не смог попасть вчера на праздник, у него открылась язва желудка. Пот стекал ручьем по лицу толстяка, сидящего на балконе отеля «Негреско», но тот ничего не замечал – он замороженно смотрел на экран смартфона, где щёлкал счётчик лайков, отсчитывая живых.

Юрий НЕМЦОВ

Родился в 1950 году в Кинешме Ивановской области. Окончил Горьковский госуниверситет (филологический факультет), преподавал в средней школе литературу и русский язык, работал журналистом.

Шеф-редактор публицистического вещания ННТВ, редактор видеожурнала «Строй!». Лауреат премий им. М. Горького и Нижнего Новгорода, гран-при телефестиваля «Вся Россия» (программа «Парад «Побед»», 1995), гран-при фестиваля «Зодчество-98» («Архотека»). Автор трилогии документальных фильмов «О человеке, земле, воде и дереве»: «Сделай себе ботник», «Черная глина», «Сила Кориолиса».

Заслуженный работник культуры РФ. Живет в Нижнем Новгороде.

ВПЕРЕДИ ТЫСЯЧА ЛЕТ

Анна фаршировала перцы и смотрела телевизор. Ее муж в соседней комнате смотрел в окно. Пустой двор, засыпанный желтыми листьями, серое небо над крышами, собака, задрывшая ногу в античной позе.

Анна вышла из кухни, держа руки на весу, как хирург:

– Обещают дождь.

– Я слышал.

– Может, передумаешь? Промокните насквозь.

– Мы же договорились, Савелий ждет. Возьму резиновые сапоги, штормовку с капюшоном.

– Твои сапоги в гараже, ты помнишь?

– Где ж им еще быть.

– Поедешь в гараж?

– А что делать?

Не покупать же новые сапоги ради грибов. Да и грибов-то, наверное, нет никаких, кончился сезон.

– Привези мне курточку.

– Какую курточку?

– Я тебе сто раз говорила: желтую, с капюшоном. Ты ее в гараж со всем барахлом утащил. Мою любимую курточку.

Кулемин представил себе темную, пыльную, пропахшую влажным тряпьем внутренность гаража. Может, не будет дождя? Но в последнее время прогнозы сбываются.

– Захватил бы старые кастрюли?

– Легче выбросить.

– Ну выброси. Тебе бы все выбросить.

– Еще скажи: другие всё в дом несут...

Кулемин не ставил машину в гараж. С тех пор, как они переехали в центр, он бросал ее во дворе, у подъезда, не без злорадства наблюдая, как лакированные джипы брезгливо паркуются под пыльным боком его лунохода. Правда, заводил с опаской, даже пригибался за рулем: запорожский движок орал на весь двор. Казалось, что с подоконников в брезентовую крышу полетят цветочные горшки.

Как все изменилось за два года! От березовой рощи ничего не осталось. Половину железных коробок срыли бульдозером. На своих воротах Кулемин прочитал приклеенную бумажку: «Владельцы незаконных гаражей! Как вам уже неоднократно... без соответствующих документов... в связи со строительством... в ваших интересах... в противном случае...»

Сначала не отпирался ржавый замок, потом не вылезала дужка из петель, потом дверь уперлась ребром в землю. Кулемин просунулся в щель, нащупал деревянный черенок лопаты, долго ковырял утрамбованный шлак, прежде чем железные створки разошлись и впустили свет. Тучи разошлись, сквозь дырку в стене гипотенузой упал четкий, как от прожектора, солнечный луч. В луче шевелилась пыль. Кулемин вспомнил историка, который в тюрьме, глядя на такой же пыльный луч, придумал какую-то космическую теорию. Как звали историка? Как называлась теория? И где сапоги? И что еще Аня просила?

Кулемин стоял посреди гаража, заваленного прошлой жизнью, и чувствовал, как приходит оцепенение. Это началось давно, в детстве. Дед называл его «заторможенный». Дед был волевой, четкий, строгий, насмешливый, отец мягче, но не вялый, не смурной, мать веселая, живая, быстроногая, бабушка всеми командовала. В кого он такой?

Сначала это жену забавляло, потом раздражало, она чиркала пальцами перед его застывшими зрачками:

– Эй, на Марсе! Я Земля.

Он приходил в себя, видел ее лицо сначала в тумане, потом словно вспышка – и четкость необыкновенная. И всякий раз удивление: эта красавица – моя? Жена?

Потом она привыкла, но в прихожей всегда, провожая на работу, повторяла ритуальный заговор:

– Только через переход, хорошо?

Смотрела в окно, правильно ли он идет. Пока не исчезал за углом, махала рукой. И сегодня, выруливая со двора на рычащем, как танк, «луазе», он видел в зеркальце окно, в окне герань, тюль и мелькание белой руки.

Он разработал систему приемов и правил; в дороге шевелить пальцами на руле, постукивать в пол незанятой ногой, пятка-носок. В момент получения сдачи напрягать мышцы промежности, как если бы нестерпимо хотелось отлить. Уложив сдачу в карман (кошелек Кулемин исключил после четвертой потери), нужно щелкнуть каблукми, правым по левому, иначе забудешь положить в пакет то, что купил. Это было самое сложное, но продавщицы на рынке уже знали Кулемина, окликали, когда он забывал взять покупку. Возвращался к прилавку, виновато улыбаясь: «Старость не радость».

Когда прострация напала внезапно, вот как сейчас, нужно было сделать три полных вдоха-выдоха животом с задержкой на десять секунд. Кулемин сделал, все прошло. Он даже вспомнил, где могут быть сапоги: на верхней полке, в коробке из-под телевизора. Потянулся за

коробкой, ухватил ее левой рукой, правой для упора зацепился за доску, на которой стояла коробка, и опрокинул весь стеллаж.

Чертыхаясь и по-собачьи фыркая, выволок картонный куб на свет, нашел старые кроссовки, джинсы, изъеденный молью свитер, маленький синий глобус с оторванным Мадагаскаром, морскую раковину с розовым глянцем изнанки, похожей на женскую плоть, незаправленный «паркер», кожаные перчатки на облезлом меху и фотоаппарат «ФЭД». Надо было либо разгрести гараж, либо плюнуть на все это слюной, запереть и уехать. Все равно снесут, ничего не жалко.

Не гараж, а мусорный контейнер, в котором спокойно рыться бомжам, но не ему, не тому, кто свалил сюда однажды свою нищую молодость. Зачем люди прячут свое барахло, если в обратную сторону хода нет? Привезти домой кроссовки, джинсы, свитер, отстирать, заштопать, надеть – и куда? В кино на танцы?

Кулемин потащил коробку в темное нутро гаража, радуясь, что никто его не видит со стороны: жалкое должно быть зрелище. Вспомнилась картина, не картина, а репродукция на стене, у кого-то из друзей. На табурете, расставив тощие ноги в подвернутых джинсах, в башмаках на толстой подошве, – хорошие, крепкие башмаки со шнурками, – сидел старик. На нем были свитер и джинсы, какие носили в шестидесятых по всему белу свету. Он сидел в пустой комнате, закрыв лицо руками. Большие узловатые пальцы, черепашня кожа, оттянешь – повиснет. Это его дед научил, еще маленького:

– Прихватываешь двумя пальцами кожу на руке, вот здесь, оттягиваешь, слегка закручиваешь...

– По часовой? – внук вытягивал шею, стараясь казаться умным и внимательным.

– Все равно. И отпускаешь. Держится?

Оттянутая кожа на дедовой руке, не расправляясь, застывала мягким порошцем.

– Держится.

– Вот. Если кожа застывает, значит, ты уже старик.

Но кулеминский дед был крепкий, жилистый, в молодости крутил солнце на перекладине, однажды в саду полез чинить крышу беседки, чуть не слетел с крутого ската, чудом удержался. Спустившись, с удовольствием спросил:

– Знаешь, почему я с крыши не упал? Потому что в молодости занимался спортом.

А нарисованный был настоящий старик. Он прятал лицо в ладонях, длинные седые пряди ложились на пальцы, на плечи и грудь.

Когда коробка уже переползала порог, картон развалился. Кулемин стал перебрасывать содержимое в гаражный бардак, только ракушку пожалел, завернул в свитер: домой заберу.

На дне большой коробки обнаружилась маленькая – тонкая, плоская; из нее хищно выскользнула киноплёнка, с легким шорохом расправила кольца. Странно: никто в семье не снимал кино. Фотографировались много, и слайды делали, в семидесятых появился немецкий цветной позитив, атменного качества. Слайды получались яркие, вкусные, небо синее, платье желтое, ноги коричневые, волосы медные – все, как у натуральной Анны, только еще сочнее.

Они тушили свет, залезали на диван с бутылкой рислинга, включали проектор, ставили пластинку – «Ливинг-блюз» или «Генералов»,

меняли слайды, но уже через пару минут начинали целоваться. Сначала закрытыми губами, по-птичьи, потом открытыми, но без языка, губы стиснуты, потом он своим большим ртом обхватывал ее маленький, тоже открытый, и дышал через ее нос. Это было их собственное изобретение: нужно открыть в гортани какой-то клапан, чтобы воздух свободно ходил по носоглотке.

Потом начиналось язычество: зубы стиснуть, чтобы язык слепым чудовищем метался вдоль сомкнутых гладких щитов, тыкался в десны, искал лазейку в темное лоно. Анна быстро заводилась, разжимала зубы, запрокидывалась на спину, вздымая колени, заплетая ноги на его пояснице. Он торопился, чтобы не растерять возбуждение, не ослабнуть раньше времени, войти в нее твердо, уверенно.

– Не спеши, не спеши, – повторяла она, придерживая его за бедра, – я еще хочу, еще, еще...

Взял коробку и, словно прячась от кого-то, зашел в гараж. Осторожно развернул хрупкую целлофановую спираль, погрузил начало пленки в солнечный луч. Тот почти сразу погас, облака закрыли солнце, но Кулемин успел разглядеть Анну. Кто-то снимал ее очень давно.

Он ревновал ее от страха и слабости. В автобусе, в трамвае, в маршрутке обнимал ее тонкие, жесткие плечи, озирался, спиной чувствуя взгляды, выпячивал челюсть: мое! Ревность стала хлебом, водой, воздухом.

Но из больницы вышла бледная потухшая девочка, ее долго пришлось отмачивать в ванне, отглаживать, отцеловывать – главным образом то место, куда залезали железом, – чтобы однажды порозовели поникшие лепестки.

И снова она забеременела с первого раза, после родов расцвела, но уже другой красотой. Она не сияла призывно, как маяк, Кулемин престал ежиться от чужих глаз, бояться, что отнимут. Оба учились в институте, засыпали на лекциях, потому что ночами сменяли друг друга возле Мухиной кровати.

У Мухи болел животик, не сваривал грудное молоко, врачи велели перейти на искусственное, а своего молока у Анны было на трех Мух, переполненная грудь трескалась. Никто не сказал, сами догадались, что можно отсасывать ртом. Он пил ее сок, как из березы в детстве, впиваясь губами в берестяную кожу ствола.

Квадратики на пленке были синими, на синем фоне четко выделялась голая фигурка его Анечки с распущенными волосами. Ну вот... Кто же ее снимал? Впрочем, Кулемин знал, кому звонить. И когда волны дрожи прошли, когда дыхание стало достаточно ровным, чтобы разговаривать, он набрал Осипа.

Недели две назад они столкнулись на улице. Осип его сразу узнал, а Кулемин его не сразу, но даже когда в толстом, апоплексичном лице стали проявляться знакомые черты, он не мог вспомнить ни одного эпизода, связанного с этим пожилым человеком, по всей видимости, давно и сильно пьющим.

– Звони, старый, приходи, – Осип тискал руку большой влажной ладонью. – У меня своя студия. Винил на диски стогая, вихазс в цифру, любая перекодировка – аудио, видео. Просмотровые кабинки на двоих.

И подмигнул, прощаясь.

Студия оказалась в цоколе старого дома, пахло сырým подвалом, на стенах пошлого вида фотографии, барная стойка с несвежей девницей.

– У тебя здесь что же, кафе?

– У меня публичный дом с баней. А то не знаешь? Ну, проходи в кабинет, сейчас коньячку выпьем.

Шутит Осип или правду говорит, Кулемину было наплевать, и Осип это понял, перестал ерничать, спросил без затей:

– Случилось что-нибудь? Голос у тебя по телефону, я бы сказал...

– Что со мной может случиться?

– Ну, не знаю: в аварию попал, наехал кто-нибудь, жена ушла.

– В мои-то годы? Я тихий, старый, больной, никому не мешаю. Вот скажи, пожалуйста: можно это как-нибудь посмотреть вооруженным глазом?

Выложил коробку на стол.

– У меня все можно, только деньги плати.

Повернувшись к окну, Осип развернул пленку, словно скинул одеяло с чужой постели:

– Восемь миллиметров. Семейная хроника? А ты везучий. Как был везучий, так и остался: на днях какой-то бомжара приволок «Русь», как будто знал, что ты придешь. Купил у него не глядя. Еще не пробовал, может, и не работает.

Шумно поднялся, не выпуская пленку из рук:

– Пойдем аппарат запускать, баловень судьбы.

Они все ему завидовали, каждый хотел бы оказаться на его месте. Сейчас красоток пруд пруди, а тогда казалось, что Анну занесло сюда с другого берега, из какого-нибудь польского фильма. Зимой она заплетала косу, а летом ходила с распущенными, пахла черемухой, солнцем, рекой. Носила длинные вязаные кофты, короткие юбки, туфли на каблучке. Про таких говорили: ноги от шеи.

Каждый день начинался с вопроса: что будет? Чем кончится? Земля качалась, как палуба, приходилось цепляться за ванты, чтобы не слететь за борт, при этом держать штурвал, не терять угол атаки, не терять ее руки, иначе смоев любимую, сдует, сглазят, уведут. Но это жизнь, говорил он себе, это и есть настоящая жизнь. Конечно, она меня бросит, но эти дни навсегда мои, я любил, я страдал, я жил, я был счастлив.

Он знал, что не первый, знал даже, кто научил ее взрослой любви, еще совсем девочку, ребенка с атласной кожей. По ночам зажигал свечу – в семидесятых мы все были помешаны на свечах, – садился в постели, смотрел, как она спит и, томясь желанием, осторожно, словно присохшую корку с недавней ранки, по сантиметру снимал с нее одеяло, шепча «Кармен, Кармен...»

Стрекотал кинопроектор марки «Русь», этакая древность, на белой простыне экрана мерцала его любовь, его Анечка. Она бесстыдно выгибала свою бронзовую спинку на пляжном топчане. Садилась, заводила руки за спину, опиралась на них, подставляя солнцу глянцевые плечи, лоб, подбородок. Подбирала колени, запрокидывала лицо, потряхивала волосами. Вставала медленно. Медленно шевеля бедрами, шла к морю. Входила в воду, не подбирая волос. Оборачивалась, кого-то звала губами.

– Неплохо снято, – сказал Осип. – Какая камера? «Аврора»?

– Не помню. Может, «Аврора». Сто лет прошло.

– На диске качество будет хуже. Это же не прямой перегон. Я должен буду с экрана снять на цифру, потом согнать в компьютер, потом в DVD. Оставляешь?

– Ничего не надо, Осип. Я просто хотел посмотреть.

Он уже подъезжал к дому, когда начался дождь. Дворники не работали. Кулемин слышал, как телефон звонит в кармане, но не мог оторваться от руля, от мутной дороги в узком стекле вездехода. Какие к черту грибы!

Второй раз Анна позвонила, когда он уже поставил машину на ручник:

– Прости, я только хотела сказать, что на площади Маркуса пробка, большая авария, по телевизору показали...

– Я уже во дворе стою, под окнами.

– Ну слава богу! Осторожно дверцу открывай, тесно поставил, соседа не поцарапай, у него дорогая тачка.

Она смотрела из окна, как он выходит их машины, улыбалась и махала рукой.

На столе дожидались фаршированные перцы в глубокой тарелке, горячие, густо залитые сметаной.

– Я тебе перчики разогрела. Мой руки и садись скорей, пока не остыли. Почему так долго? Нашел сапоги? Курточку привез?

Не отвечая и не разуваясь, прошел в кабинет, сел в кресло. Чужой дом. Чужое все: лампа, зеркало, картины. Чужая жена.

– Что с тобой? Что-нибудь случилось?

Сейчас надо спокойно и просто сказать. А проще не сказать. Выкинуть эту пленку и забыть навсегда. Что ему надо? Чего он хочет? Прошло сто лет. Той девочки в синем купальнике нет. Море осталось, а девочки нет, и того, кто ее снимал, тоже нет, уехал в другую страну, старый развратник, может быть, умер, даже наверняка умер, ему тогда уже было за тридцать, лысый, загорелый, набирающий полноту, самоуверенный, опытный, футбольный мяч у заднего стекла, ласты, ракетка, белые шорты, каждый вечер новая девка, кругом санатории, влажный воздух, влажная кожа, музыка с танцплощадок.

– Ты с ума сошел! Ты что говоришь?! Что ты мне говоришь?!

– Что я тебе говорю?

– Эта пленка!

Она выхватила ленту из коробки, та скользнула из рук, нырнула в ковер, расправилась под ногами.

– Совсем ничего не помнишь?! Всю нашу жизнь проспал?! Но ты врешь, ты не можешь не помнить! Как мы в Сочи ходили в прокат у вокзала, как тебе китаец объяснял, учил тебя батарейку вставлять! И китаяца не помнишь? В майке с удавом!

– Подожди, успокойся...

– Я сейчас успокоюсь. Совсем успокоюсь и уйду от тебя. Я думаю, Сереженька, что ты нарочно эту пленку в гараж упрятал. И все альбомы туда унес, и все ноты мои, все платья, все вещи, которые я любила. Сколько я тебя просила: достань проектор, посмотрим эту пленку, я там должна быть красивой, такой день был чудесный, мой день рождения, твой подарок. «Будем каждый год смотреть, ты навсегда останешься молодой!» Сволочь ты, сволочь! Ты предавал меня каждый день, ты был хуже Заречного, он просто меня хотел, а ты издевался надо мной изощренно. Ведь это ты Кузю убил!

– Какого Кузю?

– Какого Кузю! Все забыл, убил, все, что тебе мешало собой любоваться, все запрягал, заныкал, обманы свои, измены, предательства, вранье твое бесконечное, мелкое, подлое. Видеть тебя не хочу!

Кулемин сидел на кухне, за столом, на котором остывали перцы, разглядывал свою руку. Двумя пальцами потянул кожу, крутанул, отпустил. Медленно, нехотя расправилась. Но уже близко, уже похоже на деда.

Ветер дул за окном, в темноте метались ветви берез, роняли последние листья. Вот и день прошел, осенью дни пролетают быстро. Значит, так это все происходит – ночь в опустевшем доме, одиночество, старость, смерть.

Надо вздохнуть, пошевелить руками. Это мои руки. Правая с кольцом, тещин подарок. Давно уже гладкое, а было с насечкой, и такое же купили Анне.

Кулемин вдруг очень ясно, как в кино, увидел мальчика и девочку, входящих в магазин ювелирных изделий на Театральной площади. На нем светлые брючки в полоску, обтягивающие тощий мальчишеский зад. Рукава рубашки завернуты выше локтя, битловская прическа, волосы на воротнике. На брючках карманы спереди, параллельно поясу, залезать в них очень сложно, нужно втягивать живот. В одном из карманов лежат 40 рублей на кольцо.

Мальчик открывает дверь магазина, пропускает вперед девочку, они идут мимо прилавков, стараясь не смотреть на сверкающую роскошь взрослого мира, и он думает, что никогда не заработает столько, чтобы покупать ей золото в день рожденья.

Он так и не научился дарить подарки. Так и не понял, зачем нужны драгоценности. Лучше на эти деньги поехать в горы. Но разве он возил ее в горы?

Почему-то вспомнил, увидел себя в доме бабушки Маши, как он, еще маленький, с венником и совком, подметает ореховую скорлупу. Колол орехи дверью. Нужно осторожно прикрывать тяжелую дверь, иначе орех, приложенный к косяку – не со стороны замка, а с противоположной, – будет раздавлен в лепешку. Еще и палец себе прищемишь.

Дед отругал за мусор, велел убрать за собой, пока бабушка не пришла. А бабушка не ругалась, наоборот, дала ему тяжелую медную ступку. И вот он сидит в гостиной, грохочет пестиком, скорлупа разлетается по белой скатерти. И дед сидит за столом, в руках у него специальные щипцы для орехов, с мелкими зубчиками. Он аккуратно раскалывает грецкий орех, очищает от шелухи коричневые, похожие на человеческий мозг ядра, складывает на блюдечко.

И бабушка рядом, за швейной машинкой, крутит ручку, а иногда слегка двигает колесо, кладет на блестящий обод подагрическую руку. Бриллиант в золотой оправе сверкает на безымянном пальце.

– Большой!

– Что, Маленький? – спрашивает дед.

– Почисти Сереженьке яблочко.

Она звала его Большой, а он ее Маленький, хотя с виду все было наоборот. Дед очень сердился, если кто-нибудь перечил бабушке. Однажды сказал подростку внуку:

– Если б ты знал, как она была хороша!

Когда Кулемин подъехал к своему гаражу, небо открылось, вышла луна. Можно тушить фари – так светло.

На месте гаража груды металла. Других не тронули, его снесли. Когда успели? Божья кара. Немыслимо найти в этой каше желтую курточку.

Тени пирамидальных тополей, в свете луны похожих на кипарисы, легли на крыши гаражей.

Всегда за кипарисами море. Сначала море, потом узкая полоса пляжей. Сразу над ними железная дорога и стена кипарисов.

Поезд шел вдоль моря, черные буны, как на линейке, отмеряли пространство пляжей. В окне висела луна, обливая ртутной глазурью каждый камушек. Мягкие волны оставляли на гальке призрачные пузыри. Лунная дорога перемещалась вслед за поездом, как черта на панели транзистора.

Бабушка дала в приданое тысячу рублей, они купили рижский «ВЭФ», растратив остальное на самолет, кроссовки, ласты, маску с трубкой, купальник и всякую чепуху. Ночью в гостинице слушали музыку. Казалось, она прилетает из Греции.

Курили в постели, жгли свечи, пили сухое вино, слипались влажными телами. Музыка из приемника наплывала волнами, прорываясь сквозь шорох и треск взезших цивилизаций.

Билетов на обратный самолет не было. Они поехали на железнодорожный вокзал, два часа простояли в очереди, умирая от духоты и давки. Вышли на солнце в самое пекло. На автобусной остановке еще одна очередь. Спасаясь от жары, нырнули в какую-то дверь. Полумрак, бассейн с золотыми рыбками, китайская музыка, тихий разговор у барной стойки.

– Как за границей, – сказала Анна.

Улыбчивый китаец вынес холодной воды. Необидно пялясь на ее загорелые плечи, цокал языком:

– Красота! Надо держать, напоминать! Нельзя, чтобы исчезла!

Принес маленькую кинокамеру.

– Нет, не продавать: прокат. Рубль час. Вы мне паспорт, я вам камеру.

Они пошли на городской пляж. Он снимал Анну на гальке, на буне, на крашеных досках аэрария, по пояс, по горло в воде. Весь день провели в парке, на фуникулере, в дендрарии. Она садилась на перила гранитных лестниц, на шары, на лапы львов, ходила между колоннами Летнего театра, он снимал ее ноги в сандалиях, плетенье ремешков на золотых икрах. Желтая туника из двух махровых полотенец, сшитых по краям, коралловая цепочка, дешевое нефритовое кольцо. Римский мальчик длинноногий...

Они сдали камеру, вернулись в свой санаторий, на пяточке зашли в «Сувенир», где висела среди курортного барахла желтая курточка с капюшоном, легкая, из тонкой хэбэшной ткани.

На лбу Кулемина горел фонарик, его руки тащили, выдирали, выламывали останки вещей – спинку стула, гардину, шахматную доску, водопроводный кран, велосипед с одной pedalью. Он гремел искореженным железом, представляя, как подходят, молча стоят, потом спрашивают: кто такой, что здесь делает, почему ночью?

Шевеление тряпок заставило вздрогнуть, застыть на полувздохе. Маленький, трясущийся от страха и холода, похожий на Кузю, только без белого пятнышка, к нему пробирался котенок. Всхлипнув, Кулемин наклонился, протянул руки. В сердце вошла привычная боль, но уже

не иголкой, как прежде, а шилом, даже гвоздем. В этот раз ему даже слышался хруст, как будто вскрывают арбузное брюхо. На самом деле в левом кармане куртки проснулся телефон. Не разгибаясь, он правой рукой достал трубку – по левой к нему на плечо уже вползал котенок.

А тогда он сидел на диване, смотрел телевизор. Кузя, в каком-то дворе подобранный, вымытый, невесомый, ползал по нему, как муха, ну и скатился с плеча, провалился за спинку дивана, сразу как-то поник, уснул, весь вечер лежал на полотенце. Ночью Кулемин проснулся. Анна, в ночнушке, не повернув головы, сидела к нему спиной, держа в ладонях бедного Кузю, с повисшими лапками, с разинутым ртом. Так они молча смотрели друг другу в глаза, покуда один не умер.

Теперь этот ползет, телефон звонит, луна над черной стеной тополей, слово д о м в горящем квадрате дисплея.

– Ты где?

– В гараже.

– С ума сошел! Я тебя жду. Ты слышишь? Я дома.

Нужно подождать, когда вылезет гвоздь. Котенка держать осторожно, но крепко. Попробовать разогнуться, вздохнуть, выдохнуть. Еще раз вздохнуть, поглубже.

Ночь холодная, тихая, ясная. Будет хороший день, трава просохнет. Он поедет за грибами, привезет маслят. Анна пожарит с картошкой, разогреет перчики.

Впереди тысяча лет.

Владимир АЛЕЙНИКОВ

Родился в 1946 году в Перми. Вырос на Украине, в Кривом Роге. Окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ.

Основатель и лидер легендарного литературного содружества СМОГ. При советской власти на Родине не издавался. Работал в археологических экспедициях, грузчиком, дворником, в школе, в многотиражной газете, редактором в издательстве. В 1980-х был известен как переводчик поэзии народов СССР. Первые книги стихов вышли в 1987 году. Автор многих книг стихов и прозы – воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках. Стихи переведены на различные языки.

Награждён медалью Кирилла и Мефодия – за выдающиеся достижения в отечественной словесности (1996), медалью Циолковского – за космический масштаб его поэзии (2006). Лауреат премии имени Андрея Белого (1980), Международной Отметины имени Давида Бурлюка (2011), Бунинской премии (2012).

Живёт в Коктебеле.

ВСЁ ДЕЛО НЕ В БЛАГЕ – В БОГЕ...

* * *

Конечно же, это всерьёз –
Поскольку разлука не в силах
Решить неизбежный вопрос
О жизни, бушующей в жилах,
Поскольку страданию дано
Упрямиться слишком наивно,
Хоть прихоть известна давно
И горечь его неизбывна.

Конечно же, это для вас –
Дождя назревающий выдох
И вход в эту хмарь без прикрас,
И память о прежних обидах,
И холод из лет под хмельком,
Привычно скребущий по коже,
И всё, что застыло молчком,
Само на себе непохоже.

Конечно же, это разлад
Со смутой, готовящей, щерясь,
Для всех без разбора, подряд,
Подспудную морось и ересь,
Ещё бестолковой, верней –
Паскуднее той, предыдущей,
Гнетущей, как ржавь, без корней,
Уже никуда не ведущей.

Конечно же, это исход
Оттуда, из гиблого края,
Где пущены были в расход
Гуртом обитатели рая, –
Но тем, кто смогли уцелеть,
В невзгодах души не теряя,
Придётся намаяться впредь,
В ненастных огнях не сгорая.

* * *

Тирсы Ваковых спутников помню и я,
Все в плюще и листве виноградной, –
Прозревал я их там, где встречались друзья
В толчее коктебельской отрядной.

Что житуха нескладная – ладно, потом,
На досуге авось разберёмся,
Вывих духа тугим перевяжем жгутом,
Помолчим или вдруг рассмеёмся.

Это позже – рассеемся по миру вдрызг,
Позабудем обиды и дружбы,
На солёном ветру, среди хлещущих брызг,
Отстоим свои долгие службы.

Это позже – то смерти пойдут косяком,
То увечья, а то и забвеньё,
Это позже – эпоха сухим костяком
Потеснит и смутит вдохновеньё.

А пока что – нам выпала радость одна,
Небывалое выдалось лето, –
Пьём до дна мы – и музыка наша хмельна
Там, где песенка общая спета.

И не чуем, что рядом – печали гуртом,
И не видим, хоть, вроде, пытливы,
Как отчётливо всё, что случится потом,
Отражает зеркало залива.

* * *

Багровый, неистовый жар,
Прощальный костёр отрешенья

От зол небывалых, от чар,
Дарованных нам в утешенье,
Не круг, но расплавленный шар,
Безумное солнцестоянье,
Воскресший из пламени дар,
Не гаснувший свет расставанья.

Так что же мне делать, скажи,
С душою, с избытком горенья,
Покуда смутны рубежи,
И листья – во влажном струенье?
На память ли узел вяжи,
Сощурясь в отважном сиянье,
Бреди ль от межи до межи,
Но дальше – уже покаянье.

Так что же мне, брат, совершить
Во славу, скорей – во спасенье,
Эпох, где нельзя не грешить,
Где выжить – сплошное везенье,
Где дух не дано заглушить
Властям, чей удел – угасанье,
Где нечего прах ворошить,
Светил ощущая касанье?

* * *

Ты думаешь, наверное, о том
Единственном и всё же непростом,
Что может приютиться, обогреться,
Проникнуть в мысли, в речь твою войти,
Впитаться в кровь, намеренно почти
Довлеть – и никуда уже не деться.

И некуда бросаться, говорю,
В спасительную дверь или зарю,
В заведомо безрадостную гущу,
Где всяк себе хозяин и слуга,
Где друг предстанет в облике врага
И силы разрушенья всемогущи.

Пощады иль прощенья не проси –
Издревле так ведётся на Руси,
Куда ни глянь – везде тебе преграда,
И некогда ершиться и гадать
О том, кому радеть, кому страдать,
Но выход есть – и в нём тебе отрада.

Не зря приноровилось естество
Разбрасывать горстями торжество
Любви земной, а может, и небесной
Тому, кто ведал зов и видел путь,
Кто нить сжимал и века чуял суть,
Прошедши, яко посуху, над бездной.

* * *

Всё дело не в сроке – в сдвиге,
Не в том, чтоб, старея вмиг,
Людские надеть вериги
Среди заповедных книг, –
А в слухе природном, шаге
Юдольном – врасплох, впотьмах,
Чтоб зренье, вдохнув отваги,
Горенью дарило взмах –
Листвы над землёй? крыла ли
В пространстве, где звук и свет? –
Вовнутрь, в завиток спирали,
В миры, где надзора нет!

Всё дело не в благе – в Боге,
В единстве всего, что есть,
От зимней дневной дороги
До звёзд, что в ночи не счесть, –
И счастье родного берега
Не в том, что привычен он,
А в том, что устав от снега,
Он солнцем весной спасён, –
И если черты стирали
Посланцы обид и бед,
Не мы ли на нём стояли
И веку глядели вслед?

* * *

Те же на сердце думы легли,
Что когда-то мне тяжестью были, –
Та же дымка над морем вдали,
Сквозь которую лебеди плыли,
Тот же запах знакомый у свай,
Водянистый, смолистый, солёный,
Да медузых рассеянных стай
Шевеленье в пучине зелёной.

Отрешённое нынче смотрю
На привычные марта приметы –
Узкий месяц, ведущий зарю
Вдоль стареющего парапета,
Острый локоть причала, наплыв
Полоумного, шумного вала
На события, чтоб, россыпью скрыв,
Что-то выбрать, как прежде бывало.

Положись-ка теперь на меня –
Молчаливее вряд ли найдёшь ты
Среди тех, кто в течение дня
Тратят зренья последние кошты,

Сыплют в бездну горстями словес,
Топчут слуха пустынные дали,
Чтобы глины вулканный замес
Был во всём, что твердит о печали.

Тронь, пожалуй, такую струну,
Чтоб звучаньем её мне напиться,
Встань вон там, где, встречая весну,
Хочет сердце дождём окропиться,
Вынь когда-нибудь белый платок,
Чтобы всем помахать на прощанье,
Чтоб увидеть седой завиток
Цепенеющего обещанья.

* * *

Ты, душа, влеченья не скрывала
К берегам, где встарь уже бывала.
К берегам, где издавна томится
Всё, что днесь то вспомнится, то снится,
К берегам, где волю славит лира,
К берегам, где скоро будет сыро,
К небесам, где музыка витала,
К облакам, рассеянным устало.

Ты, душа, упряма в этой тяге –
Дни пройдут, и власти сменят стяги,
Не застынут вести на пороге,
Подоспеют новые итоги,
Выпьют вина, слитые во фляги,
Не просохнут строки на бумаге, –
А тебя попробуй удержи-ка,
Узелок незримый развяжи-ка.

Ты, душа, беспечна в этой блажи,
В раж вошедши, празднична – и даже
Хороша в движении к истокам,
В этой смеси запада с востоком.
В этом сплаве севера и юга,
За чертою призрачного круга,
Где тропа спасительная слово
Из ненастья вывести готова.

* * *

Страны разрушенной смятенные сыны,
Зачем вы стонете ночами,
Томимы призраками смутными войны,
С недогоревшими свечами
Уже входящие в немислимый провал,
В такую бездну роковую,
Где чудом выживший, по счастью, не бывал, –
А ныне, в пору грозовую,

Она заманивает вас к себе, зовёт
Нутром распахнутым, предвестием обманным
Приюта странного, где спящий проплывёт
В челне отринутом по заводям туманным –
И нет ни встреч ему, ни редких огоньков,
Ни плеска лёгкого под вёслами тугими
Волны, направившейся к берегу, – таков
Сей путь, где вряд ли спросят имя,
Окликнут нехотя, устало приведут
К давно желанному ночлегу,
К теплу неловкому, – кого, скажите, ждут
Там, где раздолье только снегу,
Где только холоду бродить не привыкать
Да пустоту ловить рыбацкой рваной сетью,
Где на руинах лиху потакать
Негоже уходящему столетью?

* * *

Любовь, зовущая туда,
Где с неизбежностью прощанья
Не примиряется звезда,
Над миром встав, как обещанье
Покоя с волею, когда
Уже возможно возвращенье
Всего, что было навсегда,
А с ним и позднее прощенье.

Плещась листвою на виду,
Лучась водою, причащённой
К тому, что сбудется в саду,
Что пульс почует учащённый
Того, что с горечью в ладу,
Начнётся крови очищенье
И речи, выжившей в аду,
А там и новое крещенье.

Все вещи всё-таки в труде –
Не предсказать всего, что станет
Не сном, так явью, но нигде
От Божьей длани не отпрянет, –
На смену смуте и беде
Взойдёт над родиною-степью
Сквозь россыпь зёрен в борозде
Грядущее великолепье.

* * *

Звёзды мерцают над садом и кровом –
Нечего ждать от юдоли
Кроме сиянья – не славы ль над словом? –
Надо бы сдержанней, что ли.

Как бы подняться и разом укрыться
Там, в этой бездне алмазной?
С кем бы обняться и где бы забыться
Здесь, в темноте безотказной?

Где безопасней и где беспокойней –
Здесь ли, где гаснет преданье?
Там ли, где явь, пусть земной и достойней,
Словно сплошное гаданье?

Некуда плыть мне и некого помнить
Там, в Океане Сварожьем, –
Надо бы сердце надеждой исполнить
Здесь, над степным бездорожьем.

Надо бы душу сберечь напоследок –
Век не ведёт к покаянью, –
Батко мой Орий, старинный мой предок,
Встань за незримую гранью!

Вряд ли когда-нибудь вновь повторится
Путь, что вдали остаётся, –
Всё, что не вправе врагам покориться,
Кровным родством отзовется.

Елена НАУМОВА

Родилась в посёлке Вахруши Кировской области. Окончила Литинститут имени А. М. Горького (семинар поэзии – руководитель Владимир Костров). В 1989 году, будучи студенткой Литинститута, на IX Всесоюзном совещании молодых литераторов была принята в члены Союза писателей СССР. Работала журналистом в Кирове.

Автор 18 книг стихов и прозы. Лауреат Всероссийской премии им. Н. Заболоцкого, премии Кировской области за 2016 год в номинации «Литература и искусство». Победитель российских и международных поэтических конкурсов «Золотое перо». Живет в Кирове.

...И СОН, КОТОРЫЙ ВЕЩИЙ

* * *

А за стенкою лишь «фа-ми-ре...»
Лет одиннадцать уже.
Я пишу в панельной камере
На десятом этаже.

Время белой нитью тянется
С Покрова до Покрова.
Навестить идёт по пятницам
Мама
(дал-то Бог – жива).

Тихо спросит мама родная:
– Дочь, ведь ты ж такой талант!
Отчего же неугодная,
Отчего как эмигрант?

Молча с нею отобедаю
Да поглажу по плечу.
Что ответить ей – не ведаю,
А расстроить не хочу.

То по юности прощается,
Что потом уже – нельзя.
Быстро «в люди» выбиваются
Мои бывшие друзья.

Я ж сама себе невольная.
 А с годами – не вольней.
 Эта связь моя подпольная
 С небесами всё сильней.

Не разрушить веским доводом,
 Не порвать, ни боже мой... –
 Бьётся-вьётся тонким проводом
 Между небом и землей.

Ксении Некрасовой

Эта дудочка невзрачная –
 Господень инструмент.
 Эта дурочка – при улочке...
 Вся жизнь её момент.

Бог возьмёт и тихо выдохнет
 Через её уста
 Тайну-мудрость, чудо-музыку,
 Что сказочно проста.

И на миг притихнет улочка
 (За ней весь белый свет)
 И поймёт, что этой дудочки
 Прекрасней в мире нет.

А потом опять по улочке
 Она (шурум-бурум)
 Побредёт.
 И скажут: – Дурочка.
 И в жизни ни бум-бум...

* * *

Мой любимый цвет, который
 Тихий-тихий, нежный-нежный, –
 Он приходит неизбежно
 После яростного спора.

С оживающего клёна
 Он струится не напрасно.
 Мой любимый цвет – зелёный.
 ...Раньше я любила красный.

Девочка и дождь

Дождь стучит на улице:
 кап да кап.
 Только мне всё чудится:
 пап да пап.

И только слух.
 Наитие и слух.
 Зрачок в ночи
 таинственен и крыльчат.
 Ум?..
 Был, конечно. Но совсем не тот,
 Которым препарируются вещи.
 Наитие и слух – её полёт.
 И сон,
 конечно, сон,
 Который вещей.

В этом городе

В этом городе
 я прожила целый год.
 В этом городе,
 где заборы, крапива, собаки...
 В этом городе,
 где в большинстве своём пьяный народ,
 Я поселилась у одной женщины
 в деревянном бараке.
 Она тогда была моложе,
 чем я сейчас.
 У нее были фанерные стены
 и довоенная фляжка.
 Два диванчика, стол,
 рукомойник, печка и газ,
 И ещё дочка,
 по-моему, тогда первоклашка.
 Эта женщина покупала
 дешёвый портвейн и
 На старый проигрыватель
 ставила диск Пугачевой...
 Солнце вдруг освещало
 фанерную комнату изнутри,
 И было нам весело и бестолково.
 Я ходила по пьяным улицам
 каждый день.
 В пьяном городе,
 где кладбище посередине.
 Там буйным цветом иногда
 зацветала сирень.
 А иногда шёл снег.
 И плакал котёнок на льдине
 На реке,
 где сновали баржи туда-сюда...
 И я чувствовала,
 что чувствовал тогда тот котёнок.
 Потому что и в этом городе,
 и в другом, и – всегда
 Я ощущала себя отщепенцем
 с пелёнок.

Сергей НОСОВ

Историк, филолог, литературный критик, эссеист и поэт. Родился в Ленинграде в 1956 году. Окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета. Доктор филологических наук и кандидат исторических наук.

С 1982 по 2013 годы являлся ведущим сотрудником Пушкинского Дома (Института русской литературы) Российской академии наук. Автор многочисленных работ по истории русской литературы и мысли, в том числе книг о русских выдающихся писателях и мыслителях: Аполлоне Григорьеве, Василии Розанове, Владимире Соловьеве, основателе русского славянофильства И.В. Киреевском. Публиковал произведения разных жанров во многих ведущих российских литературных журналах. Стихи переводились на несколько европейских языков.

Живет в Санкт-Петербурге.

...И ЗАХОЧЕШЬ ВЕРНУТЬСЯ НА БЕЛЫХ РАСПРАВЛЕННЫХ КРЫЛЬЯХ

* * *

Сегодня утро было особенно нарядным
проходя по комнатам
оно теснило тени сомнения
сдувало пыль скорби
и охотно разговаривало со всеми на их языке
окна были широко раскрыты
точнее распахнуты
и за ними
на задумчиво качающихся зеленых ветвях
пели большие желтые птицы покоя
узоры памяти переливались на стенах
и поскрипывающий паркет бытия казался
особенно долговечным

лестница сбегала
как скромная белолицая девочка
в густой бормочущий с ветром сад
за которым –
это было отчетливо видно издали –
мускулистый человек
по пояс свешиваясь из окна черной башни
придерживал увесистую стрелку времени
на обнаженном циферблате городских часов.

* * *

Мне знакомо
кукольное небо
и на нем
игрушечное солнце
как цветок
который кто-то добрый
на пиджак свой синий
нацепил
мне приятна
плюшевая радость
пусть она
погладит мою душу
так как глядят
маленькие дети
серого обычного кота
и пускай
придуманные люди
с нежными
бумажными цветами
меня снова
встретят на вокзале
на котором
я и не бывал.

* * *

Хочешь
отдам тебе лес
очень темный
но там хорошо
и приятно и страшно
все сразу
хочешь
отдам тебе поле
уж там
место есть
где тебе разгуляться
а хочешь
оставлю и реку
где ты можешь
и плыть и тонуть
на свой выбор
тебе нравится небо
конечно оно голубое
но в нем нет ничего
и стремительно падать
с него
очень страшно.

* * *

Вся улица счастья
в цветах
а на улице боли
дома без дверей
и без окон
и в квартале любви
удивительно сладко поют
но ведь ты-то живешь
здесь на крыше
единственной башни покоя
а отсюда увы
далеко до земли.

* * *

А истина
как дикий зверь
она кусается
и часто
очень злая
намордник на нее
надеть
не удастся никогда
но кто-то
все же водит
ее на поводке
по жизни
и смеется
когда прохожие
шарахаются прочь.

* * *

Все поклоняются
солнцу
а я – тишине
мне она заменяет
всю жизнь
ей кончается все
что когда-нибудь было
и будет
и на ней
платье вечности
с множеством звезд
я люблю ее очень
за то
что она молчалива
и не верит
в пустые слова.

* * *

Сырое крошево вздрагивающих от ветра чувств
и нежный осколок теплого лета
умирающего на морщинистом лице озера
дряблая кожа которого пропитана серым небом:
это блюдо прилежно подается на ужин памятью
среди пустоши скучной зимы
пальцами холода глядящей душу ночами.

* * *

Дорога узка для тебя
как тропинка
и небо тебе
словно низкий
сырой потолок
в одинокой избушке
и сам ты
как старый
седой великан
в этом мире
так странно похожем
на двор
перед маленьким домом
где живет
одинокий
и брошенный всеми
задумчивый бог
и молча глядит
по ночам из окна
наблюдая
как падают звезды.

* * *

Света меньше
чем тьмы
и ведь есть
скорость света
а скорости тьмы
вовсе нет
или мы ее
просто не знаем
она больше наверно
чем жизнь
и поэтому как бы
ее не бывает
в этом мире
где мы родились
и умрем.

* * *

Ты видишь сон
что бог тебя
погладил по головке
как старый дедушка
усталый и больной
и прошептал:
«малыш не надо плакать
ты ведь знаешь
что есть на небе нашем
корабли
они всегда
из белого тумана
и паруса на них
из тишины
плывут те корабли
в такие дали
в которых счастья
больше чем воды
в безбрежном море
синем и глубоком
и на одном
из них
ты станешь капитаном
и будешь
плыть и плыть
всю свою жизнь».

* * *

Как хорошо
по воздуху летать
но крыльев нет
приятно плавать
в синем океане
но жабры не развились
чем дышать
там под водой
конечно непонятно
приходится ходить
на двух ногах
нет четырех
и это тоже плохо
и голова увы
всего одна
но хорошо
что светлая такая
ей буду думать
что мне славно жить
что под рукой
то счастье
что и нужно

что есть
кого любить
кого забыть
и есть и те
кому ты тоже нужен.

* * *

Становится тише
опять на душе
как на море
и волн уже нет
набежавшей счастливой любви
и ветер
больших перемен
успокоился к ночи
и звезды
на небе горят
как глаза
которые
смотрят на нас
и чему-то смеются
хотя мы все время
вот так и живем.

* * *

По веревочной лестнице
ты поднимаешься в небо
по краям обрезаешь
на нем облака
укрепляешь луну
и бумажные звезды
поздоровавшись с богом
калитку поставишь
у входа в придуманный рай
а потом
поглядишь с высоты
на далекую землю
и увидишь
что все-таки там хорошо
и захочешь вернуться
на белых расправленных крыльях
так как дети когда-то
конечно вернутся домой.

Анна АНДРОНОВА

Родилась в 1972 году в Горьком. Окончила Нижегородский медицинский институт. Работает в больнице врачом-кардиологом в отделении неотложной кардиологии.

С 2001 года пишет повести и рассказы. В 2004 году в нижегородском издательстве «Книги» вышел сборник из двух повестей «Пусть будет». Публиковалась в журналах «Нижний Новгород», «Наш современник», «Волга XXI век», «Юность», нижегородском альманахе «Земляки»). «Автор года» журнала «Огонёк» (2007). В издательстве АСТ вышли книги повестей и рассказов «Побудь здесь ещё немного» и «Симптомы счастья», в нижегородском издательстве «Бегемот» – сборник повестей «Хирургический день».

Живет в Нижнем Новгороде.

ОХОТНИКИ НА ПРИВАЛЕ

– А на той неделе что за баба была? – спрашивает молодой на койке слева, Байкеев. – Ну, врачиха? – И для верности показывает руками силуэт «врачихи» – рисует ладонями крупные сходящиеся и расходящиеся волны.

– Так та в отпуск ушла, – откликаются койка справа, – она до-олго у нас была, тебя-то в пятницу перевели, а мы уж по неделе чалимся.

Новый врач – Анастасия Васильевна, Настя, – кафедральный сотрудник. У неё силуэт не очень убедительный, достаточно обозначить ладонями две параллельные линии на небольшом расстоянии. Говорит складно и ловко, как по книге, но тихо. Улыбается редко и уж больно худа – шупленькая и голенастая, как птенец. На затылке хвост застегнут пластмассовой заколкой. Зовут её в палате за глаза, конечно, Настенькой и уверены, что она только из студенток вышла. Первый раз вообще приняли за санитарку. «Дочка, мне бы утку принести...» Она покраснела, замялась на минуту, потом уже представилась по всей форме: «Я ваш новый доктор». И до сих пор Настя краснеет, стоит только дверь в палату открыта, она вообще легко краснеет и притворяться умеет плохо – все на лице написано. А мужики не унимаются: «Вы на практике? Помощница?» Смеются, шуточки отпускают. Настя их от беспомощности строжит, старается разговаривать коротко, сухо, сыплет научными терминами. Получается плохо.

Зато лечить получается хорошо. На самом деле Насте уже тридцать пять и она далеко не студентка – десять лет стажа. За это время чего

только не увидалась и тут, в кардиологии, и вообще. Родила дочь, с мужем развелась. Прожили вместе пять лет зачем-то, по инерции. Зато Марусе уже три года. Настина мама срочно вышла на пенсию, сидеть с внучкой, чтобы дочь могла защититься на местной кафедре и спокойно работать. Зарабатывать. Надо добывать, пахать и кормить семью. У Насти ставка в отделении, ставка на кафедре, частный центр по субботам. Несмотря на то что выглядит Настя как восьмиклассница, её выносливости может позавидовать любая лошадь. А мужики в десятой палате никак не начнут принимать её всерьез!

Палата по коридору как раз последняя, дальше только санитарская, судномойка и душ, а напротив – служебный туалет. С тех пор как палату приняла, Настя в туалет почти не ходит. Дверь в десятой постоянно открыта, и каждый из четырех внимательно следит, как она копается тугим ключом в скважине. Иногда здороваются или, того хуже, выходят спросить что-нибудь. Мнутя в тесном тут коридорчике, будто дожидаются нарочно, когда откроется дверь и обнажится бежевое кафельное нутро служебной кабинки, рулон мягкой двухслойной бумаги, которую покупают вскладчину, и махровое полотенчишко у раковины, с такой домашней, даже интимной, петелькой для крючка. Словом, зрелище совершенно не для посторонних. Настя вообще не из тех, кто и в знакомой компании открыто заявляет о своих физиологических потребностях, а уж с абсолютно чужими, с пациентами – тем более. Настя уверена, что с ними надо держать дистанцию, никаких шуток и улыбок, никакой фамильярности, никаких вопросов: «А вы замужем, Анастасия Васильевна?» Это совершенно лишнее.

Две её женские палаты у самого входа в отделение. И с женщинами вообще Насте спокойнее и проще. Они её зовут «дочкой», подкармливают частенько то яблочком, то апельсином, то шоколадкой. Пихают в карманы. Неудобно, конечно, но не драться же с ними? А с мужиками у Насти и здесь, и в жизни вечно одно расстройство. Этот «заезд» особенно. Первый принятый Настей из реанимации в эту палату сразу умер. Ночью в её же дежурство захрипел, потерял сознание, неуспешная реанимация. Разрыв миокарда. Дальше перевели – тоже с обширным инфарктом – Павленко, сгрузили к окошку на левую койку. Пеструхин и Великанов достались от предыдущего врача. В пятницу во второй половине дня, перед самыми выходными, положили Байкеева сорока трех лет, с тяжелым сосудистым поражением, после клинической смерти, из реанимации перевели. Полный комплект.

Дед Павленко у окна, или, как он говорит, «Павленка» – носит очки на широкой белой резинке. Она завязана грязными узелками вокруг расшатанных пластмассовых дужек. Снятые и брошенные на кровать, очки напоминают большое расплющенное насекомое с разъехавшимися лапами. Такая же, как на очках, белая резинка выглядывает спереди из его растянутых и выцветших черных трико. Она настальхо старая, что составляющие её каркас тонкие эластичные нити размахрились, и края пошли оборкой. Взгляд у Павленки дикий, вытарщенный. Редкие волосы на голове всегда в беспорядке. Казенного вида тапки на два размера велики. Майка, наоборот, маловата. Дед постоянно поет, читает стихи, пишет что-то на больших белых листах. Говорит много и бурно без существенных, продолжая понятную только ему мысль. Когда у него болит сердце – обижается на всех и ложится, отвернувшись к стене. В хорошем настроении много звонит по телефону и так же громко и бессвязно объясняет что-то разным собеседникам. Телефон у него огромный,

допотопный, размерами и формой напоминающий мыльницу, обернут мутным полиэтиленом и заклеен скотчем. Павленка – член какой-то то ли секты, то ли общины, о чем со слезами на глазах Насте сообщила его дочь. Она приходит всегда тайно, с дедом они не разговаривают, в ссоре. Дочь подкладывает в холодильник в коридоре свежие продукты. Написывает пакет, чтобы не перепутал. Забирает оттуда же пустые судки. Находит Настю и плачет. Дочь в таких же, как у папы очках, только с целыми дужками и тоже вытаращенная. В розовой кофточке с рюшами, с крашеными кудрями на макушке, примятыми жесткой норковой шляпой. Слезы её, чувствовала Настя, все-таки связаны с тяжелой болезнью папы, а не с тем, что все свое имущество – дом и квартиру покойной жены – он, видимо, сдал в секту. В деловые разговоры он не вступает, злится. «Захомутали! – всхлипывает дочь. – Целыми днями поет с ними, дом забросил, да и, видно, на них переписал уже... Как мама умерла... А скажите, доктор, надежда-то есть у нас? Очень плохо?» С моленья Павленку и привезли, он там сознание потерял в духоте.

– В первом автопарке я бы ни за какие коврижки работать не стал, блин, – горячится с утра Великанов. – У нас и кормежка, и обслуживание. Если, к примеру, ты на маршруте поломался – все. Сиди, кури, жди, когда приедут. Запчасти обеспечат. А в первом, слышь, самим, блин, приходится. И работают там кто? Слышь – чурки одни...

– Да ладно, – задорит его Байкеев, – у тебя социальный автобус, пенсионеры, и ездите вы медленно, чему там ломаться-то?

– А куда торопиться, блин, куда гнать? Машины все, конечно, бэушные, но добротные, немецкие.

– А ты на каком работаешь? – подключается Павленка.

– На сто шестнадцатом, от Дола езжу до машзавода. Разворачиваюсь и обратно...

– О! – радуется Байкеев. – Так мы там, у завода, на лед заходим! Там тропа всегда есть. И ехать быстро с этой стороны, от центра, сразу через мост и налево. Там ещё парковаться удобно у автосервиса, где конечная маршруток.

– Эти, маршрутисты, блин! Накануне как раз выруливаю первый круг, и тут этот, блин, особо резвый...

– Туда бы сейчас, на лед, на реку, – Байкеев мечтательно поворачивается к окну. С шестого этажа видны только утыканые антеннами белые крыши, кусочек городского парка с сонными липами, зеленый жестяной скат и шпиль угловой башни кремля. За ними вниз под гору, начинается набережная и Река.

– Куда?

– Мы, бывало, выйдем, затемно, конечно...

Раньше уезжали за сто, за двести километров, на водохранилище или на залив большой компанией. Покойный тесть был сумасшедший рыбак и заразил, ни одного выходного не пропускали. Сначала на «Жигулях» его, потом сам «Ниву» купил. «Хонду». Теперь на «Тойоте». Только далеко не получается. Времени до обеда – только до места добрел, лунок насверлил – а ехать уже надо. Жена Людмила у Байкеева сильно пила и жила отдельно. На нем осталась дочь Анюта десяти и сын Витя – пяти лет. В молодости Люда была веселая и яркая. Чернобровая, высокая, фигуристая. Одевалась нарядно, сама шила. Никакой косметики ей не надо было – брови, ресницы, волос целая копна – все своё, натуральное. Любила гостей, застолья, песни. Гости часто принимали – раз в неделю звали кого-то. Детей долго не было, и Людмила просто вела дом, работа-

ла, угощала и угощалась сама. Совсем круто пить стала уже после Вити. Появились подруги странные, приходили с утра с пивом или слегка навеселе. В субботу с неизменной бутылкой шампанского. Сам Байкеев в будние дни с работы приходил поздно, а в субботу всегда уезжал на рыбалку. Тот год, когда жена окончательно спилась, фирма Байкеева получила большой контракт, просто из сил выбивались – оснащали кондиционерами огромный торговый центр, заново построенный. Одни нервы. Бывало, что и за полночь он с объекта возвращался, валился сразу в постель. Каждый день Людмила была пьяна и в компании. «У нас гости!» При его появлении эти «гости» на неверных ногах расползались по домам. Посуда валялась в раковине немытая, грязное белье кучей на полу у стиральной машины. Аня с Витей ложились сами, еду уносили в комнату. Орал телевизор. Людмила вскоре уволилась, чтоб не уволили за прогулы. Лечиться не хотела. Раз пять он ей вызывал трезвилку по объявлению. Сколько раз сам выхаживал – не сосчитать.

У Байкеева с детства в голове был простой, но верный план устройства. Жена – красавица. Дети. Сына – папина надежда, и дочь – чтоб на жену похожа. Чтобы дом – полная чаша. Холодильник там, телевизор. Шашлыки с друзьями на природе. Баня. Летом – на море всей семьей. Когда красивая статная Людмила превратилась в пьяную опухшую бабу, неряшливую и сутулую, кухня заросла грязью, а нормальные друзья в дом ходить перестали, Байкеев сначала растерялся и обиделся. Все будто вокруг разрушилось, расшаталось. Давняя мечта обернулась обратной своей стороной, будто в насмешку. За что? Ребятишкам за что? Обижался Байкеев недолго, а в очередной запой, выпроваживая после трудного рабочего дня жениных собутыльников, он впал в ярость и выгнал всех, вместе с Людмилой. Она с удовольствием поселилась в бывшей родительской однокомнатной квартире на Заречке. Звонила редко, только если он забывал перечислить деньги на карточку. Тут она выныривала из ниоткуда, могла и приехать. Дети её побаивались, Байкеев им был и отец, и мать, и нянька. На рыбалку его отпускала теща, сидела она с детьми и сейчас, но была недовольна – пришлось взять административный отпуск.

– Сядем в машину, по первой дернем. Сперва, конечно, чай, бутерброды там, хлеб. У кого чего. Я кофе беру, у меня термос большой двухлитровый.

За руль обычно сажали не берущего в рот ни грамма Толю Чижова, главного кореша, ещё с политеха, и многодетного отца трех дочерей. Он не пил категорически и, самое главное, не завидовал. Редко, когда он не мог вырваться, тогда Байкеев вел сам, а «отогревался» уже дома, после руля.

Утро вторника не задалось. Маруся забыла куклу и долго редела в садике, не хотела раздеваться, не отпускала. Настя опоздала на утреннюю конференцию, и начмед стыдила её при всех, как студентку. Половина выписной справки в компьютере пропала, потому что Настя забыла вовремя сохранить. В довершение всех бед пришел сын умершего на той неделе пациента. Полный бледный мужчина лет пятидесяти, с растрепанными, давно не стриженными сивыми волосами, блеклыми глазами навывкате. Он мялся, нервничал, три раза назвал ее Анастасией Семенной вместо Васильевны, хотя Настя его три раза спокойно и доброжелательно поправила. Он тер одной рукой другую, теребил и разглаживал уже изрядно помятый на животе синтетический свитер, переступал ногами.

– Я бы хотел, э-э-э... сходить в палату, где ну... где умер отец.

– Не знаю, удобно ли, там все-таки другие больные лежат, – сомневалась Настя, – и на той кровати тоже. Все с инфарктами, тяжелые. Приятно ли им будет? Они же лечатся.

Умирали в отделении не так чтобы ежедневно, но часто. И правило негласное существовало – вновь прибывшим не сообщать, на какую койку они легли. Зачем? Всякие бывали случаи на Настиной памяти, когда новенькие вообще отказывались лежать, домой убежали, когда им хуже становилось. Некоторые скандалили, требовали в другую палату перевести. Эти дополнительные трудности никому не были нужны.

– Понимаете, – сын, на минуту остановившись, принялся снова наматывать свитер на пальцы рук, выкручивая их то вправо, то влево, – мы десять лет не виделись. Я в другом городе давно живу, мы переехали. Я, э-э-э, работаю там. И мы, и мы... В общем, мы встретились, а у него инфаркт. Его сюда. В реанимацию не пускают, а тут и... то есть к вам наверх перевезли, а ночью – звонок, – он отдышался и приготовился рассказывать дальше.

Дальше Настя знала. Больной с самого начала был так тяжел, что и те трое суток, что он прожил в реанимации, были чудом.

– Пойдемте со мной, – сказала она, – ненадолго. Койка слева перед дверью. Только давайте не будем волновать больных. Я прошу...

В палате смеялись, громко, дружно, на все голоса. Крякал и присвистывал Павленка, ему вторил близко у двери Пеструхин, рядом с ним глубоко бухал, закашлявшись, Великанов – три дня как бросил курить. Басил Байкеев. Сын покойного остановился как вкопанный, посмотрел на Настю с удивлением – куда привела? Настя же сама была не рада, что уступила. Вечная эта её манера – не перечить. Она прислушалась.

– Это ладно, а вот у нас как-то...

– Нет, подожди, это ты заливаешь – пятнадцать килограмм! Ты её что, на канате тащил?

– Сейчас скажет, что это у неё только хвост пятнадцать!

– И глаза, глаза... Во-от такие! – снова заржали.

Настя толкнула дверь, и они вошли. Мужики сидели вчетвером на кроватях у окна. Они мгновенно прыгнули на свои места, замолчали и дружно устали на посетителей. «Как дети», – подумала Настя. Также ребята в группе затихали и поворачивали головы, стоило только открыть дверь кому-нибудь из родителей. С высоты взрослого роста видны только удивленные глаза – голубые, серые, карие. Сын покойного впился взглядом в левую койку, скручивая свитер в жгут и пытаясь запахнуть его под брючный ремень. Закашлялся Великанов. Вскочил и отошел к тумбочке Байкеев. Догадался. Настя замялась у двери, чувствуя, как загораются щеки, и не зная, что сказать. Тут только что было весело, и весело нехотать, совсем не так, как представлялось, наверное, сыну покойного. И не так, как хотелось Насте – соответственно тяжести заболевания и остроте момента – скорбного и напряженного.

Постояли. Настя молча рассматривала стену над койкой.

– Ну всё. Пойдемте. Пойдемте же! – заторопила она сына. Он закивал послушно, хотел было спросить что-то, но передумал.

– Почему они смеются, над чем? – сын еле поспевал за бегущей по коридору Настей.

– Не знаю. Просто говорили о чем-то своем. Ну, не над нами... не над вами же, – поправила Настя, – они смеются!

– Нам в справке написали «инфаркт миокарда», – сын не отставал и явно планировал ещё с ней разговаривать, оглядывался, где бы лучше встать, поэтому теснил Настю к стене у сестринского поста, успевая при этом что-то поправлять и оглаживать в своем костюме. Хотя непохоже было, что он чем-то недоволен или не согласен с диагнозом. Может быть, ему было просто больше не с кем поговорить об умершем внезапно отце?

– Да, мы тоже вашему папе... то есть мы ему то же поставили. У него и был инфаркт, он с ним в реанимацию поступил, с болью, с плохой электрокардиограммой. И сначала он там, на первом этаже, лечился. Получил экстренную помощь. В полном объеме, – на всякий случай Настя постаралась быть официальной, – тромбозис ему провели, то есть растворили тромб. Болевой синдром купировали. Он был стабилен.

– А у этих? – не слушал сын. – У них тоже, вы сказали, инфаркт?

– Ну-у да. И у них, – вынуждена была согласиться Настя.

– Почему же тогда?

Он просто не хотел уходить. И не мог понять, почему сейчас в палате, где умер его отец – «обширный передний трансмуральный инфаркт миокарда, истинный разрыв сердца», правильный Настин диагноз, – почему им так весело?

– Они что, э-э-э, не могут, ну... так же, как отец?

Конечно, Настя могла бы сейчас объяснить, что у Павленки такой же в точности инфаркт, обширный, опасный. Великанову, несмотря на сделанную в первые сутки операцию, придется уходить на инвалидность – в автобус его уже не посадят. А учитывая, в каком состоянии его почки, плюс тяжелый бронхит курильщика, словом, ничего хорошего. Пеструхин вроде бы лучше, но он от хирургического вмешательства отказался. Дальше – непредсказуемое будущее. А Байкеев вообще ожидает перевода в кардиохирургический центр. Ему надо шунты пришивать, так все плохо. Но нельзя же прийти на обход в палату и с порога заявить – не смейтесь, мол, больше, вы можете умереть в любой момент! Настя вздохнула.

– Если у вас еще есть конкретные вопросы, мы можем пройти в кабинет к заведующему, затребовать историю.

Нет, история ему была не нужна.

– Я просто тут ещё постою немного и пойду. Спасибо вам, Алевтина Васильевна.

– Анастасия...

– Да пойми ты, дед, дело же не в наживке, а в самой мормышке! – горячится Байкеев. Наживка вообще не нужна. А фокус в том, чтобы так ею играть, ну, дергать, чтобы рыба захотела её заглотать. Понял?

– Дурят честного судака, как лоха последнего, – опять рассмеялся Великанов.

– Как же не в наживке, на что ж она пойдет, рыба-то? – удивляется Павленка.

– Так дергать её надо, Михалыч, понимаешь? – Бфйкеев для верности ещё показал рукой как. Это движение было ему знакомо, привычно и явно доставило удовольствие. – И у каждого своя метода, свой секрет. Лунок-то навертеть любой дурак может – ходи да крути, а самый азарт потом начинается. И кто как привык. Я, например, с коленок ловлю, у меня пенка под колени специальная приспособлена. Толик с ящика – сидя. А Мишка ещё у нас, тоже приятель мой, он – на корточках возится.

Ноги только устают. Сначала буром крутишь – руки, а потом так и этак корячишься. Не знаешь, как сесть удобнее. Штаны-то толстенные.

– И как не мерзнете вы? – подает голос Пеструхин. Ему сегодня плоховато было с самого утра. Два раза под язык прыскал, медсестра приходила мерить давление.

– Ну, тут у нас полный порядок. Экипировка – будьте спокойны, какой хочешь мороз выдержит. Это тебе не прошлый век, когда в тулупах сидели. У тестя моего такой был, офицерский. Все плечи к концу рыбалки отмотает, такая тяга.

– Да, – подтверждает Великанов, – сейчас технологии, блин, синтетика. Только летом-то лучше. Мы с дочками, пока они маленькие были, на лодку сядем, бывало, и на простую удочку. Я сам делал. Все, как их, грузила, поплавки, как положено. Поплавки им нравилось чтоб красные, поярче. Червячка, и в воду. Утро, тишина, природа!..

– Да где ж природа – комары одни!

– Нет, подожди, Валер, – не унимается Павленка, – как же без наживки? Это ты мудришь чего-то. Вот у нас в деревне, да. На червя. Самых жирных всегда у навоза копали. И на горох ещё, кашу такую варили густую. На плитке. Это на донку когда. Хлебцем маленько прикормишь её и знай таскай. Колокольчик звенит, а ты таскай! Места только надо знать.

– Нет, Михалыч, не нужен горох никакой!..

Поначалу они были в ссоре. Пока не привезли из реанимации мрачного Байкеева, Павленка в палате разливался соловьем. Читал стихи, вооружившись своими раритетными очками, пел псалмы и хаял правительство, поминая ежеминутно всех предыдущих правителей от Сталина до Ельцина. При них все было у Павленки хорошо – порядок был. Сильная армия. Дешевые продукты. Главное, жена была жива и они бесплатно ездили в санаторий, в Евпаторию. При Горбачеве Павленке особенно радостна была борьба с алкоголиками, за которых всегда горячо вступался завязавший много лет назад Великанов. Пеструхин в дискуссиях не участвовал, спасался наушниками – у него было маленькое радио. Деваться им друг от друга было некуда, гулять по коридору пока запрещено, палата маленькая. Павленка и по палате с трудом передвигается на костылях, отвык, пока в реанимации находился на строгом постельном режиме. Коленные суставы у него сильно деформированы артрозом, большие, бугристые. Из них косо внутрь торчат хилые бледные голени. Он с утра ковылял к раковине умываться и бриться, а потом уже устраивался крепко на койке, раскладывая вокруг свои бумаги, телефон, буклеты с песнями и газеты. Байкеев же в первый день обозначил: «Дед, о политике ни слова, мне волноваться нельзя, понял?» Павленка обиделся и притих. Пару дней дулся и ворчал, но потом помирились. Байкеев деда в самое сердце поразил своими нарядами – белым спортивным костюмом из атласной пижонской ткани и альми шортами. Олимпийка туговата, молния с трудом сходится на плотном животе, зато в расстегнутом вороте хорошо виден здоровенный золотой крест на толстой цепи. Видно, за эту толщину и тяжесть золота Павленка Валеру Байкеева сильно зауважал. Только все удивлялся, как такой молодой, а уже тут, с ними в одной палате. И при таких средствах на общих основаниях больничный супец хлебает?

На ночь Павленка снимает трико и спит, как есть в «семейках» и майке. Пеструхин педантично переодевается в полосатую пижаму. Великанов – просто в трусах и укрывается только простыней – ему жарко.

А Байкеев надевает для сна темно-синюю футболку со сложной не по-нашему написанной фразой на спине. По утрам, когда Валера в свою очередь бреется у раковины, дед Павленка вооружается очками, встает на костылях и пытается эту надпись постичь. Спрашивать перевода пока не решается.

Не дай бог заговорить с Павленкой о коленях. Это вызывает реакцию бурную и непредсказуемую, а главное, его не остановишь потом. Его мечта – операция на суставах, и год назад он наконец-то, со слов дочери, дождался квоты и очереди, сдал анализы и лег в ортопедический центр на протезирование. Сначала должны были поменять один сустав, а в течение года – второй. Через неделю его выписали – подлечить сердце. То ли действительно были плохие кардиограммы, Павленка рассказывал, что каждый день снимали, то ли не было подходящих протезов. Но остался он без операции.

– Что, больно? – неосторожно спросила Настя, когда Павленка при осмотре задел непослушной ногой тумбочку и поморщился.

– Позвонят, они сказали, вызовут. Как же! Ищи ветра в поле! А суставы мои небось загнали уже за доллары. Дорогие, это, как их, мне сосед по палате говорил – импортные!

– Да что вы, куда загнали, Павленко! Это ж квота!

– Знаем мы квоты ихние, все распродали, разворовали! Взятки только берут, врачи, называется! Снимали, снимали пленки эти, тьфу, кардиограммы! Бабенка какая-то приходила, глядела, мордой трясла, руками разводила. Плохие, что ли?

– Это терапевт, наверное, – успела вставить Настя.

– Одна шайка! Ритмия, говорят, и все. Подлечить, ага. А глаза неприятные такие, и все щурит. И хирург этот, башка, как у лошади. Один раз зашел только и пальцем ткнул. Даже не посмотрел по-хорошему. Снимки велел переделывать, облучили всего, как кролика подопытного. То им легкие надо просветить, то ноги. А сам уж, продал небось налево, ноги-то мои! Тьфу!

– А кардиограммы у вас не сохранились, аритмия какая там была, не помните? Мерцательная? – озабоченно спросила Настя.

– Да я сжег все дома.

– .?!

– Ага, в печке. Ну его. И снимки выбросил, а то они воняют, когда горят. Всю карточку и бумаги – на хрен в огонь! Мы вам позволим, – он изобразил, видимо, хирурга с «лошадиной головой», – как же! Я им специально телефон дал со старой квартиры, от жены осталась в народной стройке. Там не живет никто и не плотим. Что? Съели? Пусть поищут теперь Вадим Михалыча, побегают за ним! Что-то не звонят, поганцы, загнали суставы мои и жируют!

– Господи, зачем вы телефон-то неработающий дали! Как они вам дозвонятся?

– А я о чем? Год уж прошел, а никто не чешется...

В любом случае на операцию сейчас Павленке путь заказан. А вероятнее всего, вообще заказан. Если он этот инфаркт переживет, непонятно, как дальше ему.

– Давайте чуть-чуть по палате до окна ходить, хорошо? А то вообще ничего у вас сгибаться не будет. И упражнения, зарядка. Только лежа и сидя – согнули чуть-чуть и разогнули.

– Вот и этот у них тоже – сгибай, говорит. А шарниры мои новые налево...

Рентген назначен и кашляющему Великанову, Пеструхину – капельницу. Кардиограмма плохая, но от операции он, как и раньше, отказывается. Заведующий с утра пораньше позвонил жене, вызвал на беседу. Она обещала подъехать. Настя движется сегодня против часовой стрелки. Следующий на обходе – Байкеев.

– Вставайте и раздевайтесь, мне нужно вас послушать как следует.

Настя красная, как помидор, стоит и покорно ждет, пока огромный Байкеев расстегнет и стянет свою узкую олимпийку, выпутается из рукавов. Бедный, бедный. Такой большой, сильный мужчина и такой несчастный, растерянный, как ребенок. Нет, строго приказывает себе Настя, только не жалеть, не думать – кто он ей? Очередной больной. Точка. Настина макушка находится на уровне байкеевского чудовищного креста. Сердце её бухает, кажется, прямо в багровые щеки. Бух, бух! А его под стетоскопом вторит – бух! Бух-бух! Тонкая мембрана шуршит по густо заросшей широченной груди, под левым соском, как раз на уровне неритмично скачущей верхушки сердца, – старая синяя татуировка: «А (II) Rh (+)». Группа крови распространенная, написанное на груди Настя уже подтвердила в лаборатории. Мускулатура впечатляющая. Ключицы толщиной с её плечевую кость. Аритмия.

– Монитор надо ставить, – вслух говорит Настя, – кардиограмму за сутки смотреть. Поворачивайтесь.

Байкеев замер, почти не дышит.

– Доктор, а может, вы посмотрите эту, мою, как её – коронографию...

– Коронаро.

– Вот. Её! Может, не надо меня резать, а? Может, так? Подлечить ещё. Капельницы, хоть по три в день, а?

Прикосновение Настиных крошечных холодных пальцев внушает ему ужас. Он потеет от страха и неловкости. Большой, несуразный и неповоротливый, затянутый в белую скользкую материю. Он задерживает дыхание, втягивает, насколько может, круглый, непонятно откуда взявшийся живот. Ждет.

Станный он, этот Байкеев. Сначала выписаться хотел, просился домой. У меня, говорит, дети одни. Оказалось, что он – одинокий отец. Куда жена делась, Настя постеснялась спросить. В тумбочке дешевые сигареты, вчера клялся, что с реанимации ни одной не выкурил. Звонит он только приятелям или по работе. Ругает каких-то техников, прикрывая рукой трубку, прямо на обходе. Потом, правда, всегда извиняется. На слово «родственники» пожимает плечами. Лицо у него мясистое, некрасивое. Нос картошкой, большие щеки, квадратный заросший подбородок, спутанные темно-русые волосы. Крест этот. Глаза смешно и очень близко посажены, зеленые, тоскливые собачьи глаза.

– А, доктор? Ведь сейчас не болит уже ничего?

У Насти глаза серые в коричневую разномастную крапинку, как кукушечье яйцо. Уголок рта чуть испачкан красным – на завтрак ела творог с малиновым вареньем. Ростом она чуть выше дочки Анюты, а в бедрах даже уже. Если бы Байкеев решился, он бы поднял её сейчас под мышку, оторвал от пола, чтобы её пестрые глаза оказались на уровне его. Вблизи она постарше, чем кажется. Качает головой.

– Нет, Байкеев. У вас выхода другого нет. Мы же уже сто раз разговаривали.

Ну да, разговаривали. И заведующий отделением так же говорил. Сказал, что он ещё не самый молодой на такую операцию. «Анастасия Васильевна – опытный врач. Вы не думайте, вы ей верьте». Он верит,

поворачивается, обливаясь потом, усердно дышит, как она велит. Вдох, выдох. По бокам просто течет, неудобно, стыдно. В палате душно, жарят батареи. Мнительный Пеструхин не позволяет открывать окно, только щелку на микропроветривание. Где ж тут не потеть.

– Все, одевайтесь. Перевод ваш мы на понедельник планируем. Место уже дали в кардиоцентре.

К ужасу своему, он видит, как Настя украдкой вытирает кругляш стетоскопа о полу халата. Кошмар! Выхода нет.

– А вот скажи, Валер, – не отстает Павленка, как только за Настей закрылась дверь, – и хищную рыбу на такую удочку без наживки? Или её на спиннинг?

Байкеев не отвечает, он улегся на койку, уставился в поток. Руки у него заложены за голову, и раскинутые локти заходят за края матраса с обеих сторон.

– У нас в деревне раньше таких щук ловили, ай-ай! Говорят, прям с лодку размером, с плоскодонку. У нас там речушка Пестырь, вроде узенькая, но глыбкая, с омутами. Там и ловили таких огромных. А потом, как подпрудили речку-то, заболотили все. И не стало их. Зато утки поселились.

– Утка – дело хорошее, – вступает Пеструхин. Он аккуратно расправил простыню, взбил подушку, встряхнул одеяло. Приготовил очки и книгу – сейчас ему принесут капать. – На утку с собакой надо. У меня знаете, моя какая, Вестка? Вымуштрованная, как солдат. В любую воду за уткой кинется. И несет аккуратно, не прикусывает. Такую помощницу поискать, сколько раз продать просили, свои же, охотники. Я – ни за что! Столько лет учил, столько тренировал. Без собаки на болоте куда? Ну, пальнешь, а дальше? Тут все важно, мелочей нет, тут наука целая. На лету утку добыть – это вам не рыбок из воды дергать. Будешь в тушку целиться, когда она летит, всю дробь зря изведешь. Пока заряд летит, утка тоже на месте не стоит, она вперед чешет что есть сил. Поэтому рассчитать надо – не в тушку целиться, а как будто в воздух впереди неё. Тогда только попадешь. Это, брат, только с опытом приходит. А потом уже собаку запускаешь. Я вот, к примеру...

– Ну так чё, Валер? Щуку-то такую крупную тоже без наживки? – пребывает его Павленка.

«Большая щука невкусная, – грустно думает Байкеев, рассматривая сероватый в трещинах, давно не беленный потолок, – мясо волокнистое, тинной воняет. И сама, видать, помирать собралась, раз такая громадная зверюга на блесну купилась».

– А у нас в деревне в войну вообще любого зверя били, любую птицу. Лишь бы съесть... – не дождавшись ответа, со вздохом продолжает Павленка.

Ночью Байкеев сопит и возится на узкой кровати. Сна нет. Страшно хочется курить. Великанов на расстоянии руки храпит, как черт последний. Всхрюкивает и рычит.

– Андрейч, Андрейч! Ну повернись ты на бок, что ли, задолбал уже!

Великанов вопросительно хрюкает и поворачивается. В груди у него раздуваются и шуршат невидимые меха. На боку он сразу откашливается мокро и смачно, приподнявшись на руке, сплевывает в банку, приготовленную под кроватью. Снова укладывается. На некоторое время все стихают. Павленка перестает бормотать и чесаться, Пеструхин

посвистывать носом. На минутку Валере кажется, что Пеструхин совсем затих. Не дышит? Лежит на спине в своей глупой полосатой пижаме. Ровненько поперек груди закрытый одеялом. Руки вдоль туловища. Обширная кудрявая борода доходит до кармашка пижамной куртки. Кажется, она не двигается. Байкееву он напоминает комический персонаж из киножурналов советской юности – желтая борода, круглая шевелюра, речь такая правильная, и сам весь он как председатель ЖЭКа или профкома. Основательный, но бесполезный – зубы в стакане, туалетная бумага на полочке, мыло в мыльнице.

– Эй, эй! Как там тебя?

Подойти страшно, да и не хочется других будить. Нет, дышит, дышит Пеструхин. И даже как будто рукой шевельнул. Свет уличных фонарей сюда почти не доходит, высоко. Темно, тихо. Все спят. Байкеев тоже засыпает, наконец, и снится ему темная тропа в снегу, Мишкины лохматые серые валенки с калошами и камуфляжные толстые штаны, плотно натянутые на голенища. «Хрум-хрум», – утаптывали тропу валенки. Мишка шел первый, тропка была старая, нехоженная, ноги у него изредка проваливались глубоко в снег, и Байкеев старался ставить свои «хаски» сорок шестого размера не в след, а рядом, чтобы сзади идущему Толику было полегче. Толик из них троих всегда был самый хилый и тощий. Быстро уставал. Пока добирались до своего места по льду, пару раз садился отдохнуть, хотя никогда в жизни не курил и не пил вина. В тот день Байкеев чувствовал, что ему, как Толику, надо бы присесть и размотать душащий колючий шарф. Расстегнуть куртку.

Накануне он притащился домой часов в десять, устал как последний пес. Теща по телефону уже шипела и плевалась ядом – в доме еды ни грамма, уроки не учены, унитаза не чищен. Старая песня. Байкеев её давно научился пропускать мимо, но за продуктами в ночной супермаркет заехать пришлось. Плюхнулся на кухне без сил, спасибо, Анютка сразу кинулась разбирать пакеты. Где-то, то ли в спине, между лопатками, то ли в груди по самому центру, как будто положили уголек. Байкеев поел гретых макарон с сосиской, выпил чаю. Теща хоть и бранилась, но ужин свято соблюдала. Внука уложила сытым, внучке проверила русский. Уже у выхода посетовала, что три раза переписывали упражнение. Не было сил встать и запереть за ней дверь, заглянуть, как там Витька – спит уже. Анютка сама вымыла тарелку, сама принесла ему пепельницу, расставила в коридоре обувь, снесенную в кучу волной бабушкиного недовольства. Хорошая жена кому-то будет. Старательная, заботливая. Не похожа она на Людмилу, на него похожа – крепкая, основательная. Серьезная девочка. Анюта присела рядом на краешек стула, прижалась.

«Доченька моя, умница...» – он погладил теплую спину, гладкую аккуратную головку, туго заплетенную косу. С удивлением отметил, что рука дрожит. После сигареты, впервые за день выкуренной в тепле и покое, а не на бегу, и второй чашки крепкого чая стало полегче. Отпустило, и он быстро заснул, радуясь, что очередная гнусная и суматошная неделя закончилась. Завтра была суббота и рыбалка.

В шесть утра в крошечной темноте он старательно топал за Мишкой по занесенной за ночь тропе. Они взяли слишком далеко вправо, к самому мосту. Слишком долго шли, слишком долго разгребали толстый снег и сверлили при бледном свете голубоватой иллюминации монастыря на той стороне Реки. Рыбы не было. Ломило левую руку. Часам к семи посерело, из темноты вдалеке вырос мост. Верхняя его кромка, как гир-

ляндой на крыше, была обозначена вереницей движущихся фар. Начиная заречная утренняя пробка. Полвосьмого, ещё в сумерках, вдруг ртутно заблестела стеклянная стена завода на высоком левом берегу. Чуть спустя из-за одинаковых оранжево-белых кубиков микрорайона, глубоко вошедших в Реку на излуине, показалось, наконец, холодное розовое солнце. Отметилось на всех окнах в округе, часам к десяти пожелтело и стало даже пригревать над головой, а к одиннадцати, когда все они втроем уже устали от его нестерпимого снежного блеска, закрылось тучами. Стало ветрено, ещё похолодало. Байкеев к этому времени совершенно уже выбился из сил. Хотелось откинуться назад, улечься прямо на снег. Закрыть глаза. Его как-то знобило, лоб под шапкой был холодный и влажный. Остывший в термосе кофе не лез в горло, предложенная Мишкой традиционная фляжка (он хуже семилетнего коньяка или серьезной «Белой лошади» никогда не наливал) почему-то вызывала тошноту. Курить было больно, дым жег и царапал внутри, кружилась голова. «Грипп, наверное, начинается, ребят бы дома не заразить», – думал Байкеев. Проклятая рыба делась куда-то. Мелочь Толик побросал себе, даже показывать не стал. Коту. Наконец, двинулись обратно. И тут уже Байкеев стал просто помирать. Ноги не шли, ящик казался неподъемной тягой, ремень давил на плечо, и никак было не решить, как его легче повесить. Уголек за грудиной разгорелся и припекал по-настоящему, не давал дышать. «Точно, грипп». На стоянке машин Байкеев неожиданно потерял сознание, грохнувшись лицом в сугроб. Мишка с Толиком, которые ушли далеко вперед и уже складывали шмотки в багажник, сначала даже не увидели, что случилось. Не поняли. Он и сам не понял, очнувшись, подумал, что ужасно глупо так вот споткнуться, и опять отключился. Прилетевшая в считанные минуты «Скорая» привезла его по месту происшествия в дежурную терапию. Там его прямо с колес закатили в реанимацию и в диагностическую операционную, а через несколько часов он уже знал, что у него инфаркт, что сделать сейчас ничего уже нельзя и что в связи с изменениями во всех сосудах сердца надо делать большую серьезную операцию. Позже и не здесь.

Он не поверил, конечно. В первый же день перевода в отделение, вот в этой палате, решил, что жизнь его не кончена, надо бороться. Надо собраться и разозлиться опять как следует, чтобы вернуть покосившийся каркас жизни в прежнее устойчивое положение. «Мужик ты или нет?» – подтвердил по телефону Мишка. Байкеев побрился, надел свежую майку, присланную тещей, и отправился в подвал курить. До лифта он вроде бы дотопал без потерь. Спустился. Курильщики толпились внизу у открытой морозной двери, весело выдыхали дым, галдели. Пустили его поближе к воздуху, «подышать». Байкеев прикурил, пару раз затанулся и опять потерял сознание. Очнулся в коридоре своего этажа на каталке. Рядом шагала маленькая тощенькая барышня в белом халате. Увидев, что он открыл глаза, барышня взялась цыплячьей лапкой за его запястье, густо покраснела и, заикаясь, представилась: «Я в-ваш лечащий врач, Анастасия Васильевна. Курить вам сейчас нельзя...»

Все утро следующего дня Пеструхин пробыл в героях. С пяти утра ему вызывали дежурного врача – снова болело сердце. Кололи и капали. Потом пришла Настя. Потом заведующий один. Потом опять вместе с Настей, и ещё раз с женой Пеструхина – низенькой плотной бабушкой с рябым улыбающимся личиком-репкой. Пеструхины выступали единым фронтом – против операции. Заведующий сердился и пугал. Настя

чуть не плакала от бессилия. «Умрет, умрет ведь!» И слово это, сказанное жене в кабинете, не помогло. В обычный обход Настя пошла перед самым обедом. Пеструхина ещё была в палате, расставляла на тумбочке тарелки с домашней едой, пирожки и хлеб, завернутый в салфетку. Как ни в чем не бывало. Винегрет, куриные котлетки. Настя сердито и молча слушала больных, мерила давление, что-то себе записывала в блокнотик. У Пеструхина сто двадцать на семьдесят, нормальное.

– Как у космонавта, – нервно смеется Пеструхин.

– Нет, – сухо, без улыбки замечает Настя, – *вам* в космос нельзя.

– Страшно в космосе-то лететь, а? В ракете-то там болтаться. А ну как чего? – подхватывает Павленка. Напряженная обстановка его угнетает.

Настя вспомнила, как давно когда-то, в институте, ходила на лекцию-встречу с космонавтом. Фамилия его из памяти стерлась, но кое-какие моменты остались. Он довольно живо и интересно рассказывал о полетах, показывал красивые слайды и фотографии. Потом его спросили именно об этом – не страшно ли ему было? «Ну, вы знаете, мы ведь всегда были заняты делом. Время заполнено, некогда рассуждать». Потом он немного замаялся и продолжил: «Если не думать, что тебя от безвоздушной бескрайней черноты отделяет только тоненькая обшивка корабля...»

– Страшно, не страшно, а работу делать надо, – в тему подтвердила Пеструхина, – я на кран пришла работать молоденькой девчонкой, мне девятнадцать лет было. В ученицы. Моя крановщица на верхотуре песни пела, бутерброды ела и вообще себя как на земле вела. А я только вскарабкаюсь, у неё за спиной за спинку сиденья ухвачусь – мамочки родные! Снимите меня отсюда! Мой, хозяин (Пеструхин неодобрительно качает головой – это он), я уж замужем была, говорит, мол, уходи, Татьяна, что, работы другой нет? А мне стыдно, я комсомолка, а на крану работать не могу? Это ж и медведя, вон, мы ходили, в цирке выучили под гармонь поворачиваться, а я не смогу?

– И чего?

– И привыкла! Сорок лет проработала. Все можно перенести, ко всему привыкнуть!

– Что ж вы операцию не хотите делать? – громко спрашивает Настя и сразу краснеет. Байкеев следит за ней сбоку, он знает уже, что она обязательно вспыхнет щеками, что бы ни сказала.

– Операцию нет. Это мы не согласные. Это тебе не кран, не машина. Это в организм шланги засовывать надо.

– Боже мой, какие шланги!? Это катетер тоненький, мы же все объясняли, рассказывали.

– Операцию мы не будем, – Пеструхины тверды. Он уже потирает грудь рукой, пора брызгать под язык лекарство. Жена поглаживает его по плечу. Единодушны.

Целый день ему плохо, душно, больно. Открывали окно. Сестрички закатали в палату баллон с кислородом, Пеструхин периодически дышит через маску. Жена уехала домой, ухаживает за соседом Великанов. Он самый ходячий, кроме того, ему смертельно хочется курить, хоть на стены бросайся. Газеты все перечитаны, разговоры заглохли. Скука. Великанов принес обед, посадил на подушки повыше, крикнул санитарку. Пока ждали – подал утку сам.

– Да ладно, блин, какие церемонии.

Пеструхин похлебал бульончика, поковырял домашнюю котлетку с винегретом. Ему лучше, отпускает потихоньку.

– А вы... а ты на охоту ездешь? На уток охотишься?

– Ну да. И на уток, и на другую птицу. На зайца. Я же говорю. Собака у меня, Вестка. Вот мою сейчас наругал, хозяйку. Гуляют мало, ленятся. Внучку не заставишь, а ей ходить надо, собаке. Бегать. Утром час и вечером. Мясо я ей всегда на рынке беру. Щеки там или обрезь. Но запарить надо кипятком, а то у неё несварение бывает. Она уж в годах у меня, восемь лет.

– А перья, перья с утки ты куда деваешь? – спрашивает самое интересное Павленка.

– Смотря какая утка. Да и выкидываем. Крылышко есть у хозяйки моей от селезня – пыль вытирать. Зеленое такое с переливами. А так что? Отход – перья.

– Да-а, – осуждающе качает головой Павленка, – ну а готовит кто? Утку-то? Сам?

– Почему сам? – обижается Пеструхин. – Жена готовит. И жарит, и парит. И в морозильник кладем. Бывало, что и гуся дикого добывали, в духовке делала. Вкусно.

– И что, с каждой охоты с уловом? То есть с добычей? – интересуется Байкеев.

– Ну, можно сказать, что и с каждой. Вот один раз, – Пеструхин улыбается своему воспоминанию, потягивается ногами в кровати. Боль совсем отпустила, можно увезти кислородный баллон – мешает разговору, стоит по самой середине палаты, загораживает слушателей. Пеструхин охотничьи байки любит, но рассказывает их не как анекдоты, а обстоятельно, не торопясь. – Один раз, помню, заехали далеко. Машина застряла у нас, один товарищ пошел в поселок лебедку искать...

– А машина-то какая?

– УАЗ старый. Как сейчас говорят – внедорожник. Но сели крепко, по самый борт с одной стороны. Вещи все вытащили, ну и вот. Чего я говорил?

– За лебедкой товарищ пошел, – Байкеев немного оживился – про машины он любил.

– Да. Вещи, значит, вытащили, а я думаю, дай, думаю, пройдусь болотцем. Все же мы за уткой поехали. А осень была, красота – дух захватывает. Там такие перелески, листья желтые, клены и поле, значит, сжатое. А вот так, – Пеструхин показал наглядно, согнув пододеяльник у себя на коленях в один из перелесков, разгладив посередине, – вот и поле, – ближе к животу примял, – а тут, значит, болотце такое и осинки низенькие, молодые. Травища! Ну ни одной птицы. Вестка все обошла, обнюхала – пусто. Ну, думаю, тут сядем, посидим, к машине не хотелось идти, на лужу опять смотреть. Сел, чаёк у меня в термосе, на пояс прицеплен. А ружье в руке держу, заряжено на всякий пожарный. Да. О чем это я?

– Сели вы с собакой... – напоминает Байкеев, кивая на мятое «болотце» на пододеяльнике.

– И да. Трава, сноп такой, кочка под деревом. Так-то пожухлая вся вокруг, а под деревом – зеленый ещё куст, осока не осока, бог её знает. А ружье, значит, в руке.

Обстановка нагнеталась, чувствовалось, что развязка близко.

– Ну-ну? – нетерпеливо подгоняет Павленка.

– Я ногой вот так вот траву прижимаю, – Пеструхин прижимает ногой пододеяльник, все замерли, смотрят на «кочку», Великанов встал со своей койки и облокотился о спинку пеструхинской, – а ружье в руке. И тут из-под ноги у меня как выскочит! Скок! Я – раз! Бах его!

Пеструхин прицеливается куда-то в пол и бьет.

– Кого бах-то? – уточняет Байкеев.

– Да заяц, представляете? Здоровенный русачина такой! Он осенью как раз ложится. Крепко лежит. В траве, под кустами, на полянках таких. На него пока не наступишь, не шелохнется. И я его, значит, утиной дробью – бах!

– И все? – разочарованно отходит Великанов.

– Ну, напугал, черт... – Павленка потирает грудь.

– Лес-то сырой, – оправдывается Пеструхин, – а сесть надо было, чайку выпить. Я и решил на кочку на эту.

– Ну а собака, подожди-ка! Собака-то твоя куда глядела? Чего она нюхала?

– Так ты знаешь, заяц какой хитрющий зверь? Он лежит и не дышит, так прячется!

– И не пахнет?

После ужина Пеструхина спустили в реанимацию. На этот раз приступ был тяжелее, чем раньше. Ни капельница, ни уколы не помогали. Кислородная маска его душила, лицо было серое, мокрое, дыхание kloкотало, как в чайнике. «Отек легких», – сказал жене по телефону молодой бородатый врач-реаниматолог. Кажется, это он неделю назад принимал Байкеева. Когда суета стихла, пришла санитарка тетя Даша, протерла спинку кровати тряпкой, вещи Пеструхина из тумбочки собрала в пакет, поменяла белье. Перестелила все быстро и ловко, подушку в свежей наволочке поставила в центре уголком, как в пионерском лагере. Кислородный баллон укатали ещё раньше, как будто и не было тут никакой суматохи, никаких уколов и разговоров, и вообще, никакого Пеструхина.

– Так он чего? Того? – испугался Великанов.

– Чего «того»? – грозно обернулась тетя Даша. – Положено перестелить!

– Он что, не вернется сюда, в эту палату? – осторожно уточнил Байкеев.

– Вернется, вернется, – заученно забубнила санитарка, – подлечат его там и привезут. И вещи, если что, вернем, все обратно застелим, разложим...

После её ухода делается совсем тоскливо и темно. Тихо. За закрытой дверью не громыхают швабрами, не течет вода в туалете, не подвывает служебный лифт. Рабочий день у дневной смены давно закончился, ужин разнесли, пол в коридоре вымыли. У соседей за стенкой бормочет телевизор. Великанов подумывает, не пойти ли туда посмотреть очередную серию про бандитов.

– Ну а ты чего, Андреич, молчишь? Сам-то охотишься? Или как?

– Да я больше по грибы сейчас, знаешь, блин, с корзиной, по лесу. Я не стреляю.

Великанов худой, жилистый, сутулый, с впалым животом. Лицо узкое, скуластое, с крупным носом, зато глаза хорошие – настоящего голубого цвета. К нему ходит симпатичная моложавая женщина в беретке и две такие же голубоглазые девочки-школьницы с одинаковыми косичками. Они садятся на кровать рядышком, прижимаются, каждая со своего бока. Жена аккуратно пристраивается на стуле напротив. Разговаривают они всегда шёпотом, тихонько хихикают. Мать одергивает дочек, если они слишком громко смеются. Перед уходом они все-таки

виснут у него на шее, а жена, коротко обернувшись, целует в запавшую серую щеку. Весь по плечам, спине и груди Великанов разрисован татуировками. В отличие от загадочной надписи на футболке Байкеева эти узоры дед Павленка в первый же день внимательно изучил. Никаких загадок – сидел, резал вены дважды на правой руке, потому что левша. Над ключицей – следы ножевого ранения. Всякое было.

Он тоже помнил свой мокрый осенний лес, ружья, сваленные в углу деревенской избы с низким потолком, рыжую суетливую собаку. Приехали охотиться на кабана. Два дня выпивали с хозяевами избы – семейной парой. Бабенка-хозяйка совсем молодая, но беззубая и пьяная, а мужик её вообще лежал на диване и «мама» сказать не мог. Пол к утру леденел, печь дымила. Пили самогон и ждали кого-то, кто по-настоящему разбирается в кабанах и отведет на место. Великанов на охоту отродясь не ходил, поехал за компанию, причем компания была не близкая, так – знакомые знакомых. Наконец из города прибыл специалист по кабанам в дорогой кожаной куртке – Колпаков В.Н. Привез хорошего чая, сала, шпрот и болгарских сигарет, пообещал, что знает здесь каждую кабанью тропу. В какое-то утро рано, с тяжелыми мутными головами, они растолкали вечно спящего хозяина. Тот откуда-то привел лошадь и подвез их на телеге километра три вглубь леса. Точно было мокро везде – и трава, и большие желтые липовые листья на дороге, с ладонь размером. Притащились куда-то на старую, заросшую тропу, довольно широкую. Сзади было место открытое, вроде поляны, с мелкими молодыми деревцами. Впереди – пригорок и редкая березовая рощица. Место это долго снилось потом Великанову – белые тонкие стволы, низкие кривые елки между ними, белесая жухлая трава по пояс. Надо было стоять тихо и ждать, не сходя с места, пока другая группа – двое мучимых похмельем загонщиков – не спугнет в их сторону кабана. Представлялось, что он будет, вероятно, один. Колпаков В.Н. жестами показал, что надо спрятаться и не разговаривать, держать ружье наготове. Ещё показал что-то руками, непонятное, и исчез за березками. Сколько Великанов там промаялся, он вспомнить не мог. Курить было нельзя, шевелиться тоже. В глазах рябило от листьев, в голове гудело, во рту пересохло. И спать вдруг захотелось смертельно. Когда на пригорке за стволами кто-то громко завозился и захрустел ветками, Великанов радостно вскинулся из полудремы и выстрелил не целясь. Грохнул ещё один выстрел и ещё сбоку. Кажется, их было три или четыре. Стреляли все. Никаких кабанов не было, Колпаков В.Н. был убит наповал выстрелом в грудь. Как выяснилось позже, из ружья Великанова, хотя он, убей бог, не мог вспомнить, которое было его из брошенных в суматохе на траву. Алкашей – хозяев избушки – еще до приезда ментов сдуло как ветром. Возвращались все, включая мертвого Колпакова, на той же телеге, но возница уже был при погонах. Вероятно, лошадь в этих местах была одна на все случаи жизни.

Во время суда Великанов узнал от адвоката, что есть такие слухи. То есть поговаривают, проверяют версию. Словом, подозревают, что Колпакова замочил один из «охотников», как раз нарочно, потому что он много лет утешал колпаковскую жену, а теперь, наконец, получил право утешать её легально в доставшейся от покойника трехкомнатной квартире, в его «Волге» и на кирпичной даче с гаражом и баней. Дальше слухов дело не пошло, неумышленная вина Великанова была полностью доказана, плюс отягчающее состояние опьянения. Великанова отправили в колонию, потом на поселение на семь лет. Все эти годы,

что бы ни происходило, он мечтал найти на воле настоящего убийцу и свернуть ему шею. Боялся только, что плохо его помнит, может не узнать. Вышел,пил и завязывал, ещё раз попал по глупости в то же учреждение на два года. Вышел и очень удачно устроился грузчиком в пекарню, встретил Верочку, женился, родил двух девочек одну за другой. Прошло лет пятнадцать с того дня или больше, все вроде бы забылось, а десять дней назад за рулем обгоняющей по встрече маршрутки он увидел того самого стрелка.

Верхний свет так и не зажгли, неохота было вставать. Павленка включил ночную лампу над своей кроватью, читает что-то, записывает. Диктует себе, шелестит, пищит телефоном. Байкееву из-за спины его не видно, только слышно этот шелест и шёпот. Заснуть бы, что ли. До понедельника ещё четыре дня. Выхода нет.

Усыпят наркозом, распилят грудину, остановят сердце. Потом вырежут вены с ноги и пришьют к сердечным сосудам, чтобы не болело больше. Зашьют и разбудят. Сердце должно сразу заработать. Вот это Байкеев понял из того, что долго и научно рассказывала ему Настя. Говорила она уверенно и складно, но по глазам, которые она старалась спрятать от него, было понятно – что-то знает другое. Может быть, плохое? Страшное? Он потрогал грудину под майкой – твердая. Поводил пальцами, развел в стороны руки, глубоко вздохнул. Где-то там внутри тупо и глухо тянуло. Ну и работка у людей! Какая там, интересно, пила – циркулярная? Байкеев пошевелил ногами. Болеть, наверное, будут, как у деда. Волосы сбреют или сам? А на груди? Он, заволновавшись вдруг, просунул руку под майку и поворошил свою жесткую растительность. Как же резать-то будут, если не сбрить? «Вы ей верьте, Байкеев, она опытный врач». Он и верит, что ещё остается?

– А я вот что помню, – неожиданно громко завел Павленка, задумчиво спустив очки на кончик носа и отложив стопку бумаг, – пацанами ещё мелкими были, так ходили в школу в соседнюю деревню, у нас не было своей. Километров восемь, ну шесть, если напрямик. Бывало, зимой бежим в темноте, душа в пятки уходит! Страшно. Ни фонарей, ничего не было. Это как раз перед войной. Бежим, значит, дорога еле видна, а в лесу, с боков-то, глаза такие блестят и тени. Волки, значит. Мы на дерево – раз! А они снизу ходят. Холодно. Ну, родня наша с работы придет – ага, нет учеников-то, не явились. И за нами с факелами, с ружьями по дороге. Так и снимали нас, разгоняли тварей этих. Часа по два, по три иной раз на дереве-то высидим, все задрогнем, затекет все – руки, ноги, а сидим! Только упади – сожрут!

– А чего так мучились-то, блин, Михалыч? – удивляется Великанов. И сразу хрипит, кашляет и сплевывает.

– К знаниям тянулись? – посмеивается Байкеев. За разговором как-то веселее. До понедельника надо дотянуть.

– Так голодно было, Валер, нас у мамки четверо. А в школе жрать давали. С колхозу бачки привозили с похлебкой и хлебца маленько или сухарей, чтоб не померли. Жрать очень хотелось, Валер, до сих пор помню, а чему учили – убей бог, забыл!

За дверью десятой палаты опять рассмеялись.

Денис ЛИПАТОВ

Родился в 1978 году в Горьком. Окончил инженерно-физико-химический факультет Нижегородского государственного технического университета. Участник поэтического товарищества «Сибирский тракт». Стихи и проза печатались в журналах «Нижний Новгород», «Нева», «День и ночь» и других периодических изданиях.

Живет в Нижнем Новгороде.

ИНСУЛЬТ

Когда с Иваном Николаевичем случился инсульт, очень многие – деловые партнёры, подчинённые и даже родственники – подумали: «Как некстати!» Слишком много оставалось незавершённых дел, которые без Ивана Николаевича решить, конечно, было бы возможно, но время, время! На очень многих документах требовались его подписи (в отдельных случаях сошли бы и подписи заместителей, но брать на себя лишнюю ответственность...). В некоторых делах круг посвящённых расширять было очень нежелательно, некоторые связи с полезными людьми Иван Николаевич налаживал лично, и заместители многих и не знали, а на банковских счетах вообще требовалась только его подпись, да ещё чтобы все закорючки совпадали с образцом, а переоформлять всю ответственность на другое лицо – опять же время. Поэтому, когда из больницы сообщили, что жизнь Ивана Николаевича вне опасности и вообще всё не так безнадежно и обошлось довольно ещё легко, очень многие, сказав «слава богу», вздохнули с осторожной надеждой (некоторые так даже перекрестились) и, выждав неделю-полторы, как только врачи дали отмашку – мол, можно, – кинулись в больницу, навещать Ивана Николаевича.

Ситуация и в самом деле не выглядела опасной. Иван Николаевич не утратил никаких основных навыков: не обездвигел, прекрасно управлялся с ложкой, мог сам себя обслужить, и даже речь его была ясной и вполне членораздельной. Он не забыл никаких слов, как это часто случается после инсульта, и, когда в разговоре доходил до существительных, до обозначения предметов – не спотыкался, как другие, не морщился устало, пытаясь жестами показать, что ему нужно, а говорил прямо и ясно: «Принесите карандаш и блокнот. Принесите книгу, бритвенный станок, сигареты». Нет, Иван Николаевич, извини, о куреве придётся забыть, а остальное – пожалуйста.

Единственное серьёзное и осязаемое последствие инсульта состояло в том, что Иван Николаевич не всех узнавал, из памяти его выпало, кажется, целое двадцатилетие, а то и более значительный срок. Похоже было на то, что ощущал он себя году в восьмидесятом или восемьдесят втором, но никак не позднее. Поэтому лица тех, кто появился в его жизни позже, были ему незнакомы, а лица тех, кого он знал раньше, казались неестественно и как-то очень быстро, почти сиюминутно состарившимися, и он недоумевал, что же такое страшное с ними произошло, а спрашивать об этом было бестактно, да он и боялся спрашивать и, натягивая одеяло чуть ли не до самых глаз, с ужасом смотрел на столь дорогие, милые, столь хорошо знакомые и столь быстро и безобразно постаревшие лица.

Но однажды, увидев себя в зеркале, Иван Николаевич понял, что и он вместе со всеми как-то очень быстро, неестественно быстро постарел, а значит, что-то страшное случилось не только с другими, но и с ним, с Иваном Николаевичем, тоже. Это открытие настолько поразило его, что всё остальное уже не удивляло и нисколько не беспокоило. Равнодушно смотрел он на свою просторную, светлую, в два огромных окна палату, сверкавшую безупречной чистотой и белизною и в которой находился он совершенно один. (Что за привилегии, скажите на милость?) Не удивляли его и свежие фрукты, постоянно находившиеся у него на столике, хотя достать их в Москве – это он помнил точно – было совершенно невозможно. Названия некоторых он даже и не знал, а другие хотя и знал, но впервые видел их вот так – у себя на столе. И ел на всякий случай только яблоки. Две сестрички, которые, сменяя друг друга, постоянно дежурили у его палаты, были с ним очень ласковы, всегда улыбались, казалось, были готовы выполнить любой его каприз и вообще возились с ним, как с маленьким ребёнком, – не почистить ли яблочко? не разрезать ли дыньку? пора сделать укольчик, пора принять лекарство. И Иван Николаевич, оглушённый своим открытием, нисколько не капризничал, соглашался на всё безропотно: укольчик так укольчик, лекарство так лекарство, дыньку – что ж, можно и дыньку. Сестрички тоже его не удивляли, хотя никогда и ни от кого не слышал он, чтобы в московских больницах были такие ласковые и приветливые к простым смертным медсёстры. Сестрички же не могли на него нахвалиться – какой послушный и спокойный пациент оказался, в конце концов полюбили его как родного, очень жалели и называли между собой дедушкой. Очень они боялись, что Иван Николаевич окажется спесивым и грубым или мелочно-придирчивым. Приготовились они уже сносить и двусмысленные взгляды, и сальные шуточки, и пошловатые шлепки пониже талии – но ничего этого не было даже близко. А был совершенно потерявшийся, словно выброшенный на необитаемый остров, человек, были испуганные глаза, которые ни на чём долго не задерживались, чтобы не испугаться ещё больше, а смотрели как будто всегда во внутрь, словно человек всё время о чём-то думал и никак не мог решить какую-то задачу, и, может быть, это было даже и хуже, чем если бы смотрел он по сторонам, потому что казалось, что глаза эти вот-вот расширятся до предела, взгляд застынет на белой стене и человек одними губами прошепчет только: «О, ужас!..»

Почти по-стариковски шаркая, Иван Николаевич вернулся из ванной комнаты, где было зеркало. Сел. Заснуть цветущим юношей – проснуться стариком. Что же такое с нами случилось? Что же такое случилось со мной? Ну не совсем, конечно, юношей и не таким уж стариком, но всё же...

Вспомнилось то место из «Мёртвых душ», где говорится о том ужасе, который должен испытать молодой человек, если показали бы ему его портрет в старости. «Вот я и оказался таким юношей, – подумалось Ивану Николаевичу совсем просто, так, что он даже и не усмехнулся сам себе. – Только вместо портрета у меня – зеркало».

Лечащий врач (и не просто врач, а настоящий профессор), который вообще был очень добросердечным и внимательным человеком, не мог, конечно, не заметить такой перемены и, оценив состояние пациента как вполне вменяемое, очень мягко и очень осторожно, со множеством оговорок, опуская различные медицинские термины, объяснил Ивану Николаевичу его положение. Они были ровесниками, оба детьми застали войну, оба помнили послевоенные годы, словом, лечащий врач знал, что Иван Николаевич должен интуитивно испытывать к нему доверие. И он не ошибся. Всё сказанное им Иван Николаевич воспринял совершенно спокойно, словно показали ему выход из лабиринта или подсказали решение головоломки, и в глазах его даже наступило как будто просветление, взор на какое-то время прояснился и успокоился – «Ах вот оно что!..» – но потом пелена безразличия заволокла их: решение головоломки оказалось банальным и совсем неинтересным, а выход, кажется, выводил в пустоту. И всё-таки такое объяснение, по сути своей довольно неутешительное и страшное, было вполне жизнеподобным, оно восстанавливало нарушенный порядок вещей, оно само по себе было в порядке вещей и, следовательно, хоть как-то примиряло с *окружившей* действительностью, устранив эту дурную загадочность и всякие фантастические домыслы о случившемся.

Напоследок лечащий врач, чтобы ободрить больного, сказал – впрочем, всё это было чистой правдой, – что если дело и дальше пойдёт так же хорошо, то он обещает ему полное выздоровление, память восстановится, и Иван Николаевич сможет вернуться к привычной жизни.

Ну и, во-вторых – это сообщение, словно десерт, он приберегал до последнего, – вам, Иван Николаевич, будет, наверное, небезынтересно узнать, что эти двадцать с лишним лет не прошли для вас даром. Вы стали, прямо скажем, довольно состоятельным человеком. Да и вообще в нашей стране за это время многое изменилось: узаконена частная собственность, разрешено предпринимательство и – самое главное – здесь доктор по-свойски весело подмигнул Ивану Николаевичу, – *Софья Власьевна* уже лет пятнадцать как приказала долго жить.

Иван Николаевич в ужасе уставился на доктора: нет, был он, конечно, наслышан о профессиональном цинизме врачей, но чтобы вот так, в открытую, с подмигиванием и улыбочкой (словно вместе это дельце обстряпали) говорить о смерти человека, пусть даже и не очень приятного при жизни – это уж слишком. И, кстати, кто она была, эта Софья Власьевна? Чем так успела ему, Ивану Николаевичу, насолить, что теперь доктор, не стесняясь, подбадривает его фактом её смерти? Сварливая тёща, заедавшая его век? Какая-нибудь вредная старуха, соседка по коммуналке, чьей комнаты никак не могли дожидаться? Да неважно кто! Нельзя так о человеке, да и тёщу он, кажется, помнил, по-другому её звали.

Доктор смутился. Он увидел, что Иван Николаевич намёка не понял или, может быть, понял, но настолько ошеломлён, что просто не может поверить. «Действительно, я и сам не поверил бы», – подумал доктор и пожалел о своей разговорчивости – было очевидно, что о таких фантастических переменах Ивану Николаевичу сообщать ещё рано.

«Ну ладно, ладно, – заторопился он. – Не берите в голову. Вы, Иван Николаевич, вот что, вы помните главное: вам есть куда возвращаться, у вас большая квартира в Москве, своё очень прибыльное и хорошо поставленное дело. Вас там ждут. Запомните это и не отчаивайтесь. Ещё вот что: я думаю, уже имеет смысл разрешить более частые посещения – быстрее будете вспоминать. И поменьше думайте о всякой ерунде – скоро всё само собой вернётся и разрешится. А пока можете отдохнуть. Это, в некотором смысле, даже позавидовать можно: забыть всё на время, отрешиться от всего, отдохнуть, помнить только хорошее, словно ничего другого и не было, словно вся жизнь без помарок... Ну всё, всё, отдыхайте...»

С этих пор визиты стали почти ежедневными. Чаще других приходила некая женщина. Ему сказали: это ваша жена. Поверить этому было трудно – жену-то Иван Николаевич помнил отлично. Но ему пояснили: вторая. И он смирился. Покорно принимал её ухаживания, послушно ел йогурты, позволял себя кормить чуть ли не с ложечки. Она всё о чём-то щебетала, щебетала, а он смотрел на неё пустыми глазами, никак не мог назвать её по имени и не понимал, откуда она взялась и куда подевалась та, первая, которую он помнил. Почему до сих пор не приходила? Жива ли? Он помнил, что любил её. Он помнил, как много они пережили. Как радовались своему первенцу и как потом переживали за него, сколько бессонных ночей провели они у его кровати, когда начал он, как по каталогу, болеть всеми детскими болезнями. Он как сейчас помнил самого себя в ту зиму, когда он каждое утро, в пять часов бежал в детскую кухню. Он помнил, как выходил из подъезда в колючую мглу и как сразу же, словно ненужные после выздоровления бинты, слетали последние остатки сна. Он ещё ворчал по инерции, что в ближайшие полтора-два года так и не удастся ему выспаться, но скоро он забывал и об этом и чувствовал, что жизнь ещё только начинается, каждое утро наполняясь всё новым и новым смыслом, так же, как на детской кухне каждое утро наполнялись молоком и смесью бутылочки для его сына. Он помнил, как приносил это молоко, этот творожок, отдавал жене, и из прихожей – подходить к ребёнку с мороза запрещалось – через стеклянную дверь, пытался, вытянувшись на цыпочки, заглянуть в детскую кровать, чтобы увидеть своего мальчика, своего кроху и, помахав ему, спящему, бежал на работу. Он помнил, что, поддавшись уговорам бабушек, ребёнка крестили и что дали священнику десять рублей, чтобы не записывал в книгу, потому что оба были комсомольцами. А потом даже отстояли всю службу, и было это совсем не скучно. А потом с ними беседовал батюшка, и как они сначала стеснялись его, будто вместе пришли к одному врачу, прятали глаза и неуклюже улыбались на его вопросы и не знали, как правильно его называть, а сказать «батюшка» – язык не слушался, словно обложили его ватой, а когда всё же называли его так, то покраснели, как дети. Но голос его звучал тихо и спокойно, а глаза смотрели так вдумчиво и ласково, что казалось, будто вся вселенная, вся правда и вся любовь сосредоточились только здесь, в этих стенах, где тихое пение, свечи под образами и Господни лики. И они записались к нему на исповедь, с тем чтобы потом причаститься, а уже потом венчаться. И казалось, каждому открылось в другом что-то новое. Они смотрели друг на друга и думали: у нас будет тайное венчание, совсем как в пушкинской «Метели». «У нас будет тайное венчание», – шептал он ей на трамвайной остановке, и такая нежность переполняла обоих, что казалось сейчас, посреди января, как в сказке,

наступит апрель. И подъезжавший трамвай тоже как будто был с ними заодно, потому что гремел и дребезжал вагонными сцепками громче обычного, чтобы никто из посторонних про тайное венчание не услышал. Два дня чувство первой влюблённости снова было с ними повсюду. Но потом, по зрелом размышлении, они не пошли ни на исповедь, ни на причастие, ни тем более на венчание. А от Коленки после крещения хвори и в самом деле как будто отступили. Стал он болеть реже и не так тяжело.

Всё это Иван Николаевич помнил очень хорошо, и ещё он помнил, что было в той жизни нечто, что, наверное, теперь уже можно было назвать счастьем, несмотря на все эти мытарства по общежитиям и коммуналкам, несмотря на хроническое безденежье, на бессонные ночи с маленьким ребёнком, на постоянные шабашки по выходным. И теперь он не понимал, откуда взялась эта женщина, эта красотка, этот оживший манекен? Почему она вместо Лиды? То, что Лида, его Лида, могла ему изменить – об этом Иван Николаевич даже и не думал. Значит, причина была в нём. Конечно, Лида за эти годы тоже, наверное, переменялась, хотя Иван Николаевич и не мог себе этого представить, но пусть даже и так, но ведь наверняка же не утратила она своего обаяния, своих живых черт, не перестала же она быть прежней Лидой, родным ему человеком, да и сам он – не мог же он настолько всё позабыть – да хотя бы вот это несостоявшееся тайное венчание, – позабыть настолько, чтобы прельститься этим ожившим манекеном, чтобы променять Лиду, свою Лиду, на эту куклу! В доказательство кукла рассыпала перед ним ворох цветных фотографий. Все они были одинаковые, словно напечатали их с одного негатива, и Иван Николаевич сначала даже и не понял, зачем же было приносить так много, неужели не хватило бы одной? На каждой были море, пляж, пальмы, под пальмами – шезлонги, а в шезлонгах – они. И на каждой фотографии Иван Николаевич видел мужчину (в обнимку вот с этой, с куклой) очень на него, на Ивана Николаевича, похожего, и в котором он всё-таки не узнавал, вернее, отказывался узнавать самого себя. Он никогда не замечал за собой этого сытого надменного взгляда и таких жирных, засаленных глаз. Но с каждой новой фотографией он всё больше и больше, к своему нарастающему ужасу, самого себя узнавал. Красотка не замечала, конечно, его смятения и, перебирая снимки, продолжала терпеливо, как с маленьким сюсюкарь, объяснять ему: «Это мы в Хургаде, – щебетала она, – это в Анталье, это на Кипре, а это в Испании, в Греции, а эта – особенная: это наше свадебное путешествие в Египет – смотри: пирамиды. Помнишь пирамиды? А Сфинкса? Сфинкса помнишь?»

И опять смотрели на Ивана Николаевича эти засаленные, заевшиеся глаза вполне самодостаточного жлоба, уверенного, что на всё-то он имеет право, и на него, на Ивана Николаевича, тоже. И никуда от этих глаз нельзя было спрятаться. Не было никакой надежды: каждая чёрточка совпадала с ним теперешним. Видел он себя, как в зеркале. Впрочем, маленькая надежда ещё оставалась. Когда в палату, уже почти на правах друга семьи, вошёл лечащий врач, чтобы поучаствовать в умильной сцене узнавания, на которую он уже рассчитывал, Иван Николаевич кинулся к нему и, отведя в сторону, зашептал ему в самое ухо задыхающимся, загнанным шёпотом, словно прося пощады: «Скажите, скажите же мне правду... я ведь догадался: я в психушке, да? Я в психушке, а это всё, – он небрежно кивнул на остолбеневшую жену, – это всё ваши штучки, да? Про... провокация, да? И самое главное – что с Лидой?»

Почему она не приходит? Или вы её тоже?..» Врач разочарованно посмотрел на Ивана Николаевича, потом сочувственно на его жену, поцокал языком, покачал головой и сказал: «Ну что вы, друг мой, те времена давно прошли». В это время красотка, находившаяся до того в полнейшем оцепенении, словно превратили её обратно в манекен, противно захныкала, заревела, закрыла лицо руками и, цокая каблучками, выбежала из палаты. А пирамиды и сфинксы, пляжи и пальмы, моря и океаны, турции, испании, греции и египты так и остались рассыпанными на полу и на кровати, и сестрички, собирая их, подолгу рассматривали каждый снимок, о чём-то восхищённо щебетали между собой и, кажется, ужасно завидовали.

А потом пришла Лида. Иван Николаевич и ждал, и боялся её прихода. Он знал, что виноват, что он совершил что-то непоправимое, что он разрушил их жизнь, что он предал её. Он не помнил, как именно это произошло, но он знал, что так оно и было. И теперь ему было ужасно стыдно. Стыдно и больно, и хотелось расплакаться, растаять, раствориться в воздухе, не быть совсем или, когда она придёт – спрятаться от неё в ванной и не выходить, сидеть там молчком, у двери, на корточках и свет погасить, и рот себе зажать ладонью. Ему сообщили время её прихода, и уже за час у него горели щёки, он ходил по палате из угла в угол, хватался за воздух и не знал, что делать. Ему сделали укол, и он успокоился. Он просто сидел и ждал: поправить уже ничего нельзя. И в глазах его была бездна.

А потом она пришла, и все было очень просто. По её виду Иван Николаевич понял, что она уже давно всё простила и всё забыла: раны кое-как зажили, и она не хотела их лишний раз тревожить и опять всё вспоминать. Побыла недолго. Сказала, что всё у них хорошо, всё «слава богу», у Коли тоже всё нормально: семья, работа. «Ну, всё, Ваня, поправляйся...» И ушла. И Иван Николаевич подумал, что на большее-то он, кажется, не имеет права: он всё вспомнил, но уж слишком поздно. И остались ему пляжи и пальмы, испании и египты, пирамиды и сфинксы.

А потом, как и было обещано, туман рассеялся, выглянуло солнце и всё вокруг стало ясным, выпуклым и осязаемым. Все двадцать лет – день за днём – смотрели на него и ухмылялись, словно до этого находился он в самой гуще карнавала и единственный из всех был без маски, а все кружились, прыгали вокруг него, дразнили его, дёргали за волосы, за уши, за нос, и вдруг по какому-то тайному знаку музыка стихла, и все свои маски сбросили и обступили его. И в каждом он узнавал самого себя. И все эти иваны николаевичи смотрели на него, кто с любопытством, кто равнодушно, кто с презрением. Все они были разных возрастов. Каждый был из своего времени, из своего года, каждый олицетворял какой-то важный этап в его карьере. Поэтому те, кто помоложе, были и одеты попроще и смотрели хоть и нагло, но с любопытством, а те, кто постарше, – и одеты были побогаче и смотрели пренебрежительней. Кто-то из них молча протянул ему маску, а когда он хотел взять, отдёргнул руку, громко засмеялся и показал язык. И вдруг все они загалдели, засмеялись, стали громко переговариваться между собой, показывать на него пальцами, совать ему какие-то предметы и трясти ими у него перед носом: кто ключами от новенького автомобиля, кто золотым паркером, кто пачками денег. Всё плотнее и плотнее обступали они его, всё нестерпимее становился их галдёж, и Иван Николаевич, теснимый со всех сторон, вдруг с ужасом подумал, что сей-

час кто-нибудь в этой неразберихе сунет ему в спину нож – откуда-то он помнил, что на средневековых венецианских карнавалах частенько совершались заказные убийства – поди, излови убийц в такой суматохе, да еще если все в масках! В ужасе Иван Николаевич закрыл глаза – и сразу же всё вокруг стихло: галдёж прекратился, ужасные двойники его исчезли. Так в полнейшей тишине и темноте прошло несколько минут. Постепенно сквозь темноту стали проступать очертания его больничной палаты. Налево от кровати – окно, направо – дверь. Из-под двери сочился мягкий, чуть приглушённый свет, слышались чьи-то осторожные шаги, перешёптывания, потом какие-то смешки – дежурная сестра, догадался Иван Николаевич. С кем это она там? А, с телохранителем, – подумал он совсем просто, нисколько не сомневаясь, что там, с медсестрой, может находиться именно телохранитель и что это именно его телохранитель, хотя он никогда и не видел его здесь, и нисколько не удивляясь тому, что его, Ивана Николаевича, охраняют. Попробовали бы не охранять!

Иван Николаевич повернулся к окну и с тоскою уставился в чёрную пустоту: палата его находилась на двенадцатом этаже, и поэтому, лёжа на кровати, в окно можно было увидеть только небо. С тоскою стал он думать о том, что вот, как и обещал доктор, всё само собой вернулось и всё разрешилось. Он вспомнил эти последние двадцать с лишним лет своей жизни, но, как оказалось, вспоминать-то особенно было и нечего. Нечего было вспоминать, кроме этого постылого бизнеса, вечного всем недоверия, вечного страха. Да, было, конечно, это хищное удовольствие, наслаждение волка, когда удавалось урвать кусок пожирней, обставить других волков, сорвать куш там, где другие свернули себе шею. Но вот теперь он не понимал этого удовольствия. Что было в нём ценного? И разве стоило оно того, чтобы ломать свою жизнь? Почему-то однажды, когда его банковский счёт перевалил за определённую сумму, он, взглянув на Лиду, решил, что она уже не подходит ему по статусу, что теперь он может позволить себе и машину поновее, и дом побогаче, и жену помоложе. Дикость? Дикость, а вот поди ж ты, так оно и было. Конечно, не выгнал на улицу, дал отступного, оставил и дачу, и машину, но логика-то всё равно волчья. Одно слово, в общем, – дикость. А вторая его жена, эта девочка, которую взял он вместо Лиды, в чём она виновата? Разве только в том, дурочка, и виновата, что повелась на всю эту роскошь, что терпела его, старого, за все эти турции, испании и египты. Ну хорошо, она – дурочка, но ты-то умный. Разве не видел, что ей противно? Видел. Разве не мог ей сказать: куда, мол, ты, дура, лезешь! ради чего ты себя в грязь втоптываешь! Мог. Но не сказал, потому что всегда относился к ней как к манекену, красивой вещице, твари бессловесной, куску мяса. Разве не дикость? Конечно, дикость. Вот и стала она взаправду манекеном. Манекену проще – он не чувствует.

Иван Николаевич всё смотрел и смотрел в эту чёрную пустоту за окном и много чего ещё передумал, и на глаза его накатились слезы – он с ужасом понял, что ведь придется туда возвращаться, что ведь он – выздоровел. Мелькнула безумная надежда, что, может быть, сейчас, вот в это самое время, шархнет его второй инсульт, такой, чтобы уж наверняка. Но он знал, что этого не будет, что за его лечение заплачены большие деньги, и доктор своё дело знает и просто так словами бросаться не будет.

За окном, где-то далеко внизу зашуршал по деревьям дождь. А за дверью всё о чём-то перешёптывались медсестра и телохранитель.

Телохрани́тель был здоровый и очень жизнерадостный парень – он без умолку рассказывал что-то, по-видимому, очень смешное, потому что медсестра то и дело прыскала, зажимая, наверное, себе рот ладошкой, чтобы не смеяться слишком громко. Иногда его голос ужасно басил, и тогда она угрожающе шикала на него, но удержаться от смеха всё равно не могла. Постепенно они осмелели до того, что включили радиоприёмник. Послышалась тихая музыка, потом звук доставаемой посуды, глухой удар горлышка о край стакана – «Пьют за знакомство», – подумал Иван Николаевич. «Конечно, гнать бы его надо в шею – какой он к чёртям телохрани́тель после этого. Ну да бог с ними. Они молодые. Тоже, наверное, скучно так – сиди целую ночь, охраняй никчемного старика. А тут девушка: молодая, красивая, хохотушка. Бог с ними». Почему-то ему стало приятно думать об этих молодых людях, о том, какие они молодые, красивые и весёлые, и что вся жизнь у них впереди, и что, может, они понравятся друг другу и будут потом встречаться, и, может быть, уже завтра парень подарит ей цветы или назначит свидание. Эти сентиментальные прожекты о чьей-то прекрасной будущей жизни отвлекали его от мыслей о его собственной, прошедшей и ещё оставшейся. За окном шуршал дождь. Радиоприёмник за дверью транслировал лёгкую музыку. Иван Николаевич закрыл глаза и попытался заснуть. Ничего не получалось.

Ещё через две недели его выписали из больницы.

Анатолий ДОН

Родился в 1989 году в Киеве. Окончил Академию муниципального управления по специальности «психология». Публиковался в журнале «Молодая гвардия». Живет в Киеве.

НАЦИОНАЛИСТ

Фрагменты повести

Чувствую, как мои кеды намокают. Дорога испещрена ямами, и под хлещущим ливнем они заполняются водой. Я стараюсь их перескакивать, как-то маневрировать между ними, но на дворе ночь, под ногами темно, и время от времени я все равно попадаю в них.

Видимо, на мой район всем наплевать. Асфальт здесь не ремонтировали со времен глубокого «совка». Я ненавижу «совок», хоть и знаю о тех позорных временах немного, тогда я был еще слишком мал. Последние четыре года моей жизни я борюсь с его мерзким наследием у нас в стране. И моя роль значимая, я так думаю. Обидно вдвойне, что наша новая власть не хочет заделать эти полуразрушенные дороги.

Я возвращаюсь домой после силовой тренировки. На мне серая толстовка с капюшоном. Капюшон должен предохранять мою голову от холодных капель ноябрьского дождя, но я все равно чувствую, как сквозь него просачивается вода. Волосы мои мокнут. Также на мне джинсы, сплошь атакованные каплями, и черная куртка с подкладкой, которая почему-то слабо согревает. Но мне не очень холодно. После «трени» тело разгорячено. Я ощущаю приятную боль в мышцах.

Привычный вид совдеповских жилых построек – пятиэтажных облезлых домов, выстроившихся в ряд и плотно прилегающих друг к другу, – нагоняет тоску. Убогий район. Наш подъезд четвертый. Сейчас кликну магнитом и, как бегун, полечу вверх по лестнице на третий этаж. В нос привычно ударит запах кошачьей мочи, сопровождающий наш дом по жизни. Но это мелочь. Любые неприятные мысли отступают перед голодом. Я голоден как лев, ведь почти ничего не ел днем. Остается лишь надеяться, что мамаша приготовила что-нибудь съестное.

Я звоню в дверь. Звоню долго, умышленно вдавливая звонок большим пальцем. Начало первого ночи, но мама, конечно, не спит. Уже представляю ее стоящей в дверях: все в той же позе, с застывшей

усталостью на лице, и за ее спиной скрывается наш уродливый коридор. Во мне сразу возникает раздражение.

Наконец открыла. Низкая, смуглая, с черными растрепанными волосами, – вот она уже стоит передо мной в своем старом домашнем халате. Опустив глаза (она знает, что иногда ее взгляд меня раздражает) и сжав свои бледные губы, она кротким голосом произносит все то же...

– Пришел, Антоша... Я уж волноваться начала...

Глаза мои, зажженные «силовушечкой», при виде ее постепенно начинают угасать. Усталость наваливается и на меня. Что-то тоскливое, обреченное просматривается во всем ее облике. Сегодня это заметно особенно.

– Жрать есть? – равнодушно и грубо бросаю я ей.

Весь промокший, упираюсь одной рукой в побитую старую стену в коридоре, другой рукой стягиваю кеды. Мать как-то тяжело вздохнула.

– Картошку я сварила...

Этот ответ приводит меня в ярость. Я дико голоден и понимаю, что одной чертовой картошкой не наемся. Денег пока не давали. Хотя задолжали уже за две акции. Так бы я, конечно, забежал в круглосуточный маркет, купил бы какого-то сыра, колбасы... Ведь на мамашу надежды нет никакой. Но неужели она не могла купить чего-нибудь?! Ведь ей недавно, насколько я знаю, выдали аванс. Или все опять ушло на погашение долгов по коммунальным?!

– Я что, по-твоему, картошкой наемся?! Я голодный, как бык, не шарить?! Ведь я целый день ничего не хавал! – сказал я громко, раздраженно глядя на нее. Мой крупный, широкий нос, не единожды битый на тренировках по боксу, злобно сопел в ее сторону. И глаза в этот момент у меня наверняка были выпучены. Действительно, если подумать, – все присущее рогатым, все бычье. Но было как-то все равно. Я ощущал себя хозяином хаты. Хоть и денег за этот месяц в семейную казну еще не внес.

Я почти перешел на крик, не заботясь о том, что у соседней снизу маленький ребенок. За все время они ни разу на меня не пожаловались. С тех пор как я стал бойцом национального корпуса, меня все соседи начали бояться. За мной стояла реальная сила, и я всегда помнил об этом.

Я вижу, как лицо матери меняется. Теперь она уже совсем не смотрит на меня.

– Можешь порыться в холодильнике. Если еще шпроты остались... – едва слышно произносит она.

Я чувствую, как у меня внутри все начинает закипать. Этим шпротам, если они и остались – чего в принципе быть не может, – им бог знает сколько дней. Да и сейчас мне бы хотелось совсем другой пищи. Неужели она не могла сварганить какие-нибудь жалкие пироги с капустой?! Ведь пришла с работы она черт знает когда!

Но еще больше, чем отсутствие жратвы в холодильнике, меня выбешивает вид нашей кухни. Керамический пол весь битый и облезлый, на нем повсюду коричневые пятна, словно гематомы на умирающем теле. Пустой холодильник, который простаивает тут уже десятилетиями: облеплен от морозилки до ножек подарочными магнитами, на которых изображены места и страны, где мы никогда не были. Здешняя мебель по бокам – деревянные обрубки. Откуда их сюда втащили – непонятно. Они совершенно не вписываются в общий фон. Их цвет разве что отвечает цвету коричневых струпьев на полу. Даже свет на этой проклятой, спертой кухне давит на мозги. Тусклый, салатный... От холодильника

я отхожу к окну и через открытую форточку слушаю, как капает дождь. Пытаюсь хоть немного успокоиться. Однако его равномерный, отстраненный от всего на свете шум еще более усугубляет неприятные чувства. Наваливается безнадега, всей своей массой.

Я стою, повернувшись спиной к матери. Закрыв глаза, упираюсь кулаками в бетонный подоконник. Мать ощущает, как мной постепенно овладевает бешенство. За годы она уже хорошо изучила эти мои проявления и условия, при которых они зарождаются.

– Антон, ну не нужно, а... Ведь уже ночь глухая на дворе, – тихо, умоляюще говорит мама. Этот голос, этот вид... они буквально сводят меня с ума.

Изможденная, она стоит в небольшом проеме, соединяющем кухню с коридором. Над ней нависают деревянные полки, на которых находится всякий хлам: банки, рваные полотенца, миски со времен Второй мировой. Все это давно нужно было выбросить. Я не раз уговаривал ее, но она все время твердит о какой-то памяти, что якобы заключена в этих ничтожных предметах.

В конце концов я теряю самообладание. Я резко поворачиваюсь и от окна перемещаюсь к небольшой тумбе у плиты. Дергаю за ручку выдвижного отделения, где находятся кухонные приборы. Хватаю первое, что попадает под руку – деревянную ложку – и бросаюсь в сторону матери.

– Значит, бездельничаешь тут?! – даже не кричу, а рычу я. От сильного желания ударить ее ложкой по руке разбрасываю слюни. – Ни черта опять нет, да?!

Мать не дожидается, пока я начну ее бить. Она научена предыдущим опытом. Он у нее богатый. Она даже не с криком, а с каким-то мученическим стоном ринулась к двери, ведущей в столовую. Она хоть и пожилая, но довольно юркая. Не зря ведь уже давно работает мерчендайзером. Там ведь тоже требуется ловкость.

Я подсказываю к двери, но она уже захлопнута. Мать удерживает ручку с той стороны что есть силы, при этом ногой упирается в стену. Это у нее уже давно отработанная система. Она так делала еще при жизни отца.

– Остановись! Милицию звать буду! А-а! – рыдая, грозитя мне она, повиснув на ручке.

У нас уже давно полиция, а ей все еще милиция мерещится. В былые годы мы часто бывали в милиции. Обычно после того, как напившись, начинал буянить папаша. Когда меня не бывало дома, он любил напиться и выплескивал всю свою накопившуюся злобу на матери. Мы носили заявления и забирали их. И так много-много раз. При мне он буянить не осмеливался. Было несколько попыток, но всякий раз ему крепко от меня доставалось. Правда, один раз, в припадке пьяного бешенства, он разнес мне стеклянной банкой ротовую полость. Мне тогда наложили бесчисленное количество швов. Шрам сохраняется поныне. Но это был один такой случай. Обычно мне удавалось скрутить его еще до каких-либо действий. Мать в такие моменты пряталась за меня. И кричала, точно, как сейчас. Скрученный, отец в хмельном беспамятстве начинал причитать: «Вырастил такую здоровую скотину! Теперь издевается, сволочь! Только и может бить да ломать!» После чего он заваливался на раскладной диван в столовой и долго-долго бился в истерике. Потом, через какое-то время, мне становилось его жалко, и я ходил в магазин за сигаретами для него.

Маленький, темноволосый и черноусый, очень худой, но обладавший громовым басом, – он совсем не был похож на меня. По крайней мере, внешне. Я был значительно выше и крепче. Единственное, что мне от него передалось – это любовь к музыке. Он был меломаном, и у нас в доме до сих пор хранится большое количество пластинок – зарубежных и наших. Больше всего он любил Высоцкого.

И вот теперь, спустя четыре с половиной года после смерти отца-пьяницы, я был в его роли. Как это произошло? Когда? Не помню. Только помню, что в какой-то момент из меня как будто вышел внутренний зверь, наподобие отцовского, и загнать его обратно в клетку мне уже не удавалось.

Я не бил мать так, как он – кулаками. Я лишь слегка трепал ее (так мне казалось). А еще изводил ее словесно. Бывало, часами. Стиснув зубы, она обычно молча выслушивала мою брань, мои обвинения. В такие моменты мне кажется, что причина всей этой неудачной и нескладной жизни заключена в ней.

Иногда, перед стычками с ней, я тоже употребляю спиртное. Но в отличие от отца агрессия появляется и в часы, когда я совершенно трезв.

Сейчас, когда я ее преследую, мозги мои как бы работают лучше. Я чувствую азарт, прилив сил, хоть уже ночь. В голове появляются слова, которые в обычном состоянии я никогда не употребляю.

Знаю, что с легкостью могу вырвать дверную ручку. Такое уже бывало. Но почему-то сейчас этого не хочется. Хочется просто проучить ее, надавить морально.

– Остановись?! Остановись?! – раздраженно хриплю я, повторяя за ней. Вполсилы тяну ручку на себя. Несколько раз я демонстративно стукнул деревянной ложкой по дверной раме. Не сильно. Но я видел сквозь узоры на закопченном стекле, как от этих постукиваний мать всякий раз шарахалась и громко завывала. На меня она заявлений никогда не катала. Потому угрозу «обратиться в полицию» я не воспринимал всерьез.

Но почему-то именно сейчас мне стало стыдно перед соседями, которые могли слышать ее ночные вопли. Я еще более ослабил давление на ручку и в молчании замер, так и стоя у двери.

– Нет... не смей... – по голосу матери, доносившемуся сквозь рыдания, я чувствовал, что она тоже понимает – сегодня я не настроен серьезно. А эти проявления – скорее защитные реакции у нее, они срабатывают автоматически.

Знает ведь, что драться не буду. А вой на весь дом устроила, дура! – я чуть было вновь не пришел в ярость.

Но в этот самый момент меня отвлек звонок мобильного, который был засунут в грудной карман мокрой куртки. Меньше всего мне, голодному и уставшему, сейчас хотелось говорить с кем бы то ни было. От звучания этого проклятого телефона заболела голова. Я нажал кончиками пальцев на виски и закрыл глаза. Ощущалось, что мать за дверью ослабила защитный хват и даже убрала ногу от стены. Теперь она только тихонько всхлипывала, едва шевелясь за дверью. Все это говорило о том, что конфликт идет на убыль. Но я знал наверняка, что в любой момент она будет готова обороняться еще отчаяние, чем минуту назад. Часто бывало, что после временного охлаждения, через какое-то время, я набрасывался на нее с еще большей злобой. Она знала об этом, потому была настороже.

В конце концов, я расстегнул карман куртки и схватил чертов телефон. Звонил наш вожак. «Кэп Ожиданный», как мы с ребятами из

боевого корпуса его прозвали. «Ожиданный» потому, что при стычках с нашими идеологическими врагами он ожидаемо бил их беспощадно. Во время тренировок, в спаррингах с ним, он атаковал нас жестко, не жалея нашей плоти. Рослый амбал, под метр девяносто, он имел связи с теми людьми, о которых нам, простым «чернорабочим», знать было не велено. «Иначе я должен буду вас убить», – говорил с ухмылкой он, но почему-то было не смешно. Все знали, он – может.

Что единственно было известно – они, эти люди, через него давали нам деньги за выполнение заданий.

Через пять минут кротко скрипнула дверь, ведущая в столовую. В дверях показалась мать с еще более изможденным, страдальческим видом. Она едва стояла на ногах. Я уже к тому времени окончил разговор и стоял в прихожей, уткнувшись глазами в стену.

– Ну, что там, Антоша? – тем же заботливым голосом, что и тогда, когда я зашел в дом, спросила мать.

Я окончательно охладел и теперь уже думал совсем о другом. О завтрашнем дне. О новом деле, упомянутом Кэпом в разговоре и на которое мне с раннего утра придется выдвигаться. С одной стороны, ранний подъем казался чем-то мучительным, ведь именно теперь я надеялся наконец выспаться, ну а завтра вечером, может, даже встретиться с моей девушкой – Дашкой. С другой стороны, нам срочно нужны были деньги. Спонсор задолжал нам за две предыдущие акции, и вот теперь, после завтрашней акции, по словам Ожиданного, с нами должны будут расплатиться. Представляемая сумма согревала. Хотя ее, конечно, ощипают моментально. Долги за коммунальные, еда, да и Дашка, которую тоже придется выгуливать...

– Ничего. Завтра на работу с утра, – глухо ответил я ей, не поднимая глаз. Не хотелось видеть ее.

– Ну и слава богу... Нам деньги теперь ой как нужны, – сдавленно молвила она и произвела ненавистный мне жест – перекрестила меня. Краем глаза я заметил это. Ненавижу, когда она так делает. Словно умышленно отнимает у меня силы. Я ведь давно отказался от веры в бога. Бойца она делает лишь более слабым и уязвимым. Нам то же говорил Ожиданный на тренингах еще в самом начале, когда макал каждого из нас мордой в грязь. Нам внушали, что мы бойцы-наемники и единственное, во что мы должны верить, – в собственную силу и в важность тех заданий, за выполнение которых нам дают деньги. Но ни сил, ни желания бодаться с матерью сегодня у меня уже не было.

– Пойди кошку лучше покрести, – бросив на нее косою взгляд, я пошел на кухню.

Мурка, которая, вероятно, сейчас лежит в спальне на кровати матери, была любимицей отца. Он кошку любил больше, чем родных людей, которые с ним жили. По крайней мере, я так думаю. К старой Мурке я был равнодушен. О ней пеклась мать. Она служила мне напоминанием об отце. О его пьяных выходках. О его вечных сетованиях на плохую судьбу, которая послала ему «тварь жену» и «ублюдка сына». О его сущности неудачника.

Я поел картошки с остатками найденного в банке малосольного огурца, выпил чаю с сахаром и, наспех почистив зубы, отправился на боковую. Я спал в столовой, на драном раскладном диване, из которого местами торчали пружины. Когда-то на нем спали отец и мать, а я спал в соседней комнате. Теперь там мать, а я здесь – перекатываюсь между впадинами на этом скрипучем, старом, серо-зеленом монстре.

Погасив свет, я лег на спину и стал смотреть в потолок. Надо мной о стекла балкона стучал дождь. Сверху я укрылся пледом. В начале ноября отопление еще не включили, а квартира наша уже была холодной.

Через стену я слышу, как ворочается мать. Время от времени она всхлипывает. Меня начинает одолевать чувство вины. На душе становится горько.

«Вновь не сдержался», – подумал я. Ее ночные страдания могут длиться долго. После отцовских побоев она приходила спать ко мне в спальню. Она могла проплакать всю ночь. Иногда мы с ней переговаривались. Я пытался ее утешать. Тогда было очень жалко ее. Теперь она плачет уже из-за меня. И мне тоже ее жаль. Но уже почему-то не так. Видимо, когда кто-то другой является причиной страданий родного человека, мы жалеем его больше. Впрочем, я и сам за последние годы очень изменился. Стал более глухим, толстокожим. Непробиваемым, что ли. Но при моей работе нельзя иначе, я так себя убеждаю.

А ведь мать плачет в соседней комнате не столько из-за моего агрессивного поведения... К нему за годы еще отцовского, более серьезного насилия она привыкла. Конечно, привыкнуть к такому полностью нельзя, но горестные ощущения все-таки притупляются от повторений. Реакции, послевкусие – уже не те. Это заметно. Я это точно знаю. А вот с моей работой, как она не раз выражалась – «скотской», свыкнуться никак не может.

Завтра, седьмого ноября, как сказал мне Ожиданный, у ваты намечается какой-то праздник. Ребята почти никогда не спрашивают подробностей – что за мероприятие, кто там возникает и почему. Не нужно нам оно. Наша задача обычно заключается в малом: потолкались, покричали стадионные кричалки. Ну, в случае чего еще в табло одному-другому врагу нации дали. «Они ведь предатели, их не жалко», – так настраивали нас еще перед первой стычкой.

Мент нынче не тот пошел. Новая власть сформировала какие-то отряды из журнальных мальчиков и девочек. Максимум – будут предпринимать попытки оторвать нас от ваты. Заключение за подобное не грозит. Мы ведь, можно сказать, сегодня вторая полиция в стране.

Вот и завтра – что за сборище в центре города намечается – черт его знает. Кэп только сообщил, что принимает участие в нем какая-то партия пенсионеров. Ну а мы выдвигаемся навстречу. Чаше всего с пожилыми нам и приходится иметь дело. До рукоприкладства доходит нечасто. Так, скорее потолкаться. Оттеснить иного старпера и заткнуть его поганый ватный рот ватой! Ха, а ведь неплохо сказал...

Рано утром я уже в скверике. Точкой нашего сбора был объявлен этот небольшой сквер, который находится прямо у выхода из метро, за пешеходной дорогой. Это центр города. Здесь находится памятник архитектуры, который очень любят смотреть приезжие. Типа кусок какой-то древней постройки, еще со времен Руси.

Про Русь нам тоже немного рассказывал Кэп. Он говорил, что мы – настоящие потомки русичей, а вся вата – это ордынцы. И потому мы избранные, мы должны доминировать на своей земле и их гасить. Оставалось только поверить ему на слово. Сам я про Русь когда-то в школе немного читать пытался, да все давно выветрилось из головы.

Впрочем, версия Ожиданного пацанам пришлась по душе даже без каких-то подтверждений. Круто ощущать себя доминантой.

Утро серое, холодное, хоть дождя и нет. Мы втроем: я, Жека и тоже Тоха, – сидим на деревянных черных лавках. Они сырые, но мы за пол-

часа успели немного нагреть и осушить их задницами. Лавки вмонтировали в цементные ограждения и тянутся они по всей площади сквера, сплошной линией по прямоугольнику.

Мы пришли первыми. Уже традиционно успели бахнуть по пиву для уверенности перед предстоящим заданием. Я с утра наспех перехватил вермишель. Вместо приятной сытости кажется, будто накидал в желудок камней. После пивасика вначале даже слегка подташнивало, но все быстро утряслось.

Я сижу по центру. Слева от меня сидит Жека. Подстриженный под ноль, с темной бородой, низкорослый, но накачанный и крепкий парень. На нем спортивный костюм и еще сверху зимняя куртка. Жеку уважаем за то, что всегда говорит по существу. Также он один среди нас прошел полосу препятствий в одном популярном бойцовском сообществе. Он этим очень гордился. Говорят, там даже опытные бойцы, бывало, ломались. Хотя Ожиданный считает, что это полная туфта и лажа.

Справа сидит тезка – Тоха. Он весь в черном. Весь какой-то вытянутый и худой, и у него лицо уголовника. Взгляд прожженного бандюка. Говорят, ранее он приторговывал наркотой и даже несколько лет отсидел в колонии. Правда это или нет – мне точно неизвестно, но знаю точно, что у Тохи крепкие кости.

Я надел все то же, что и вчера. Только снизу еще утеплился одним свитером. Мамаша настояла.

– Я так понял, – начал Жека, – вата быковать собирается прям тут за углом, на площади, возле этого... театра. Так нормик вообще. Идти далеко не придется.

Он оглядывается по сторонам. Высматривает на всякий случай – не вызываем ли мы подозрения у патруля. Вокруг нас пробегают люди. Спешат на работу, видимо. Тут везде элитные постройки, в которых висают высокооплачиваемые кадры. По крайней мере, мне так думается.

Прямо перед нами через скверик пробегает девушка в облегающем пальто. Все мы синхронно поворачиваем головы, глядя ей вослед. За ней тянется приятный запах каких-то дорогих духов. Девушка красивая. Она говорит по телефону и пролетает мимо нас очень быстро. Не обращает на сидящих никакого внимания. Женя что-то сказал про ее ягодицы. Мы поддержали. Мне сразу вспомнилась задница Даши. Она этой стопроцентно уступала.

– Так вообще хорош, – подхватил первую мысль Жеки про выступление ваты Тоха. Голос у него всегда хриплый, будто сорванный. – Ща ребятки подойдут, из-за угла вынырнем неожиданно и люлей ватаманам накидаем... Ага, вот так вот – лови, с-сука! – Жека махнул рукой, показывая, как будет бить вату.

– Неожиданно? – подметил я, – Ты че, Кэпа вспомнил? Ожиданно вынырнем. Ожиданно всыпем падлам!

Почему-то в среде пацанов всегда хотелось говорить более грубым голосом. Все мы втроем одобрительно заржали, типа я сказал что-то меткое.

– И да, доминантам не пристало выныривать неожиданно, – решил продолжить мысль я. – Мы всегда в открытую идем, всегда ожидаанно караем! Н-на! – теперь уже я резко хлопнул ладонью по своему колену, не желая отставать от Жеки. И опять дружно смеемся. Потом ненадолго наступает затишье.

– А че там по поводу бабла? – вдруг спросил Жека, сузив глаза.

– Ожидка говорит – сегодня расчет. Ожидка просто так слова не говорит, – хрипло ответил Тоха и вытаращил на Жеку свой уголовный глаз. Потом он перевел взгляд на сырую бледно-желтую плитку у нас под ногами.

Нам было известно, что Жеке каким-то образом удалось найти девушку из благополучного района. И теперь он вроде как собирался переезжать к ней. Бабки нужны были ему теперь не так, как нам.

Тоха, насколько я знаю, вообще перебивается по общагам. То у одного знакомого заночует, то у другого. Даже не представляю, как выживает. Хотя он говорить о своей жизни вообще не любит. Один раз ко мне просился переночевать, да я отказал. Мамаша, его увидав, такой бы скандал устроила, что и не загасил бы. До крайностей пошла бы в сопротивлении. Иногда она может. Но если честно, мне и самому не хотелось его в хату пускать тогда. Как-то не доверяю я ему, что ли. Хотя побазарить иногда с ним можно нормально...

А день сегодня какой-то неприятный. Сырость очень высокая, вокруг прозрачный туман, и, сидя, я чувствую, как втягиваю в себя нездоровый воздух. Думать трудно. Хотя, в принципе, думать особо-то и не о чем. Смотрю на безоблачного Жеку и понимаю, что ему все нипочем. Перевожу взгляд на Тоху. Он все так же спокойно таращит свой уголовный и какой-то демонический глаз.

Через минуту на выходе из метро появляются Ожиданный, Горилла и Сухарик, а с ними еще с десятков наших ребят. Молодые быки, идущие стаей, очень выделяются на фоне остальных прохожих. Будто какое-то черное, крупное пятно. Кэп привычно в своем счастливом темном кепарике с белой надписью «Резо». Шагает он уверенно, впереди всех, как солдат фортуны, с жесткой улыбкой на лице. Горилла – его правая рука – по габаритам ему не уступает. Но у него лицо попроще, поглупее, что ли. Он у нас чисто тараном служит. А если нужно как-то тоньше думать, в таких ситуациях он не годится. Чуть вправо-влево от своей ломовой роли – и он уже теряется. И еще ходит он точно как горилла. Ну, не совсем, но очень похоже. При ходьбе руки у него болтаются взад-вперед. Сухарик? Ну а Сухарик... он просто Сухарик. Невысокий, плотный и с темными глазами хищной рыбы. Очень любит пожирать «Три корочки» и выставлять в нете видосы с нашими акциями и свои фотки, где он держит в руке свой пневмат. Висит там под ником Фабрицио. Из-за фоток с пневматом пацаны над ним прикалываются. Говорят, мол, «не позорься, лол». А он им: «Вы не шарите, это очень круто и грозно, чтоб тролли ватные боялись стрелы забивать».

Наши парни подходят, и Кэп громогласно нас приветствует. Каждому из нас он крепко жмет руку. Тот же ритуал проделывают и все остальные пацаны. Меня радует их пришествие. Настроение сразу поднимается, сразу чувствуется оживление какое. Все мы заряжены на общее дело, как воины перед битвой. И ответственность за ее исход нам делить всем вместе. Короче, если провести параллель с компьютерной игрушкой, в окружении своих пацанов из национального корпуса ты получаешь +1 к боевому духу.

Вскоре из-за угла длинного, прямоугольного здания, которое есть продолжение театра, со стороны противоположной той, где проходит ватная демонстрация, появляются ребята ультрас. Они не шифруются. Передние пацаны в строе держат национальные флаги. Ребят достаточно много, еще больше, чем нас, и, похоже, среди них есть даже бэбики – школата, желающая принять участие в схватке. Мелкие орут громче

всех: «Мы – едины! Мы – непобедимы! Слава нации! Смерть врагам!» Известно, что кидать их в бой выгоднее. Ведь в случае нанесения ударов даже крайней тяжести их могут оправдать по малолетству.

Колонну ультрас привычно возглавляет Сирена. Сирена – потому что на стадионе во время матчей он первым заводит кричалки и звучит громче всех. Парень он симпатичный, с прикольной причей на голове и черной змеиной татухой на шее. Она просматривается у него даже через куртку. Татух у него на теле вообще много, на стадионе я видел не раз. Есть даже рейховские: и свастика, и орел. Наши пацаны этим пока не болеют. Мало у кого из наших татухи есть, да и прича по классике – ноль или боксерская, суперкоротко. Вообще раньше у ультрасов мода тоже была пацанская – бритые головы. Это только в последнее время начали появляться хохолки и вот такие челочки, как у Сирены, а-ля фюрер. А теперь еще эти татухи... Как-то по-бабски все это выглядит. Да и не по профессии нашей, если вообще так можно называть то, чем мы занимаемся.

Известно, что Сирена учился в универе. И даже вроде как неплохо. Он активно продвигает теорию арийского превосходства. Половина пацанов из ультрас подсели на эту арийскую тему. Точно всех нюансов не знаю, но знаю, что он вычитал где-то подтверждение, что арийские корни есть и у нас.

Столпотворение в скверике вызывает у прохожих реакцию, теперь это заметно. Люди с какой-то опаской начинают оглядываться на нас и через сквер теперь не идут, а идут в обход. В такие моменты, в кругу других пацанов, ощущаешь свою силу. На самом деле осознавать, что тебя боятся, очень приятно. И я уверен, что к этому стремятся многие. Потому и арийская тема воспринимается многими нашими парнями на ура. Мне она тоже по душе. Правда, насчет наличия этих корней, которые типа есть у нас, а потому дают нам право выступать с позиции силы, – ничего сказать не могу. Конечно, странно, как они к нам попали «через Север», как говорил Сирена. Но теория сама по себе выгодная, для настоящего пацана – тем паче. Это да.

Ожиданный и Сирена по-братски жмут друг другу руки. Потом приветствуют друг друга выбрасываниями рук с криком: «Слава нации!» Таким же образом братаемся и мы с пацанами из ультрас. Мелкие у них все ритуалы выполняют особенно усердно.

И все-таки Кэп выглядит убедительнее, чем Сирена. Наши его точно больше уважают. За глаза Ожиданный, бывало, называл Сирену инфантильным.

Подымается гомон. Вижу краем глаза, как со стороны дороги, ведущей вниз к центру, на нас поглядывают копы из патрульной машины.

– Ого-го-о! Шашлык-машлык... Ого-го-о, вкусняхе быть! – зазвучало в стане ультрас. Под «шашлыком» здесь надо понимать акт сожжения, то есть то, на что мы готовы пойти в борьбе с ватой в самом крайнем случае.

– Фаеры прихватили? – спрашивает Кэп у Сирены.

– Все будет... Все будет по высшему разряду, – отвечает ему Сирена своим сильным, немного сорванным голосом и указывает на портфели малолеток, в которых наверняка есть фаеры. Мелкие возбужденно ржут.

– Есть даже и «томатное», – говорит предводитель ультрас и показывает намотанную на руку цепь. Некоторые другие парни из фанатского корпуса тоже демонстрируют свои костяшки, окутанные цепями.

– Ова, а это дело! – прохрипел Антоха и, разинув рот, показал свои волчьи зубы.

В скверике будто даже теплее стало от дыхания молодых, полных сил и энергии тел. Пока Сирена и Кэп проводят осмотр прибывших парней, к нам, сидящим на лавках, подходит громадный Горилла.

– Э, вы че, в интеллигенцию записались? – Очевидно, он обратился ко мне, так как заметил, что я сижу, запрокинув ногу на ногу. Я что-то пробурчал ему в ответ, типа «та не гони, Вась», а сам при этом подумал – может, действительно стоит переменить позу, а то еще сочтут ее гейской.

Горилла начал рассказывать сидящим в ряд пацанам из нашего корпуса и теперь тоже ультрасам про то, как он вчера на трене по боксу молотил грушу и с каждым ударом, разя ее все сильнее, вскрикивал: «Вата, сука!» Так он стимулировал себя, чтоб работать активнее.

Среди общего говора было сложно что-либо разобрать. Все парни находились в возбужденном состоянии и желали побыстрее столкнуться с ненавистными «врагами народа». Конечной целью, которую вроде как мы все осознавали, должно было стать полное очищение нашей страны от ватников и предателей. Впрочем, во имя чего это непременно нужно сделать, было не совсем понятно. Нет, предатели, конечно, должны сгинуть. Но вот если представить, что их уже не осталось... Вообще нигде... Точно ли нам станет жить лучше, нам – не предателям? Ведь, если разобраться, что значит «жить лучше»? Ну, типа жить в мире, процветать финансово. Но вот я смотрю на наших пацанов, многих из которых уже по тридцатке, а то и больше, – гляжу на них и не представляю, как они смогут жить в мире. Мне кажется, они чувствуют себя в порядке только когда рвут кого-то на стадионе, на стрелке или на митинге или что-то ломают... Ну а ультрасы? Их наколки рейховские, они, насколько я понимаю, тоже не к миру зовут...

Может, финансы наши без предателей пойдут в гору и наконец не будет долгов за коммунальные? Наконец мы сможем купить еду, нормальную еду? Но неужели это тоже зависит от присутствия или отсутствия ваты в нашей жизни? Почему-то я в это не верю.

Мне кажется, многие из нас страдают от безденежья потому, что просто делать ничего не умеют. И не хотят даже постараться сделать какое-то усилие над собой, чтоб как-то стать лучше, чтобы знать больше... Ну, вот Горилла сказал: «интеллигенция». Может, наш народ, многие из нас, живет сегодня в бедности и разрухе именно потому, что нет этой самой настоящей интеллигенции: по-настоящему умных и культурных людей, хоть бы и таких, как Ваня, которые могли бы что-то создавать, предлагать какие-то умные, нормальные идеи и вести людей за собой?

С другой стороны, опять же Сирена... Он пацан из обеспеченной семьи, насколько мне известно. Достаточно башковитый, умеет завести народ. В универе учился и даже хорошо его окончил. Но можно ли его назвать «интеллигенцией»? Вот мы с Жекой, Тохой и Гориллой универов не оканчивали, а не многим от него отличаемся. И ничего нового или умного за все время, сколько я его знаю, я от него не услышал. Что через него бабки текут... Так это оттого, что папка его в структуре футбольного клуба работает, Ожиданный рассказывал. Его ли в том заслуга? По мне так лучше, чтобы в будущем страной правили такие, как Ваня, а не такие, как Сирена.

На время меня словно оторвало от этой реальности, от этого сквера и от привычного окружения молодых бойцов. Я погрузился в свои случайные мысли и пытался отыскать какие-то ответы...

– Уважаемые единомышленники, – вдруг зазвучал громкоговоритель, – мы собрались сегодня здесь, чтобы защитить историю, нашу историю, права на которую нас сегодня пытаются лишить! Сегодня мы отмечаем памятную дату – день Октябрьской революции 1917 года. И как бы мы все ни относились к этому событию – это наша история, это наша память! Сегодняшняя власть, принимая все новые ограничения, цинично пытается ее истребить! Она отнимает у молодого поколения право знать свою историю, право гордиться своими предками! – Это гремело с широкой площади, раскинувшейся у театра. Все наши бойцы внезапно притихли, словно перед бурей, слушая голос пожилого «предателя». Но уже в следующий миг раздался охотничий рев, как в стае хищников, которые учуяли запах крови.

– А-а-а, на барбекю-у! – заорали в один голос наши пацаны и ультра-сы, одновременно направив свои взгляды сквозь кирпичную стену, через высокую тянущуюся постройку туда, откуда донесся призыв и где, по-видимому, уже собрались все ватаны. Мы почти синхронно вскочили с сидений. В центре появилась фигура Ожиданного. Он принял свою фирменную позу авторитета – сложив крепкие руки на груди, он уверенно смотрел из-под кепки на ребят из нацкорпуса, которые стояли полукругом напротив него. Однако речь его была обращена ко всем, и к ультрасам в том числе. Сирена стоял с боку от него, ближе к своим, и, держа руки в карманах, приготовился внимательно слушать.

– Значит, так, – привычно начал Кэп. – Разведка доложила, что вата сгрудилась на площади перед театром, между первым рядом ступеней и вторым. То есть – заняла высоту. Лицевая часть здания оцеплена копами....

При упоминании о копах некоторые наши пацаны заржали.

– Это цветные, что ль?! – послышалось в среде ультрас.

– Какие ни есть, а копы, – серьезно ответил Кэп. – Вату по линии первых ступеней тоже прикрывают две колонны копов. Сепаров там немного, а потому оградили их без труда и умело. О том, что мы идем, им тоже известно. Стычки ожидают и те и другие. Это ясно. Далее, – без какой-либо остановки продолжал Кэп. – У ультрасов есть метательные снаряды: помидоры, камни, яичные, – тут он как-то странно усмехнулся и повернул голову в сторону Сирены. Тот в ответ тоже заулыбался. Ультрасы начали задорно шарить по карманам.

– Там много чего найдется, – со знанием дела ответил предводитель фанатского корпуса.

– Это хорошо, – одобрил Ожиданный и вновь продолжил давать указания: – Подходим несколькими колоннами, один за другим, максимумно близко к копам. Потом рассыпаемся в шеренгу, давим по всему фронту и забрасываем ватных ублюдков всем, что попадет под руку! Если мелким, – тут он указательным пальцем отыскал молокососов с портфелями, – удастся поджарить фаерами сепаров, пусть считают, что боевое крещение прошли.

– Мочи их нещадно, братва! – заорал, кажется, Сухарик, сверкнув своими глазами хищной рыбы или рептилии. Пацаны поддержали его призыв.

– При случае, – напоследок обратился к нам Кэп, – можно и крючком попытаться достать или, на крайняк, ботинком... Впрочем, не мне вас учить. Но по копам не целим! Это ясно? Мне потом нефиг делать – из обезьянника вас доставать...

Бойцы отреагировали утвердительно.

– Короче, сколько пространства дадут – на столько и щемим! – подхватил Сирена своим высоким подростковым голосом. – Максималька – это оттеснить их к верхним ступеням, чтоб при переходе попадали нахрен на свои ватные сидалища! – кончил он свою мысль и, привычно выбросив руку, заорал: – Ого-го-о, шашлык-машлык! Ого-го-о, вкусняхе бы-ыть!

За ним подхватили сперва ультрасы, а потом и мы.

Потом все стали организованно строиться в колонны.

По бокам шли малолетки-знаменосцы. Они шли как-то неестественно, слишком выгнув свои щуплые спины, спрятанные под толстыми пуховыми куртками, которые им купили родители. Наверняка прогуливают школу...

Знаю точно, что сегодня на базе нашего корпуса формируют отряды из тингов. Помню, мы с пацанами угорали со смеху, когда слушали одного из таких «защитников государства». Он рассказывал нам, что ему дает членство в национальном корпусе. Пятнадцатилетний тощий тин с неравномерно бритой, пятнистой и маленькой головой, по форме напоминавшей яйцо, со следом драки на губе и как будто обидой в глазах, – он доказывал нам в зале, что теперь он независим. Говорил речитативом, топыря пальцы. Мол, учителя в школе теперь боятся ему двойки ставить. Телочки в классе как-то по-другому начали на него смотреть, а пацаны-однокашники зауважали и теперь быковать на него не осмеливаются.

Как все это знакомо. Все мы тогда себя самих в нем видели, в том возрасте. Интересно еще... вот я думаю: почему почти все тины в нашей стране, да и не только в нашей, наверно, именно такие, как этот? Ну, или в каждом почти есть что-то от него? Хоть этих наших возьми, знаменосцев... Вот ему только пятнадцать лет, а в нем уже столько дерьма. Во взгляде его, в разговоре, во всех движениях оно ощущается и словно прорывается наружу. Говорят, что типа это подростковое и что со временем оно проходит. Но я смотрю на нас, бородатых тридцатилетних мужиков, и понимаю, что оно ни фига не проходит. Опыта жизненного становится больше, да. Но невежества меньше не становится. Мы все какие-то ограниченные. Вот тот, подростковый, круг интересов – он остается для нас по-прежнему основным. И потому я думаю – может ли быть иначе? Может. У меня есть примеры. Но это исключения из общей массы. А в большинстве случаев все остается неизменным: привычки, мысли, цели и желания. Все, все то, от чего мы получали удовольствие, будучи школьниками, – все это, как и раньше, представляет для нас первую ценность. И вот я смотрю сейчас на этих мелких... теперь и они движутся по тому же пути. Это уже сейчас понятно. Но вот еще... ведь из ниоткуда что-то не берется, правильно? Значит, вся наша жизнь построена таким образом, что мы впитываем в себя с малых лет все самое худшее. И оно потом на протяжении многих лет, если не всей жизни, руководит нами. И нет какой-то альтернативы, что ли... Но если подумать, содержание того, что мы впитываем, может быть другим? Ведь может. Может же! Подростки впитывают в себя худшее из каких-то источников, верно? Значит, сами эти источники загажены доверху. Значит, они, источники эти, специально работают на то, чтоб люди вырастали такими, какие сегодня есть большинство жителей нашей страны, – необразованными, не знающими культуры, каких-либо манер. Ну а что если источники очистить от грязи и наполнить их чем-то другим?

Черт, почему эти бесполезные мысли нападают на меня именно теперь, перед делом, от удачного завершения которого зависят мои бабки? Голова уже от них трещит. А нужно сконцентрироваться на вате. Теперь очень надо.

Наш суровый отряд уже вывалился за пределы скверика. Мы зашли за угол продолговатого здания, «лицо» которого ранее было обращено к нам харчевнями и станцией метро. Теперь мы спускаемся вниз, к площади. Слева от нас – центральная дорога. Там стабильно по утрам пробак. Справа – все то же здание, только теперь нам подмигивают банковские конторы, дорогие салоны и магазины топовых шмоток. Боковая часть здания цвета плесени.

Мы движемся под громкие возгласы. Я ограничиваюсь коротким: «Слава нации! Смерть врагам!» Кричать что-то другое, более длинное, запахло. Поднимаю настроение, штучно накручивая себя изнутри. Пацаны же разоряются во все горло про «шашлык», про «чемодан и вокзал». Впереди, прямо перед выходом на площадь, откуда на нас уже устремили взгляды копы (а их здесь до фига и больше), путь нашим колоннам перегородила дорогая иномарка. Нам приходится аккуратно обходить ее. Строй от этого немного рушится. Горилла, идущий следом за Кэпом и Сиреной, замахнулся на машину кулаком, как будто желая ее ударить.

– Так бы и раздробил на хрен! Не, ну какой урод здесь ее поставил?! – Но двинуть по «ламборджини» он, конечно, не осмелился. Что, если она принадлежит кому-то из тех, кто платит нам за акции? Ведь тогда Гориллу просто сожгут заживо.

Я иду по левую сторону, прижимаясь к дороге. Из машин на нас с любопытством смотрят люди, как на каких-то редких зверей в зоопарке. Я улавливаю их взгляды, и мне это не нравится. Некоторые автомобилисты начинают сигналить. Что они хотят этим сказать? Наверное, выражают свою поддержку.

Наконец мы веером вываливаемся на площадь. Здесь, на широком пространстве перед театром, всегда сильный ветер. Он ударяет мне в лицо холодом, я хмурюсь. Некоторые ультрасы к этому времени успевают натянуть на лица темные балаклавы. Перестроившись вновь, мы организованно движемся по направлению к стоянке ваты. Даже издали можно определить, что их не больше сотни человек. Они выстроились в два ряда, между первыми ступенями на возвышенности и вторыми, ведущими уже к театру. Те, которые стоят в центре, удерживают плакат. «Не отдадим свою историю преступному режиму» – выведено на нем красным жирным шрифтом. Точно красная тряпка для нас.

– Пацаны, давай металку! Сейчас будем жучить эту мразоту! – звонко скомандовал Сирена идущим позади. – О-о-о! – отозвались мы хором на его призыв.

Ребята повытаскивали из карманов предметы, заготовленные для метания: помидоры, яйца, камни. Я тоже намутил себе томат, изъясил его у одного малолетнего ультраса.

Заметив, как быстро мы приближаемся, копы организованно смыкаются перед первыми ступенями. Таким образом они защищают вату с фронта. Я вижу, как стражи порядка медленно берут нас в кольцо, поджимая с боков. Взглядом они выискивают опасные предметы, которые можно использовать при метании.

Кэп твердо шагает впереди и грозно глядит на копов, преграждающих нам путь. Но в момент, когда до столкновения с копами остаются

считанные метры, он резко останавливается. Вместе с ним затормозили и все мы. Это отработанная схема командора. Через мгновение он поднимет обе руки, повернутые ребром ладони в сторону копов и ваты. Это послужит для нас сигналом к наступлению. Мы перекинемся вплотную к стражам и будем пытаться всеми возможными способами достать через них до сепаров, а Ожиданный, как тот персидский король из фильма про Македонского, будет руководить боевыми действиями.

С самого начала, как только мы вышли из-за угла, из стана ваты на нас посыпались проклятия и оскорбления. «Нацизм не пройдет! Зачем вы пришли сюда?! Убирайтесь вон!» – кричали они нам, в то время как мы нашей суровой стаей приближались.

Среди них большинство – пожилые люди. Теперь это заметно. Молодежи почти нет. Мне удастся уловить очертания нескольких молодых девушек, стоящих в рядах. Одну – в центре ватного сборища, за широким плакатом, другую – на левом фланге сверху. Та, что стоит по центру, кажется более симпатичной.

Наконец Ожиданный дает сигнал. По команде мы начинаем движение вперед. Мы прем на митингеров и к первой копской цепочке, застывшей намертво. С боков в то же время нас начинают прессинговать другие стражи. Вот я уже вижу перед собой напряженные лица копов передней, сдерживающей линии. Эти ребята нервничают и, очевидно, в любой момент готовы применить шокеры, резиновые дубинки, скручивания вручную.

После молниеносного рывка мы резко тормозим прямо перед лицами стражей. Теперь сепаров можно разглядеть получше. Адекватные силы у них отсутствуют. Первое впечатление подтвердилось: пожилухи, дедки и пара молоденьких цып – вот и вся ватная армия. Пацаны это тоже замечают. Ощущение перевеса в физической силе опьяняет их. Они сатанеют. Чувствуется злобное, раздраженное дыхание крупного зверя, наблюдающего за беспомощной добычей. На меня же в этот момент находит какое-то отупение. Ничего не испытываю, просто понимаю, что нужно как можно лучше выполнить работу. Бабки нужны позарез.

– Прыгайте отсюда, суки! Сожжем! – страшно заорал Сирена.

– Слышь, мразота, трубу положи и иди сюда! Я тебя жрать буду! – прорычал возле меня Тоха и направил всю свою уголовную энергетику на дедка с громкоговорителем. Тоха угрожающе потянул свою руку в его сторону между головами двух копов. Один из стражей при этом, кажется, произнес: «Спокойнее». Копы крепко держали друг друга под руки.

– Ты чего пришел сюда? Мы вас не трогаем – и вы нас не трогайте! Лбы молодые, здоровые... как не стыдно! Дела найти себе не можете? – прокричал слабым голосом дед Тохе.

Это замечание вывело из себя и меня. Ведь мы здесь и заняты делом. Мы защищаем страну от таких ватанов, как он. Вставать рано и идти на дело, рискуя собой, почти ежедневно трепаться в зале... и после этого я – бездельник, значит?! Да этот старый пень даже не представляет, что такое настоящие нагрузки. Он тяжелее банана в своей жизни ничего и не держал!

Это замечание про бездельников вызвало особую реакцию и у других пацанов.

– Хрыч старый, ты – наше дело! – закричал я, уткнувшись твердой прокачанной грудью в низкорослого, но крепкого копа. Я услышал,

как он со злобой в голосе обратился ко мне: «Сохраняй дистанцию» и сверкнул черными глазами исподлобья.

– Иди сюда, чудовище лесное, бабенка ссыкливая! – донеслось с правого фланга ультрасов. – Думаешь, не достану тебя?! К праотцам отправлю, суку! – разъяренно бросил деду Сирена.

– Сюда, сюда иди! Что, обгадился?! – задорно прикрикнул Жека, не отставая от других. Наши голоса, при итоговом подсчете, это тоже наша активность, а значит – и наши деньги.

– Мальчики, если у вас силы столько, почему воевать не едете? Что, с нами, пенсионерами, воевать собрались? Да много ли в том чести?! – крикнула нам с первого ряда седая морщинистая тетка. Из-под плаката помимо лица торчал только воротник ее бледно-розовой куртки.

– А у них смелости не хватает! Там ведь и убить могут! С тем, кто слабее тебя, справиться, конечно, проще! – тут же поддержала пенсионерку та молодая симпатичная девушка, которую я увидел еще издали. Она стояла рядом с дедком-заводилой, тоже за плакатом. Девушка бросила нам это с очевидным упреком, она выглядела почти бесстрашной в этот момент. Теперь я мог разглядеть ее получше. Мне понравилось ее лицо. И длинные каштановые волосы. И серое пальто, едва видимое, но которое, очевидно, хорошо сидело на ней.

Я прочел по губам, как дед с громкоговорителем тихо шепнул ей на ухо: «Оля (или Юля), не нужно...» При этом он сделал движение рукой, как бы желая сказать: «Не провоцируй ты этих».

– Слышь, овца, ты к нам сюда спустишь, мы тут силу тебе покажем! И силой тебя возьмем! – тут же крикнул девушке Сирена. Мне это как-то не понравилось.

– Ага-ага, киса, иди-ко к нам! У тебя секаса давно не было, видно?! Шо, дома не сидится?! – посыпались на девушку с разных сторон оскорбления. Но меня, в отличие от наглого дедка, она не раздражала. Пацаны же, наоборот, злобно ржали, осыпали ее пошлостями и самыми грязными словами.

Девушка молча и теперь уже испуганно смотрела в нашу сторону.

– Пацаны, давай снаряды! Ща покажем этим ватным вылупкам! – прокричал Сирена, и по его команде в руках у пацанов появились заготовленные боеприпасы. Мгновенно в митингующих полетели разные предметы. Я киданул помидор куда-то в дальний левый участок, специально подальше от той девушки. Ватники начали охать и закрывать лица рукавами. В деда с громкоговорителем прилетело несколько яиц, но он все еще продолжал стойко удерживать свою позицию. Плакат разошелся пятнами от томатов. Копы, и так поджимавшие нас со сторон, сразу после артподготовки взяли нас в клещи. Они начали демонстративно хватать стоящих с краю за руки, делая показушные замечания: «Ничего не кидать!» Меня один из них, тоже шкет, схватил за локоть. Захотелось на инстинкте врезать ему с правой, но я сдержался.

– Шо ты?! Я чист, вот... То помидорка прилетела. И шо?! – я показательно развел руками, указывая на то, что ничего запрещенного с собой не принес.

– Слышь, рагуль, смотри ж... Потом найдем, – жестко ответил одному из стражей Жека в ответ на попытку полапать. Тот молча, опустив взгляд, продолжал его ощупывать.

– Не быкуйте. Общее дело делаем! – по-домашнему обратился Ожиданный к копам, стоя немного в стороне в своей фирменной нерушимой позе наблюдателя. Копы к нему не подлезали.

– Ах вы, сволочи! Гады эдакие! – полилось в ответ на нашу метательную атаку из ватного стана. Некоторые из митингеров повынимали платки, стирая с лиц и верхней одежды следы от продуктов. Казалось, они уже были почти деморализованы. Утерлись, одним словом. Последним оплотом оставался только их предводитель – лысый старый ватан, по-прежнему державший спину прямо.

После артиллерийского огня последовал, как и водится, прорыв. Перед нами стояла задача – во что бы то ни стало сорвать этот ватный шабаш, и лучшего момента нельзя было придумать.

– Я тебе плакат в задницу запихну сейчас, упырь старый! – вдруг заорал Горилла, наш проверенный, закаленный в боях таран, и бросился через сомкнутых копов к плакату. Он специально притаился в самом конце, чтобы в нужное время набрать разгон и потом, маневрируя между пацанами, неожиданно выпрыгнуть из толпы, пробить собою живой заслон.

Пацаны поддерживали его прорыв громкими возгласами.

– Гориллка, давай! Встревай! – вопил возбужденный Сирена, пританцовывая на месте. Громадный бык, Горилла сперва буквально повис на копах, на замке сложенном из двух тренированных рук. Но через миг он потянул уже нескольких стражей за собой к земле. Потом, быстрее всех сориентировавшись на сырой плитке, он снова резко вскочил на свои мощные ноги, бросился к первому ватному ряду и что есть силы рванул неугодный плакат.

Тут же на помощь рухнувшим копам пришло подкрепление. Они попытались схватить Гориллу под руки, но он начал отчаянно сопротивляться. Падение плаката разоблачило дедовскую военную форму. Теперь дедок с громкоговорителем стоял перед нами весь в орденах, они светились на его старой шинели. Среди них были красные, белые звезды, головы каких-то мужиков. Казалось, некоторые из них я уже видел.

– Ах ты, дрянь такая! – рассержено отреагировал дед на падение плаката и, бросив на землю громкоговоритель, подлетел совсем не постариковски к Горилле, которого оттащивали копы. Своим ботинком дед пнул его в ногу. На черной штанине Гориллы тотчас появился грязный след от попадания.

– Убью, сука! – яростно заорал Горилла и теперь уже с новой силой бросился в сторону деда. Руки его к этому времени были скованы многочисленными хватами копов. Однако внезапным сближением и мощной подсечкой он сумел сбить старика с ног. Горилла стремился высвободить руки, наброситься на деда еще сверху с кулаками, но, к счастью для старого ватника, руки заблокировали слишком качественно. Он просто навис над лежащим дедом своей могучей грудью.

На защиту парня из нашего корпуса мы бросились не раздумывая. Но с боков нас, точно твердой стеной, поджали копы. Я ощутил, как слева коп всей массой своего тела больно уперся мне в бок. Несмотря на это, мне почти удалось пробиться к старому ублюдку, но преодолеть решающее расстояние мешали стражи. Казалось, они давят отовсюду: с боков, под ногами. В любой момент я был готов принять удар дубинкой в лицо или по башке. Дед, в отличие от других митингеров, не отступил выше. Ему помогли подняться, и теперь он продолжал плевать в сторону скованного по рукам и ногам Гориллы. Чувство самосохранения во мне окончательно притупилось. В ярости мне удалось просунуть свободную руку между копами и сверху захватить деда за

его лысый череп. Я сжимал пальцы как можно сильнее, понимая, что если отпущу – он уйдет от наказания.

– Мр-разь, уничтожу, – прошипел я, задыхаясь от злобы. На тело мое оказывалось со всех сторон страшное давление. Но, охваченный яростью, я не замечал ничего. Я видел только сотрясающего воздух под моим верховым захватом старого ватника. Я чувствовал его гладкую, скользкую голову ладонью, подушками пальцев.

Наконец, не без помощи копов, больно сдавивших мне руку, дед вышел из-под моего захвата и вновь повалился наземь. К нему тут же попытались пробиться пацаны из ультрас через разрыв в коповской линии, но на защиту деда стала та симпатичная девушка.

– А ну назад, ушлепки, иначе!.. – она выставила против лиц ультрасов, максимально близко подошедших к деду, газовый балончик. У находившегося впереди Сирены лицо будто исказилось от страха, и он даже как-то смешно сложил трубочкой свои губы. До этого я не видел его таким никогда.

– Пацаны! – завопил предводитель ультрас не своим голосом. – Пацаны, газовая атака! Отступай!

Девушка не использовала балончик, однако все передовые ультрасы, прикрывая лица рукавами курток, начали в панике перебирать ногами в обратную сторону. Парни из нашего корпуса, наблюдая за этим позорным отступлением, лишь неодобрительно мотали головами со словами: «Блин, ну и ну...»

Деду вновь помогли подняться. На этот раз две какие-то пожилые бабы. И теперь, когда нас снова оттеснили, отряхиваясь, он вполголоса произнес: «Загубленные головы. Не ведают, что делают». Среди общей шумной неразберихи я почему-то отчетливо услышал эти слова. Мой гнев почти сошел на нет. Его затмила боль в боку. Стало даже как-то душно. Я продолжал смотреть на деда, не сводя с него глаз. В какой-то момент мне даже показалось, что я его знаю. Что я где-то видел его прежде. И теперь, будто призрак, он восстал здесь, на площади передо мной. Я посмотрел на свою потную ладонь, которой еще недавно удерживал его лысую башку. И в этот момент меня словно стрелой пронзило воспоминание. Фото, которое когда-то давно, в детстве мне показывала мать. На нем был изображен мой дед, фронтовик, которого при жизни я так ни разу и не увидел. Он умер за несколько лет до моего рождения. Мать рассказывала, что он был шофером на фронте, во время Второй мировой. И теперь я смотрел на этого старого ватника, медленно поднимающегося с земли громкоговоритель, и не мог поверить своим глазам. Он был страшно похож на того, моего родного деда. То фото и этот облик... как две капли воды! Я чувствовал, как на лбу у меня проступает пот. Контролировать тело в орущей толпе становилось все труднее.

И эта звезда у него на груди. И эти редкие волосы на висках!

В какой-то момент дед повернулся ко мне в профиль. Его взгляд, выражавший горечь, разочарование, был устремлен куда-то вдаль. Между нами словно стерлись расстояние и живые препятствия. Через мгновение глаза наши встретились. Не знаю почему, но я был уверен, что сейчас, в эту минуту, это уже не он смотрит на меня, не этот старый хрыч, получивший по заслугам, а мой дед, давно умерший! О жизни которого я не имел ни малейшего понятия. «Боже...» – внезапно пронеслось у меня в голове. Время как будто замедлилось. Я смотрел на него, а он на меня. Он смотрел так, словно хотел обратиться ко мне. Но не от своего имени... Куда девались голоса и звуки, меня окружавшие? Я не мог

пошевелиться. Я не мог отвести взгляд в сторону. Мне был доступен только этот единственный поток, канал, соединявший меня с ним...

– Антоха, ты че?! – вдруг окликнул меня Жека и крепко схватил за руку.

Мы уже были порядком оттеснены. Значит, при отходе ноги мои все-таки двигались в такт с остальными. Хоть я этого и не помню теперь.

– Ничего, – ответил я, взглянув на него рассеянно. – Просто устал, наверно, – и даже как-то по-идиотски улыбнулся.

– Да ты че, крапаль?! – усмехнулся бодро Жека. – Даже в драке по-нормальному не поучаствовали в этот раз. Но бабосики все равно получим. Вишь, ватаны подтерлись и отступают. Карнавала им не будет.

Митингующие, в окружении копов, действительно сваливали. А не-подалеку в фургон паковали Гориллу.

– Волки позорные! – хрипло крикнул Тоха копам, сложив ладони на губах.

– Фу, копы цветные! Мы дули вам в глаза! Фу-бу! – кричали ультрасы, взятые в кольцо. Громче всех разорвался Сирена. Очевидно, он уже отошел от позорного испуга. Но его видели пацаны, и они это ему припомнят. Его авторитет был публично подорван.

– Братва, жду выручку! – крикнул нам Горилла, после чего вместе с несколькими копами исчез в «бобике». Мы его поддержали аплодисментами, а пацаны-ультрас исполнили в его честь привычное: «Ого-го-о!».

– Не паникуй, обезьянка, скоро вытащим! Не впервой уж... – поддержал его Ожиданный и поправил свой кепарик.

Я же чувствовал дикую усталость. Это странное, нездоровое видение, и те ощущения, которые пришли с ним вместе, заставляли меня задуматься о здоровье. «Может, у меня уже крыша едет?.. – в испуге подумал я, стоя среди разгоряченных, скандирующих что-то пацанов. – А может, просто плохо спал... Надо выспаться – и все пройдет!»

После получения бабла, все же в количестве меньшем, чем многие предполагали, было решено завалиться в бар на пивасик. Но у меня с чего-то дико разболелась голова, и я отделился от компании. Дома, к вечеру, я и вовсе разболелся. Давление на мозги стало невыносимым. Мамаша накладывала мне на голову холодные компрессы. Но это не помогало. Я закрывал глаза, и мне все время мерещилось это проклятое фото и вместе с ним этот покоцанный дед на площади. Ощущение слабости физической и моральной меня страшно бесило.

– Это проклятое фото нужно разорвать и выбросить, – сердито сказал я матери, лежа на диване без сил. Она как раз подошла менять компресс.

– Какое фото, Антош? – не без удивления спросила она.

– Да ничего... – помолчав, ответил я.

Теперь мне казалось, что я сморознул дичайшую глупость. Я закрывал глаза, и пораженческие мысли буквально съедали меня.

«Проявил перед пацанами слабость... Хуже этого бабского Сирены! И теперь оправдания ищу... Мистик хренов! Надо было просто рвать, рвать этого старпера... за Гориллу, за наше общее дело! У-ух... но что же так башка-то болит?! Ведь и драки даже не было...»

Елена ТУЛУШЕВА

Родилась в 1986 году в Москве. Окончила Институт психотерапии и клинической психологии и Институт психоанализа, Высшие литературные курсы при Литературном институте имени Горького.

Автор двух книг рассказов и многочисленных публикаций в «Литературной газете», «Литературной России», «Дне литературы», журналах «Наш современник», «Юность», «Роман-газета», «Москва», «Нижний Новгород» и других российских, а также в зарубежных русскоязычных изданиях. Лауреат ряда литературных премий Участница Литературного фестиваля молодых писателей России и Китая в Шанхае (2015), Фестиваля молодых писателей России, Беларуси и Украины в Минске (2016), XIII–XVI Форумов молодых писателей России и зарубежья.

Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

ПЕРВЕНЕЦ

Лида в который раз пыталась сложить ноги поудобнее. Никак не получалось найти нужную позу. Разозлилась, резко встала, но голова закружилась. Снова села на край кровати, начала раздражённо постукивать по холодному металлическому изголовью. Решётки... Везде решётки: на окнах, на кроватях, ещё бы шкафы решётчатые сделали... Ходить от окна до двери надоело. Стала расковыривать трещину в штукатурке на стене. Потом вдруг почувствовала очередные толчки. Подняла футболку и уставилась на свой живот, на котором то появлялись, то исчезали бугорки.

Там что-то происходило. Что-то, что раньше не касалось Лиды. А последние два дня её лишили всего остального мира, и вот она осталась наедине с этими толчками.

Накануне тощая медсестра ставила Лиде капельницу и, видно, от скуки спросила, мол, как зовут. Лида не сразу поняла, про кого она. Та кивнула на живот: «Назовёшь как?» Лида удивлённо разглядывала мужеподобную тётку: сухая, с одутловатым алкогольным лицом и короткой стрижкой под ёжик. Алкоголиков Лида определяла легко, даже тех, кто работал и выглядел прилично. Тётка смотрела безразлично, двигалась как робот. А потом сказала, что надо разговаривать с ребёнком, чтобы слышал голос. Лида только и смогла промямлить: «А о чём?» Медсестра уставилась на Лиду стеклянными глазами: «О погоде».

И вот ребёнок *там* снова шевелился. Кто его знает, просит что-то или просто переворачивается. У него уже есть руки и ноги, наверное... А волосы? Они с волосами рождаются или лысые? Да какая разница.

Лида старалась отгонять эти мысли. Они приводили всё к новым и новым вопросам. А в конце – в конце вообще непонятно. Несколько месяцев получалось об этом не думать. Лида жила с ощущением, что можно будет задуматься потом, что ещё есть время. И вот это «потом» настало. А думать совсем не хотелось. От мыслей в голове начало пульсировать, хотелось бежать отсюда скорее... Лида снова упёрлась взглядом в решётку на окне.

Через три дня она неспешно поднималась по лестнице женской консультации, поторапливаемая Алевтиной – тучной социальной работницей, которая резво семенила, хоть и краснела всё гуще с каждым пролётом. Они опаздывали. Лида специально тянула время при выходе из центра и здесь, в холле поликлиники.

Врачиха приняла вне очереди, хотя и была недовольна. Лида разглядывала непонятные картинки на стенах: развитие плода по месяцам. Фотография девушки на плакате была дополнена рисунками наподобие иллюстраций школьных учебников. Лицо девушки на плакатах не менялось, а живот становился всё больше, эмбрион увеличивался и менял положение. Лиду затошнило. Ей казалось, он какой-то уродливый, скрюченный. Такие кривые ноги наверняка не смогут ходить. Похоже, он был слепым! Лида взглянула на лицо девушки: та выглядела счастливой. С чего бы?

– Так... значит, постановка на учёт, – услышала Лида голос врачихи. – Ты бы ещё на сороковой неделе пришла...

– Да вот как её привезли, так мы сразу к вам, – вступилась ещё не отдышавшаяся Алевтина.

Доктор смерила социального работника недовольным взглядом.

– Где до этого была? Где наблюдалась?

– Да так... – Лида ощутила подкатывающую тошноту, ладони вспотели. Хоть бы отвлечься. Мерзко. Тяга пошла. Сбежать бы скорее, да куда тут. Живот разросся. Жирная утка. Надо хитростью. Как из больницы. Думай. А чем думать, мозг не варит. Сейчас бы хоть один укольчик, хоть маленький. Просто чтоб в себя прийти.

– Доктор, там выписка из детдома. Она как из больнички-то сбежала зимой, так вот её всё искали.

– Я вообще-то не пряталась! – огрызнулась Лида. – В детдоме знали, где я была. Им лень приезжать было.

– Сиди уж! – шикнула Алевтина.

– Ну и где же ты была всё это время? – доктор смотрела мягче, как будто озадаченно. Переводила взгляд с Лидино живота на теребящие край футболки пальцы.

– У молодого человека... своего.

– Молодой! – фыркнула Алевтина. – Сорок шесть лет – юнец просто! Уж ты, Лида, давай тут дуру-то не валяй! Время не тяни. Некогда доктору твои сказки слушать! Наркоманила, так и говори, теперь вот и расхлёбываешь своё! А этого твоего упечь бы пожизненно за такие дела, так ведь никто не займётся! Сам наркоман паршивый и девку за собой уволок!

Медсестра оторвалась от талончиков и нерешительно взглянула на врача. Та, опустив взгляд, чуть хрипло сказала:

– Алина, сходи-ка... К-хм, сходите, пожалуйста, с социальным работником к заведующей, надо оформить документы на государственного ребёнка и рецепты на витамины и молоко.

Медсестра поднялась:

– Идёмте, я вас провожу. Девочка несовершеннолетняя, нужно ваше согласие, как представителя опекуна.

– Да, – окликнула врач. – Потом ждите в коридоре, осмотр буду проводить без посторонних.

– Да я что, я с радостью! Вот только за ней, доктор, глаз да глаз нужен! Вы учтите, из наркологички сбежала, из приюта сбежала, а нам вот теперь отвечай!

– Я поняла, идите.

Врач замолчала. Уставилась куда-то, так и замерла. Потом как будто заметила Лиду и немного нахмурилась.

– Значит, срок беременности не точный?

– Ну да.

– А почему до этого никуда не обратилась? Или обращалась?

– Да как-то не до этого. Виталик сказал, рожай.

– Виталик – это тот мужчина, который старше тебя?

– Да. Наркоман.

– Ты... тоже употребляешь?

– Да. – Лида отвечала быстро, на выдохе, не дослушав вопрос. За последнюю неделю посещения всех этих детских комнат, приютов, инстанций она повторяла свою историю не раз.

– Значит, и во время беременности?

– Да.

– Внутривенно? Как часто?

– Раза три-четыре в неделю, – все так же быстро, пока не передумала говорить как есть.

– Как насчёт стерильности?

– Плохо. Там вон в карте есть все анализы.

Только сейчас врач посмотрела на кипу бумажек, разложенных у неё на столе. В анамнезе значился ВИЧ положительный, впервые выявленный два года назад.

– Это он тебя наградил или кто-то ещё?

– Не, наверное, кто-то ещё. Виталик говорит, он чистый.

– В смысле: говорит? Ты анализы его видела?

– Не-а. А зачем ему врать. Это ж он хотел ребёнка.

– Если ты от него забеременела, то теперь он тоже инфицирован.

– Да?

Врачиха внимательно взглянула, помолчала.

– Так, а что ты думаешь с родами? Тебя вообще кто-то консультировал за это время? Хоть один врач?

– Нет. Я у Виталика жила. Я же сказала. Он говорит, рожай, деньги будут.

– Он говорит, рожай... – эхом повторила врач. – Так, ладно. Нам надо с тобой многое успеть обсудить. Давай попробуем поговорить честно.

– Да я и не вру. Чё теперь врать-то. Только пить очень хочется.

– Сейчас мы обсудим, и попьёшь в коридоре. Лида, твой ребёнок может заразиться от тебя ВИЧ-инфекцией. Но если приложить усилия, он может родиться относительно здоровым.

– Да какой он здоровый, он же уже наркоман там, да? Как я.

– Сейчас речь не об этом. Если сделать кесарево сечение, то риск заражения во время родов значительно снижается. То есть если мы проведём операцию, то он может родиться без ВИЧ, понимаешь?

– А это больно?

– Нет, операция проводится под наркозом и быстрее обычных родов. Потом чуть дольше восстанавливаться, но нам важно сейчас думать не об этом.

– Ну да, я согласна. Только вон соцработники, они же вроде все теперь решают, мне нет восемнадцати.

– Решать будем мы с тобой. Но здесь есть одно «но». Операцию нужно успеть сделать до начала схваток. Обычно на тридцать восьмой неделе. Пока мы не знаем, какой у тебя срок. Но учитывая твои побег...

– Что?

– Ты сможешь дотерпеть до тридцать восьмой или опять убежишь?

Лиде не хотелось врать. Врачиха первая за эту неделю, кто хотя бы не пилит, не давил на вину. Хотя у Лиды уже выработался иммунитет к таким разговорам, но чего она только не наслушалась и в полиции, и в детском доме. А ведь какое их дело...

– Да куда тут сбежишь, я вон едва хожу.

– Человек *зависимый* может убежать и при более сложных обстоятельствах... – доктор недолго помолчала и продолжила как будто сама с собой. – Я видела молодого человека, который из реабилитационного центра сбежал, сломав ногу, когда выпрыгнул из окна. Это не помешало ему бежать дальше и ещё две недели лежать в притоне с распухшей посиневшей ногой, пока не нашли.

– Ни фиги себе! – Лида было ухмыльнулась, но доктор посмотрела на неё как-то странно, скривившись, как от боли.

– Лида... А ты сама-то хотела рожать?

Лида постаралась отвечать так же на выдохе, быстро и по делу. Но с каждым разом говорить становилось сложнее. Почему-то с соцработниками и их нотациями было проще. Они обвиняли, Лида огрызалась. Злиться было проще. А сейчас, когда врачиха говорит «мы» и «нам»... Как бы не разреветься.

– Сейчас, конечно, ничего уже не изменишь. Надо будет рожать. Судя по размеру, тебе осталось немного. Как я понимаю, до этого родов у тебя не было. А аборт или выкидыши?

– Ну... чтобы у гинеколога делали аборт – нет.

– В смысле?

– Был один. Мать таблетки купила.

– Ты имеешь в виду не операционный, а медикаментозный аборт? Давно?

– В одиннадцать. Только я не знаю, это беременность была или просто.

– А зачем тогда таблетки, если не точная беременность?

– А мамкин сожитель меня изнасиловал со своим другом. Она тогда отрубилась от героина. А они того. Она проснулась, ну и поняла. Наорала на него. И в аптеку со мной потащила. Мать сказала, что на всякий случай, а то мало ли: забеременеть от таких...

– Господи, в одиннадцать...

– Да это давно уже было, не переживайте. Мать его выгнала, но он нам денег дал тогда много. Правда, мамка, наверное, их все спустила, я не помню. Потом меня бабка к себе забрала. А этот мужик снова к матери переехал.

– И в милицию не заявляли?

– Не-а. Мамка сказала никому не рассказывать. Ещё меня обругала: вечно я дома ошиваюсь, вот и неприятности. Я только года два назад

рассказала психологу в приюте. Она говорит, наверное, потому я к мужикам старым и бегаю, что у меня вроде как травма.

Лида тараторила всё быстрее. Она ничего не чувствовала, когда это рассказывала. Но обычно те, кто слушал, ужасались или почти плакали. Странно было это видеть и ничего не ощущать...

В дверь заглянула Алевтина:

– Доктор, я всё оформила. Мне чего с ней, на УЗИ еще? Это мне сейчас талон взять в общую очередь или нам приехать в другой день? Нам бы лучше сейчас, а то сбежит опять, она ведь беглая у нас, даже не думает, что беременная! А у нас машина одна. Таких, как она, ещё пятнадцать девок. Только поумнее.

Доктор раздражённо подняла глаза.

– Ждите в коридоре. – Потом посмотрела на Лиду. – Тебе, получается, больше некуда пойти, только к ним? Они ж тебя съедят своими нравами... Может, есть сестры или тётки? Не хотелось бы, чтобы их нотации спровоцировали тебя на побег. И здоровым самостоятельным женщинам иногда беременность даётся нелегко, особенно когда вокруг некому пожаловаться. Здесь у меня часто ноют. А тебе, несовершеннолетней, без семьи, с постоянными мыслями о наркотиках... Их упрёки могут тебя окончательно измотать, не выдержишь – уйдёшь ведь...

Зря она сказала про упрёки. Копившееся за последнюю неделю напряжение, наконец, прорвалось слезами. Рыдать или подвывать Лида разучилась давно: через год, как забрали от матери. Видимо, прорыдала всё там, в первом ещё приюте. Но сейчас так жалко себя стало, оттого что идти некуда и даже единственную радость – героин – отобрали. А там, на свободе, Виталик гуляет, и ему хорошо...

– Да они мне всю неделю мозг пилят, какая я бесстыжая. И запугивают, что ребёнок будет больной, оттого мне придется труднее, чем другим девочкам, – с инвалидом на руках. А я сама виновата, потому что бессовестная, – убивать ребёнка наркотиками... Ещё всё время водят на беседу с какой-то настоящейницей. Она меня пугает, как надо будет ребёнка воспитывать. Что Бог дал мне ребёнка, чтобы я жизнь поменяла. И если даст больного, то чтобы грехи мои искупать мучениями... А и так жить тошно! Сил нет, ходить тяжело. Как я с ним потом – я же вообще ничего не знаю! Я не хочу никого растить, я плохая мать буду, у нас в роду не было хороших!

Врач встала. Налила в стакан воды из-под крана.

– На, попей. – Она подошла так близко, как будто вот-вот обнимет. Лида невольно отстранилась, но доктор только отдала стакан и отошла к окну. – Поплачь, Лида. Тебе можно. Ты беременная. Ты умничка... – Потом они долго молчали. Врачиха о чём-то своём у окна. А Лида всё никак не могла унять слёзы: только вытрет, а они снова.

– Всё у нас получится. Сейчас бумаги оформим, сходим вместе на УЗИ и посчитаем, сколько нам нужно дотянуть до кесарева. Всем беременным тяжело, тебе тем более. Поплачь, может, хоть чуть полегче станет.

Она вернулась за стол, когда Лида перестала всхлипывать.

– Давай мы с тобой договоримся. Я знаю... ждатель обещаний от наркомана – дело глупое. Я и не прошу. Давай мы просто договоримся, что ты попробуешь дотянуть до кесарева. Ведь если ты убежишь, Лида, ты не вернёшься. Мы же обе понимаем, где ты будешь. И будешь там прятаться до самых схваток. А там поздно будет оперировать. Да и роды для тебя будут тяжёлым испытанием. Это физически тяжело.

– Да я понимаю. Я не сбегу.

– Ты просто постарайся поставить себе одну цель. Ничего большего. Очень прошу, не думай, оставишь малыша себе или нет. Ты уже дала этому ребёнку, что могла. Лучшее, что ты можешь сейчас сделать, – попробовать помочь ему родиться без ВИЧ-инфекции. А уж будут силы или нет, захочешь ли воспитывать – это ты станешь решать сама, в любой момент. Поняла меня? В любой!

– Да вроде. Но они говорят: потом – привязанность... Сама не откажусь. Правда, я совсем не понимаю, что надо будет делать... Как это... Там, конечно, в центре помогают, но они запугивают, что ночи бессонные и что никто за меня ничего делать не будет, притворщицам-наркоманкам не верят... – Лида снова почувствовала, что ревёт. Это было так непривычно. Наверное, первый раз за последние полтора года. И как будто легче от этого становилось. Хотелось плакать и плакать.

– Так, Лида, соберись. Ты забыла, о чем мы договорились. Наша цель – просто дотянуть до кесарева. И всё. Дальше – даже не думай ни о чём. Болтают эти соцработники, а ты не слушай, кивай просто. А сама думай – мне бы только до кесарева, а там выдохну. Поняла меня? Твой финиш – кесарево, всё.

– Угу, – прошмыгала Лида.

То ли от слёз, то ли от тона доктора, но ей как будто стало легче. Начал рассеиваться жуткий страх от слов «будущая мама». Эти навязчивые картинки больного скрюченного младенца. Если только до кесарева – можно попробовать. Тем более если под наркозом. А то эта монашка как затянет своё про муки роженицы, аж до дурноты. Половину слов не понять, что-то про грехи... Стоп, не думать... Надо не думать. Как врачиха сказала: просто кивать и всё. Надо попробовать.

– Ну что, сейчас ходим с тобой на УЗИ, и поедешь отдыхать. Тебе нужно сейчас побольше отдыхать и научиться играть в глухую. У тебя важная миссия: дотянуть до кесарева.

– А это... осмотр?

– Да какой осмотр на твоём сроке. Только УЗИ теперь и померить живот. Это я так, чтобы выпроводить твою надзирательницу.

Они прощались после выхода из кабинета УЗИ.

– Тридцать три недели, девочка. По УЗИ пока без явных патологий.

– Спасибо, – Лида не знала, как завершить разговор. – Мне ещё к вам прийти... можно? То есть... это... надо ещё?

– Да, Лида. Тебя должны привезти через десять дней, тогда будут готовы анализы, и мы всё обсудим. Береги себя, отдыхай. Жду тебя через десять дней, постарайся приехать.

– Спасибо... что поговорили...

Доктор кивнула и двинулась дальше по тусклому коридору. Сначала хотела было отвести в сторону соцработника на пару слов: попытаться объяснить ей, что давить на Лиду сейчас нельзя. Иначе точно сбежит. Да и что за бред: оставить новорождённого Лиде. Девочка ведь малыша к себе в притон потащит... Но потом поймала себя на мысли, что снова начинает играть в спасателя. Где она – грань бессилия и безразличия... Где грань чужой и своей истории...

Она открыла дверь в туалет. Никого. Подошла к наполовину закрашенному окну и открыла тугую форточку. Задыхалось легче. Достала телефон, пролистала недавние вызовы... Не нашла. Набрала вручную

цифры. Телефон высветил «Лёшенька»... Никто не отвечал. Она начала набирать сообщение, но после слова «сынок» не смогла ничего написать... Где ты... как нога... приезжай... возвращайся... Всё это было не то. Ответа она не получит.

Она родила своего первенца в тридцать четыре года... «старородящая»... Родила здоровенького, красивого мальчишку... В детском саду он заболел гломерулонефритом, стал инвалидом, набрал огромный вес, почти не мог ходить... Пять лет она практически носила его на руках, лежала с ним по больницам, не давала посадить на гормоны. И все-таки вытащила его каким-то чудом... К началу шестого класса по его инициативе они отказались от инвалидности, всех полагающихся льгот и пособий... Хотя с деньгами тогда было очень туго... Лёша стал ходить в школу и на физкультуру, от которой был освобождён, записался на фехтование... До 9-го класса был идеальным сыном и учеником.

И вдруг в пятнадцать лет попытка суицида. Вроде из-за несчастной любви. А потом депрессия, таблетки и через полгода наркотики... И этот последний его глупый побег из реабилитационного центра, когда он сломал ногу... последняя попытка поговорить с ним, после которой он перестал отвечать на звонки... За что? Ну ладно эта девчонка Лида, из неблагополучной семьи, дочь наркоманки... А ведь у Лёшеньки было всё...

Она посмотрела на продолжающий светиться экран мобильного телефона... Где он сейчас? Ей хотелось надеяться, что и ему, быть может, встретится кто-нибудь, кто, как она сегодня, найдёт несколько лишних минут, чтобы выслушать и поговорить.

Владимир ТИТОВ

Родился в 1978 году в Москве. Окончил Московский государственный университет (факультет почвоведения). Работал в университете и в различных коммерческих организациях.

Журналист, литературный и кинокритик. Публиковался в «Литературной газете», в журнале «Наука и жизнь», в интернет-газетах «Свободная пресса» и «Особая буква», а также в других сетевых и бумажных СМИ. Автор сборника мистических рассказов и стихов «Тёмная сторона», вышедшего в 2012 году. Автор сценария и режиссёр короткометражного триллера «Только тело» по одноимённому рассказу Льва Прозорова (2015 год). Увлечения – спортивный ножевой бой и игра на гуслях.

Живет в Москве.

КУПАЛЬСКАЯ НОЧЬ

– ...Ну а я ему говорю: а не пойти бы тебе на хутор бабочек ловить? Ну он и пошёл. Дверью саданул так, что чуть косяк не вынес. – Алина допила кофе и уставилась на донышко пустой чашки, словно искала разгадку в кофейной гуще.

– И что? – спросила Ленка.

– Вернётся. Не в первый раз. Отдохнёт от меня с какой-нибудь шалавой, а через недельку, а то и раньше, обратно. Милая-хорошая, люблю-куплю, давай начнём всё сначала... Ладно, не он такой первый, не он такой последний. Лен, сама понимаешь, постоянные отношения, какие-никакие, они всем нужны. Вот паршиво, что Прага наша обломалась. А теперь мне одной ехать как-то не в кайф. Ленок, может, ты составишь компанию? Мы на выхи собирались, ещё успеем и билеты заказать, и отель. Если у тебя шенген открыт...

– В другой раз, – улыбнулась коллега. – Мы со Славкой как раз в эти дни на Купалу едем.

– Иван Купала в июле вообще-то... – заметила Алина.

– Не-ет, Алин, это совсем не то. Праздник Купала отмечается в самую короткую ночь, когда солнце на зиму поворачивает. Это в конце июня.

– Впервые слышу. И кто же его так отмечает?

– Родноверы.

– Род... кто?

– Язычники. Ну, мы себя родноверами называем.

Алина воззрилась на собеседницу. Ленка – язычница? От этого словечка веяло чем-то сказочным, но перед ней сидела обычная современ-

ная девушка. Не совсем обычная, как выяснилось. Фигасе, день открытий... Но тут она вспомнила, что в послепасхальный понедельник Ленка деликатно, но твёрдо отказывалась от христовоскресных поцелуев, что на шее у неё вместо крестика, иконки или знака зодиака висела странная плетёнка. Ещё она вспомнила, что, когда начальница филиала Алла Викторовна, исключительно воцерковлённая дама, пускалась в «божественные» рассуждения, Ленка не участвовала в разговорах, только слушала вполуха и саркастически ухмылялась. Пару раз Ленка, когда звонила по телефону, произносила что-то странное – «Здравия, Велемире» или вроде того.

М-да, вот так работаешь с человеком полтора года, вас считают подругами, а тут, оказывается, ни фига его – то есть её – не знаешь...

– Слушай, если не придумала, куда податься – поехали с нами, – просто предложила Ленка. – В наш джип целый взвод поместится. Твои пятьдесят кило он и не заметит.

– Э-э... Да я вообще-то... Нет, спасибо, конечно, это всё, наверное, дико интересно, но... Лен, я ж не знаю ничего, как там у вас!

– Ой, я тебя умоляю! Это же не экзамен и не внешний аудит! Это праздник воссоединения с матушкой-природой. Для нас, детей асфальта, жизненно необходимый. Сама это почувствуешь.

– Искусительница, блин... А ничего, что я как бы православная? Это допускается?

(«Как бы православная, да. Последний раз на пасхальной службе была три года назад, а к исповеди не ходила со школы. Себе-то не ври, подруга: ты суеверная городская атеистка, как большинство...»)

– Не бойся, тебя не заставят приносить кровавые жертвы и участвовать в оргиях!.. – ухмыльнулась Ленка.

* * *

Разговор случился во вторник, а вечером в четверг обеих встретил возле офиса джип хищной камуфляжной расцветки. За рулём был Вячеслав – муж Ленки, рослый светлородый парень, похожий на кормщика Ивана Рябова из фильма «Россия молодая». Он оказался добродушным и общительным, и вскоре они болтали как старые друзья, в то время как джип пожирал километры пригородного шоссе.

Праздник современных язычников проходил на большом лугу, на берегу реки. Миновав КПП охраны, Вячеслав загнал джип на стоянку, вытащил из багажника рюкзак и спортивную сумку, навьючился поклажей и двинулся по протоптанной тропинке в ту сторону, где виднелись разномастные горбики палаток. Девушкам досталось нести почти невесомые тючки со спальными мешками.

Навстречу попадались люди в диковинной одежде: кто в камуфляже, кто в вышитых рубахах, точно из этнографического музея или со съёмки фильма фэнтези. С некоторыми Вячеслав и Ленка здоровались как с давними приятелями – ну да, они же не первый год сюда ездят, многих знают...

Выбрав место, они втроём поставили палатку, в которой вполне могли разместиться человек пять. Затем Вячеслав отправился за дровами, а девушки – по воду. После того как лагерь был устроен, Вячеслав и Ленка ненадолго скрылись в палатке и через пару минут вышли полностью преображёнными. Ленка щеголяла в богато вышитой рубахе и длинной клетчатой юбке: такая юбка, как она объяснила, называлась

«понёва». Волосы были покрыты красной косынкой; возле висков свисали витые кольца. На Вячеславе была чёрная льняная рубаша с красной вышивкой, кожаная безрукавка и тёмно-синие шаровары, заправленные в сапоги. С пояса свисала кожаная сумка и нож в ножнах.

– Круто, ребята! – искренне воскликнула Алина.

– Нравится? Давай завтра сходим на торжок, подберём и тебе одёжку, – предложила Ленка.

– М-м... нет. Спасибо, конечно... Пока не надо... Я подумаю, ладно? А что, вот так вот, как я, нельзя? – она показала на себя. На ней были джинсы, футболка и кроссовки.

– Да можно, конечно. Это же не церковь, куда без платочка не пускают. Тут народ одевается кто во что горазд. Но лучше, конечно, обрядовый наряд. Сама поймёшь.

* * *

...Алина сидела на кочке, скрестив ноги, грызла травинку и ждала чуда.

Нет, ей, конечно, всё это нравилось. Нравилась бивуачная жизнь, тем более что по-настоящему трудную часть обустройства взяли на себя опытные походники Ленка и Слава. Её развлекала пёстрая толпа празднующих. Некоторые подобрали костюм тщательно, со вкусом и со знанием дела, глядя на них, можно было подумать, будто это не наши современники, переодевшиеся на праздник, а всамделишные древние варяги и вятичи. Правда, поначалу её немного напрягало, что у всех мужиков и парней, и даже у некоторых девчонок, на поясах висят ножи. Но Ленка, которая в своём фэнтезийном костюме стала Радмилой (и ей это шло, даже Алина раз-другой назвала её так, вызвав одобрительную полуулыбку), успокоила. Нож, объяснила она, это деталь национального костюма, и не только у хачей, но и у всех народов, у древних славян в том числе, а поножовщины здесь не бывает, потому что люди собираются адекватные, а пьянство запрещено. Алина подумала и сама прикупила себе небольшой изящный ножик, который гордо подвесила на пояс.

Она раз двадцать прошлась по пёстрой ярмарке и сгоряча накупила тьму-тьмущую забавных вещиц, большинство которых совершенно не знала, куда приспособить. Ну вот зачем ей череп козла с выжженным на лбу косым крестом, посвящённый богине смерти Маре? Зачем ей окованный серебром кубок из бычьего рога? Зачем ей белорусский варган-дрымба? Заслушалась, как на нём играл продавец – в его руках варган пел и разговаривал, а она с непривычки чуть не отбила эмаль с зубов. Но вот купила, не нести же теперь обратно!.. Хотя да, серебряный перстенёк с головой волка – это симпатично. И душистое ручкодельное мыло, которого она набрала на пробу сортов десять, пригодится. И пачка сушёного иван-чая, который, как заверяла сухонькая немолодая травница, только что мёртвых не поднимает. Ей пришлось по вкусу фруктовое печенье, которым торговала румяная светловолосая девушка, и шипучий напиток, который словоохотливый бородатый толстяк называл «зайцеквас». Он оказался гораздо вкуснее и – как бы сказать? – живее синтетической газировки, которую продают в магазинах и имеют наглость называть «квасом». Алина сперва попробовала стаканчик, потом купила полуторалитровую бутылку, а через некоторое время опустошила ещё две – одну за другой.

– Смотри, не переборщи, а то крышку сорвёт или днище выбьет! – подшутила Ленка-Радмила, видя, как она поглощает «зайцеквас».

– Всё под контролем! – пробулькала Алина, не отрываясь от горлышка.

Она смотрела, как играют в лапту и в горелки, но сама глупо застенялась, когда её позвали. Зато они с Ленкой до одури накачались на огромных качелях из брёвен и цепей, которые субботним утром соорудили мужики. А потом они вместе с другими девушками крутили из веток и травы обрядовое чучело: получился плетёный человек трёхметрового роста и с инструментом любви длиной в руку. Это было дико и непристойно, но ужасно забавно.

Ей понравилось ходить без обуви, хотя обычно даже на песчаном пляже она торопилась влезть в шлёпанцы, разуваясь только для «погружения». Но Ленка шлёпала босиком, да и не она одна, а потому Алина, чтобы хоть как-то соответствовать духу праздника (обрядовую одежду она так и не решилась купить), решительно скинула кроссовки. Поначалу было колко с непривычки, но Алина держалась и через час-другой обнаружила, что ходить, ощущая ступнёй поверхность земли, удобно и приятно. А битого стекла и торчащей из земли арматуры тут не водится.

Да, всё было замечательно. Но хотелось чего-то небывалого, неопишуемого, невозможного. Хотелось чуда.

Что-то подобное она испытала в вечер с пятницы на субботу. Они втроём возвращались к себе в лагерь из гостей – у музыкантов, друзей Вячеслава, собралось человек двадцать, сидели вокруг костра и пели старинные песни под аккомпанемент гуслей, бубна и инструмента вроде скрипки. Песни совсем не были похожи на «русское-народное-блатное-хороводное», и звучали они как-то... по-настоящему. Наверное, потому, что люди пели их не для зрителей, не для конкурсной комиссии, а для себя. Алина даже пожалела, что больше половины этих песен вообще не знала.

Темнело, от реки напалз туман, который смешивался с дымом костров. В нескольких шагах человек превращался в тень, неотличимую от дерева или куста. Было весело и жутковато – как будто обычный луг, заставленный самыми обычными палатками, исчез и они очутились в сказочной стране.

Неожиданно впереди послышался грохот и дикие завывания.

– Что это? – удивилась Алина.

– Сейчас увидишь! – ответила Ленка.

И она увидела. Из темноты и тумана надвинулись жуткие фигуры – горбатые, косматые, рогатые, с оскаленными мордами. Они размахивали факелами и кривыми посохами, подпрыгивали, оралы песни дурными голосами. У двоих вокруг поясов были подвешены горшки, которые при каждом прыжке издавали грохот. Существа заплясали вокруг них, и самый здоровое, с самыми длинными рогами, шлёпнуло её ниже спины своим посохом, после чего ватага, гогоча, повалила дальше.

Это были скоморохи. На следующий день Алина видела их проход по ярмарке, где они чудили на потеху народу. Но в тот вечер в первый момент она ощутила сладкую жуть.

И субботним вечером, когда после обрядов, суть которых Алина толком не поняла, запалили пятиметровой высоты костёр и толпа понеслась вокруг него, ей показалось, что привычная действительность тает, как лёд, уступая место чему-то другому. Гудящее пламя, топот сотен ног,

ритмичные крики, рёв волюнок и грохот бубнов, бег по кругу, мелькание темноты и света рождали чувство нереальности происходящего. Это продолжалось недолго. Потом хоровод стал распадаться, одни собирались кучками и затеяли игры, другие просто рассаживались поодаль, глядя на гигантский костёр. Ленка с мужем где-то затерялись, но Алина решила их не искать – встретятся в лагере. Она пошла без дороги вглубь луга, потом ей надоело идти, и она уселась на кочку.

...Травинка, выбившаяся из венка, царапала кожу за ухом. Она сняла венок и обломала надоедливую соломинку. Хм, не расплётся! С шести лет не занималась этим, и надо же – за полтора десятка лет руки не забыли, как скручивать податливые стебли. Соорудила не венок, а венец – пышный, крепкий, красивый.

Сидеть надоело, она поднялась и пошла – всё так же без дороги. Её так закружили в пляске, что она уже не разбирала, куда идёт – к лагерю или к кострищу, где парни спалили плетёного человека (она хихикнула, вспоминая комедию, которую разыграли скоморохи, когда хоронили их непристойную креатуру), или к лесу (самое время поискать цветущий папоротник, ага-ага).

Можно сказать, шла куда глаза глядят, но рассмотреть что-либо в тумане было трудно.

Внезапно туман стал особенно густым и холодным, земля под ногами пошла вниз, и Алина поняла, что вышла к реке. На противоположной стороне к реке сплошной чёрной стеной подступал лес.

Алина постояла на берегу, усмехнулась непонятно чему и стала стягивать джинсы.

Она никогда не купалась голой (в сознательном возрасте). И никогда не купалась ночью. Честно говоря, побаивалась. Но сейчас все страхи и сомнения куда-то улетучились. Дрожа от холода и хлопая комаров, которые оценили прелесть обнажённого женского тела, она ступила в реку. После студёной росы речная вода показалась тёплой. Алина постояла по колено в воде, потом вернулась на берег и поплотнее нахлобучила на голову венок. С венком на голове, пожимаясь от холода и втягивая воздух сквозь зубы, она снова вошла в реку.

Река была неширокой и неглубокой – только на самой середине ей пришлось проплыть несколько метров.

Цепляясь за пучки осоки, Алина выбралась на крутой бережок. Вокруг не было ни души. Тишину нарушал только шелест воды. Сюда не доносились песни, звучащие возле костра, и сам костёр был не виден – должно быть, его заслоняло какое-то дерево.

Вспомнилось: в сказках для того, чтобы попасть в другой мир, нужно пересечь реку. «Ну вот, я и в волшебной стране! – усмехнулась Алина. – Добро пожаловать!» Она поправила венок, составлявший всю её одежду, и углубилась в лес. Он казался вовсе не таким уж густым и непролазным, как казалось с того берега. Алина шла меж редкими соснами по ковру из мягкого мха и с удовольствием отметила, что не чувствует холода. То есть прохладно, но не до зубовного стука. И кусачие насекомые летуны не донимают. Может, вправду в сказку попала? Ох, Алина Степановна, в вашем возрасте пора быть серьёзнее! Ага, особенно когда гуляешь нагишом по ночному лесу!..

Лес неожиданно кончился. Обходя куст лещины, Алина вышла на круглую поляну.

На поляне, в траве по пояс и в облаках подсвеченного луной тумана, кипела буйная пляска. Два десятка плясунов – уже знакомые Алине

скоморохи в костюмах троллей, оборотней и чертей, обнажённые девушки в венках – то кружились в хороводе, то распадались по парам, то, схватившись за руки, неслись вереницей вдоль поляны. В середине поляны рос куст, и от него слышалась заводная музыка, похожая на птичий щебет.

«Ага. Вечеринка для избранных! Это я удачно... заплыла!» – подумала Алина, а между тем ноги уже несли её навстречу веренице танцоров. Те, словно ждали её, разомкнули руки. Её левое запястье обхватила широкая ладонь мохнатого оборотня в волчьей маске, правую ладошку стиснула худенькая гибкая девушка с разметавшимися волосами до пояса. Музыка ударила с новой силой, словно приветствуя новую участницу праздника, и вереница понеслась вскачь вокруг поляны.

Добежав до одинокой берёзы, танцоры резко свернули к середине поляны, возглавлявший вереницу скоморох с длинными рогами – уж не тот ли, который вчера приласкал её посохом по мягкому месту? – подал руку совсем молоденькой девчонке, замыкавшей строй, и они закружились в бешеном хороводе.

Потом, будто по сигналу, все рассыпались по парам. Скоморох, наряженный оборотнем, подхватил Алину.

Она взяла его за руки...

...и вдруг заметила, что у него не по пять, а по четыре пальца на руках! И таких грубых пальцев не бывает у людей – даже у тех, кто всю жизнь машет ломом, топором и лопатой.

И глаза. Они не прячутся в прорезях маски, а смотрят на неё со звериной морды. И ноздри и уши у неё шевелятся по-живому. Её партнёр усмехнулся, словно прочитал её мысли – из разинутой пасти её обдало горячее смрадное дыхание хищника.

(«Это не скоморохи!»)

Оборотень поднял руку, заставив её повернуться вокруг своей оси, и легко толкнул в сторону, в объятия стройной грудастой девчонки...

...с оранжевыми глазами, чёрными вертикальными зрачками и длинным раздвоенным языком, которым она игриво провела по шее взвизгнувшей от неожиданности Алины.

А потом их обеих подхватил под руки лесной дух, с ног до головы покрытый длиной шерстью и напоминающий ходячую копну, бычьими рогами, совиными глазами навывкате, длинным горбатым носом и игривым оскалом.

(«Это не скоморохи! Это настоящие лесные гоблины... и я среди них! Нет. Это сон. Проснуться! Проснуться!!! Проснуться!»)

Рогатый и мохнатый лесовик обхватил обеих девиц вокруг пояса, подпрыгнул и, к ужасу и восторгу Алины, перемахнул через «музыкальный» куст. Алина зажмурилась, но за мгновение успела увидеть, что на ветках куста сидит бесчисленное множество птиц. Там были и соловьи, и какие-то неизвестные ей ночные пичуги, и совы, и сычи. Их щебетание, пiski и вопли складывались в небывалую мелодию.

Мохнатый гoblin прокрутился на месте, не выпуская девушек из объятий, а потом танцоры снова сцепились кольцом.

(«Проснуться? А зачем?»)

Ужас нахлынул на неё и тотчас растворился в новых, небывалых ощущениях. Алина скакала вместе со всеми, наслаждаясь собственной силой и ловкостью, и хохотала от нахлынувшего чувства свободы от всего. От условностей, сомнений, страхов, обязанностей, неисполнимых желаний, бессодержательных раздумий. Она казалась самой себе

прекрасной и опасной ночной нежитью. Вроде мохноногого рогатого чёрта по левую руку от неё или изящной девицы напротив... с синезелёной кожей и когтистыми пальцами...

Хоровод остановился, потому что музыка стихла, и на середину вышел новый участник праздника. Это был рослый парень, бородатый и длинноволосый, полностью обнажённый: мышцы прирождённого бойца так и играли на его теле. Его волосы увивал венчик, который, казалось, растёт из его головы – как и ветвистые рога, напоминающие корону.

Рогатый хозяин оглядел хоровод, зверовато пошевелил ноздрями, и вдруг Алина заметила, что он смотрит прямо на неё. Сердце оборвалось от ужаса и счастья, и она со всех ног бросилась к Нему, избравшему её.

Их глаза и руки встретились. Хозяин качнул рогами, птицы засвистели новую песню, и пляска понеслась вновь.

Алина плохо помнила, что было дальше. Осталось ощущение полёта, чувство бесконечного восторга, ужаса и освобождение, медовый дурман, источаемый травами, и память о зове, на который она радостно откликнулась. Потом всё смешалось...

* * *

...и она проснулась в палатке, как и накануне утром, потому что солнце нагрело её стены и внутри стало жарко.

Голова покруживалась, как после дружеской посиделки средней интенсивности, а тело ломало, словно накануне она в охотку покачалась в спортзале.

Алина сообразила, где она находится, зачем она здесь, а потом фыркнула и тряхнула головой. Надо же такому присниться!

– Неплохо меня вштырило от вашего зайцекваса. Надо будет рецепт узнать, – пробормотала она, выползла из спального мешка и, пошатываясь, выбралась из палатки.

Ленка с мужем сидели за складным столиком и ели салат.

– Доброго времени суток, ребята... – поприветствовала их Алина, сладко потягиваясь. – А что вы так на меня смотрите?

– Ай, блин! – завопила она в следующую секунду и присела, закрывшись руками. Потому что поняла, что вылезла на свет божий совершенно голая.

Она шарахнулась обратно в палатку и первое, что сделала – застегнула клапан. Затем принялась лихорадочно искать свои шмотки. Поиски были безрезультатны, не помогло даже воззвание к родящей силе Великой Матери (это Ленка вчера рассказала, что матерщина – искажённые языческие заклятия, призванные отпугнуть злых духов и помочь в трудных начинаниях). Поэтому Алина беззастенчиво раскулачила Вячеслава и натянула на себя его футболку.

– Всё в порядке? – спросила Ленка, когда она снова вышла из палатки – в эротичном мини, но по крайней мере не в чём мать родила.

– Отлично, – ответила Алина. – А вы как?

– Тоже. Гуляли народом до рассвета, вот сами недавно встали, – сказал Вячеслав.

– «Гуляли», ага! Ты знаешь, что этот человек устроил? – Ленка с притворным возмущением показала на мужа. – Там прыгали через костёр, а он подхватил меня на руки и сиганул. А пламя – в рост человека. Я от страха чуть... чуть не окоचурилась там! Мужуку тридцатник скоро, а ведёт себя как...

- Ну, как кто?
- Да ну тебя! – фыркнула Ленка. – Кстати, Алин, ты не хочешь в своё переодеться?
- Да? А где оно? Я всю палатку перерыла...
- Ну, если ты всю палатку перерыла, то теперь трудновато будет найти. Вообще-то мы твои вещи принесли и на твоей половине сложили.
- Алина выдала неразборчивое междометие, снова скрылась в палатке и через минуту появилась, одетая в джинсы и футболку. Нашёлся даже привявший венок, которым она не преминула украсить разлохматившуюся шевелюру.
- А где вы это нашли? – спросила она.
- Не мы. Это ребята утром пошли купаться и нашли. Ты так больше людей не пугай! – говорила Ленка. – Лежат штаны и футболка на бережку, вокруг никого. Через час пришли – лежат всё там же. Что тут можно подумать? Уже хотели дно обшаривать, но тут Славка рядом оказался. Он и сказал, что это твои вещи, а ты спишь в нашей палатке сном невинности. Кажется, кое-кто очень хорошо отметил Купалу.
- Да офигенно просто! – Алина улыбнулась. – Спасибо, что вывезли!

* * *

- Две недели спустя:
- ...Да, Ленка, представь, объявился наконец! Позвонил вчера. Говорит, долго думал и теперь хочет... как он сказал?.. не то стабилизировать, не то урегулировать наши отношения...
- А ты?
- А я применила заклинание из вашей магии плодородия. Говорю – устрями свой путь к источнику жизни!
- Это значит... Ха-ха-ха!
- Ну да, я ему попроще сказала, он бы так не догадался! Лен, понимаешь, постоянные отношения – это, конечно, хорошо. Но ведь не с кем попало!

* * *

- Ещё две недели спустя:
- Две полоски! Твою мать!!

ДОМ НА ВОЛЧЬИХ ВЫСЕЛКАХ

Как только Егор вошёл в квартиру, Полина уже поняла: её ждёт приятный сюрприз. Муж так и светился изнутри, точно проглотил кусок радия.

– Угадай! – сказал он, обнимая её.

– Тебя с этого года назначили директором? – спросила Полина. Егор делал карьеру на ниве народного образования: начал подрабатывать школьным учителем истории ещё на четвёртом курсе, а после защиты диплома устроился на полную ставку да ещё и вёл краеведческий кружок. Неудивительно, что через пять лет после окончания вуза он стал завучем по воспитательной работе и сейчас прицеливался на директорское кресло.

– Это – вопрос времени, Полли. Не угадала. Ещё две попытки.

– Ну-у... не знаю... Выиграл миллион в лотерею?

Егор досадливо поморщился. Супруга была всем хороша... вот только оригинальностью мышления не отличалась.

– Опять не угадала.

– Сдаюсь. – Полли вывернулась из объятий и притворно надула губки.

– Рано сдаёшься. Ну? Напряги свою прелестную головку. О чём мы говорили зимой?

– Неужели купил дачу? – Полина затаила дыхание.

– Да.

Хранительница очага с визгом кинулась ему на шею.

– А где? Где купил? Нормальное место, нет? Далеко ехать? – трещала она, когда первая волна восторга её попустила.

– В Левенёвке. Щас покажу.

Егор развернул перед женой гугл-карту на планшете.

– Вот здесь. Это вообще-то село, но настоящих деревенских там почти не осталось, только в двух-трёх домах. Остальные – дачники.

– Почти сто километров. Далеко вообще-то, – вздохнула Полина.

– Зато ни шума, ни пыли, природа не загажена. Там в селе и магазин есть, по сути, маленький универмаг, в котором можно купить всё.

– А дорога подъездная как, нормальная? – спросила Полина.

– Дорога так себе, грунтовка. Потому и участки идут за копейки. Дом с пятнадцатью сотками за сто тысяч – это копейки, Полли, поверь мне! А как только положат асфальт, там земля сразу подорожает раз в пять! И за неё ещё будет драчка! Там ведь места – пальчики оближешь! Смотри: вот, в полукилометре – река, и не какая-то там речка-вонючка воробью по колено, а нормальная река, по ней катера ходят. Вот лес... по нему можно пятнадцать километров напрямик прошагать, а до леса от села – пара километров. А вот, смотри, озеро... нет, вру, не настоя-

шее озеро, водохранилище, но это неважно. Вон, острова на нём – целый архипелаг, а вот на этом острове – старая усадьба... Полли, я туда своих кружковских вытащу, будем устраивать походы с палатками, с байдарками... Слушай, я же могу завести свой молодёжный лагерь! А что? Договорюсь с администрацией, будет не хуже Селигера! Чуешь, чем пахнет?

– А ты там был? – спросила Полина. – Всё-таки карта – это карта, а если сам не видел...

– Был, – кивнул Егор.

* * *

Егор слукавил. Он не был Левенёвке и, говоря про лес, реку, магазин и дорогу, пересказывал то, что слышал от продавца участка. Который, он, кстати, ещё не купил, а только дал задаток в пять тысяч (продавец просил минимум двадцатник) и получил за это расписку, что хозяин в течение полугода не будет никому продавать участок. За это время Егор должен выплатить остальные девяносто пять. Или отказаться от покупки – но тогда задаток остаётся у продавца.

Ночь выдалась бурной, потому что Полина и прежде не отличалась холодностью в любви, а перспектива стать землевладелицей подействовала на неё как хороший афродизиак. И на следующий день Егор с лёгким туманом в голове сел за руль и поехал в Левенёвку. У него была назначена встреча с продавцом «поместья».

Романтическая глушь не замедлила показать свои зубы. Через пять минут после того, как он съехал с выщербленного асфальта на грунтовку, в машине что-то начало стучать и брякать. А ещё через пять минут, когда на горизонте уже мелькала левенёвская водокачка, на очередном спуске машина пошла юзом и, ломая кусты, сползла в придорожную канаву.

Следующий час Егор бинтовал обширную ссадину на голове, ждал эвакуатор и одновременно пытался дозвониться продавцу, чтобы предупредить об опоздании. Эвакуатор не спешил, продавец был «временно недоступен», и Егор всё чаще поминал род людской в резких выражениях.

Но всё когда-то заканчивается, закончилось и ожидание. Егорову ласточку немецкой породы, слегка покорёженную, вытащили из канавы и увезли в сервис. А сам будущий землевладелец, сверившись с картой и найдя, что от цели его отделяет какие-то пять километров, двинулся пешком.

Остаток пути он до Левенёвки проделал без приключений. Приключения поджидали его на месте. Дом номер девятнадцать, который он собирался купить, не был похож на тот, который он видел на сайте объявлений. Вместо двухэтажного коттеджа, обшитого сайдингом, стояла изба из почерневших от древности брёвен, самую малость покосившаяся, с четырёхскатной крышей и с наличниками, украшенными затейливой резьбой. Озадаченный, Егор открыл объявление на планшете и сравнил его с увиденным. Ничего похожего. Он снова набрал продавца и услышал вежливое предложение перезвонить позже. Решив действовать наперняка, Егор решительно постучал в выходящие на улицу окна, потом отомкнул калитку, запёртую на деревянную щеколду, подошёл к двери и постучал. Ответа не было. Егор растерянно топтался перед дверью, как вдруг из-за угла дома вывернула хозяйка – настоящая

деревенская бабка, с загорелым морщинистым лицом, в белом платочке, в синем платье-халате, в резиновых галошах и с тяпкой в руках.

– Вы что это тут делаете, а? – не слишком дружелюбно поинтересовалась она.

– Здравствуйте... Семёна Петровича ищу.

– Нету здесь Семён Петровича.

– А где он?

– Понятия не имею.

– Но это дом девятнадцать?

– Девятнадцать. А вам какой нужен?

– Мне этот и нужен.

– А зачем?

– Я его покупаю, – не совсем уверенно ответил Егор.

– Вот так здрасте! – удивилась хозяйка. – А я его и не продаю!

– То есть как это «не продаю»? – удивился Егор.

– А жить-то я где буду? К соседям, штоль, пойду угол снимать в сарае?

– Так. А... Семён Петрович?

– Да нет тут никакого Семён-Петровича! Издеваетесь, что ли? – Бабка начала сердиться.

– Что там у вас, тётъ Вера? – послышался голос сбоку. Возле рабицы, разделявшей два участка, стояла женщина средних лет, городского, точнее дачного вида.

– Да сама не знаю, ищут какого-то Семён Петровича, который мой дом продаёт... – ответила бабка.

– Так, секундочку! – Егор достал планшет и надцатый раз набрал номер неуловимого продавца. И чудо случилось – вместо автоматической девушки через несколько гудков ответил хорошо знакомый голос.

– Алло, Семён Петрович, приветствую, это Егор!.. – торопливо затараторил Егор.

– Какой Егор?

– Егор, который дом покупает!

– А-а, Егор! Всё, понял. Здорово. Откуда звонишь?

– Из Левенёвки! – Егор включил динамик. Бабка и дачница заинтересованно слушали.

– Понятно. И что?

– Петрович, у нас проблемы...

– У меня нет проблем, – ответил Семён Петрович.

– Я тут возле дома девятнадцать! – Егор сам не заметил, что начал орать, будто говорил с глухим. – Это совсем другой дом! И хозяйка говорит, что он не продаётся! Так что...

– От ведь дундук, от лошак! – послышалось из динамика. Донеслось ещё кое-что. Обе женщины внимали потоку брани, льющемуся с планшета, и даже на улице – Егор заметил боковым зрением – кто-то остановился послушать. – Егор... как тебя по отчеству?

– Леонидович, – сухо ответил Егор.

– Леонидыч, слушай, прости по-братски, а? Это я, лошак, тебя сбил с толку! Там не девятнадцать, а двадцать девять! Слышишь? Дом двадцать девять! Я в объявлении неправильно цифру поставил, слышишь?

– Слышу, слышу, – недовольно проговорил Егор, хотя в душе испытывал изрядное облегчение, потому что тягостное недоразумение, кажется, разъяснилось. – Слушай, Петрович, я уже здесь, тебя когда ждать?

– Как же «здесь», когда ты сам говоришь, у девятнадцатого? У меня двадцать девятый!

– Так я там скоро буду.

– А-а... Тогда да, там встретимся. Давай.

«Давать тебе жена будет», – подумал, но не сказал Егор.

– Извините, Вера... как вас по батюшке?

– Васильевна, – сказала бабка.

– Ошибочка вышла, Вера Васильевна. Мне, оказывается, неправильно адрес написали. Мне к двадцать девятому.

– А-а! К Петровичу, значит? Который дом второй год продаёт? Ну, так бы сразу и сказали...

Егора неприятно царапнуло сообщение, что его контрагент «второй год дом продаёт», но он решил не заострять на этом внимание.

– ...Это вам туда, за ручей идти. Вот водокачку видите? На неё ориентируйтесь, не промахнётесь. Прямо по дороге, а там бетонный мост.

– Спасибо, Вера Васильевна, огромное спасибо!

* * *

К дому двадцать девять он пришёл нескоро. Решив вознаградить себя за все злоключения, он отыскал магазин, купил там «сникерс» и стакан чая. Не спеша закусил возле столика, наслаждаясь прохладой торгового зала – солнце уже поднялось и жарило во всю мощь. Потом так же неторопливо пошёл по улочке, посматривая на будущих соседей и их дома. Соседи производили хорошее впечатление – не пропитые маргиналы, которые не побрезгуют вломиться в дом, чтобы упереть дырявое ведро, но и не олигархи, рядом с которыми он будет чувствовать себя нищевродом. Так, нормальный «средний класс». Огородов, как он заметил, почти никто не держал – на участках, если они не были закрыты глухими заборами, виднелись подстриженные лужайки, на которых играла мелюзга и загорали их родители, у многих были устроены цветники и кое-где росли яблони.

Задержался, глядя, как два кота устроили разборку. Один из бойцов был пушистый серый здоровяк, второй – поменьше, неопределённого окраса, жилистый и украшенный боевыми шрамами: вместо ушей – бесформенные обрывки, нос разделён на две неравные части, а левая щека начисто откушена, отчего котик производил совершенно кошмарное впечатление. В сумерках он сошёл бы за демона. Бойцы долго пыжились друг напротив друга, издавая утробное «увэувэувэу», переходящее в неприличный визг, шипели и наконец с отчаянным рёвом сцепились. Егор снимал эту эпическую битву на планшет, прикидывая, сколько тысяч просмотров он соберёт на YouTube.

Как в рассказе Джека Лондона «Кусок мяса», молодость и нерастратенная сила одержала верх над опытом – покрытый рубцами боец дал стрекача, серый погнался за ним, но недалеко. Егор поздравил котофея с победой и потопал дальше.

Дом двадцать девять представлял собой незабываемое зрелище. Это была обширная усадьба на краю селения – видимо, хозяин перед постройкой прикупил соседский участок. Её окружал старомодный забор из штакетника, дочерна сгнивший и покосившийся. За забором буйствовал бурьян в рост человека. Кое-где из бурьяна торчали мёртвые ветки деревьев. Посреди запустения возвышался дом. Вблизи он казался ещё больше, чем на сайте.

Егор нашёл место, где когда-то была калитка и в зарослях бурьяна угадывалась дорожка, и бесстрашно ступил на свою будущую землю.

Пустошь приняла его в свои душные объятия. В зарослях жужжали, звенели, пищали, стрекотали бесчисленные насекомые. Из глубины доносился еле различимый шорох и потрескивание – это между буйной травы и засохших кустов пробирались существа побольше. «Здесь наверняка водятся крысы, – подумал Егор. – ...И змеи», – чёрная полоска в двух шагах от него, стремительно извиваясь, ускользнула в траву.

Он отодвинул в сторону разлапистую корягу, перегородившую дорожку, и подошёл к дому.

Дом резко контрастировал с окружающей пустошью. Он стоял на крепком кирпичном фундаменте, и казалось, его достроили не далее чем на прошлой неделе. Конечно, придирчивый глаз замечал где-то облупившуюся краску или предательское ржавое пятнышко, но это были мелочи. Если он и внутри такой же, как снаружи – можно заселяться хоть завтра. А что? Привести участок в порядок – скосить бурьян, выкорчевать сушняк – на это уйдёт не больше недели, даже если заниматься этим одному. Не так страшен чёрт, как его малюют.

Егор сел на крыльцо и снова набрал продавца.

– Леонидыч, дружище, прости, тут такое, ты не представляешь!.. – слезливо зачастил Семён Петрович. – Сука моя подыхает!

– Какая сука?

– Да моя сука, собака то есть, мастино неаполитано! То есть не моя, а дочкина, но отвечать-то, если сдохнет, мне! Привёл с прогулки, а через полчаса началось – срёт и блюёт не переставая! Слушай, это энтерит, да? Или чумка?

– Не знаю, я не собачник, – ответил Егор, стараясь, чтобы собеседник не услышал раздражения.

– Вот же мать твою, на мою голову... Жена с дочкой в Анталии, возвращаются через три дня, а эта сука сдохнет... Мне башку отвернут без наркоза и обратно приделают задом наперёд, понимаешь? И ведь всё нормально было, утром сегодня жрала как слон, на прогулке скакала, как сайгак... может, она на улице какую-то гадость подобрала, а? Сейчас ведь есть эти черти, догхантеры, отраву повсюду разбрасывают... Я ветеринарную неотложку вызвал, а что сейчас делать – я хрен знает...

– То есть ты не приедешь? – уточнил Егор, хотя знал ответ заранее.

– Да ну... Леонидыч, ты что, глумишься? У меня сейчас нервы ни к чёрту из-за этой сучары! И ещё неизвестно, чем всё кончится...

– Да я понимаю. Ладно, я завтра позвоню. Пускай твоя мастино как-её-там поправляется.

Не надо было быть ясновидящим, чтобы понять – Семён Петрович просто не хочет ехать на встречу. И это неспроста. Вспомнилась нелепая ошибка в объявлении и сегодняшняя обмолвка бабки, что «Петрович свой дом второй год продаёт». А его ли это дом? Продавец показывал документы на землю, но Егор просмотрел их наискосок и теперь не был уверен, что они не поддельные. А чёрт его знает! Мало ли сейчас мошенников, которые зарабатывают не на хитро продуманных схемах, а на невнимательности людей да на собственной наглости, прикрытой напускной простоватостью!.. Сука у него обосралась, ага, аж два раза. Сука. Кого ты, сука, пытаешься обмануть – препода с десятилетним стажем? Если ты, сука, думаешь, что я побрезгую судиться за какие-то пять тысяч, ты хрен угадал, козёл суетливый! Ты мне ещё моральный ущерб оплатишь и этот дом на блюдечке поднесёшь!..

Твёрдая поверхность под ногами оказалась гнилыми досками, которые с пугающей лёгкостью проломались, и Егор ухнул во влажную мглу, пахнущую холодной гнилью. Глаза запорошило древесной трухой, руки заполошно всплеснули, и пальцы левой – вот счастье! – вцепились во что-то твёрдое, шершавое и надёжное. «Колодец! – осенило Егора. – Старый колодец, и я в него...»

Связки в пальцах и в локте левой руки просто вопили от боли, но Егор успел нашарить опору для правой и уцепился за край – теперь он понял – бетонного кольца. Планшет выскользнул, но Егор запретил себе об этом думать. Он медленно подтягивался, вцепившись пальцами в края бетонного кольца, молясь, чтобы в прогнившей конструкции колодца ничего не сдвинулось, не треснуло и не накренилось. Тогда он полетит вниз... нет, об этом нельзя думать! Он подтянулся до подбородка. Так, делаем «офицерский выход»... ох, сто лет не делал... так, теперь вперёд и только вперёд... ф-фух!..

Егор выкатился на траву, сел, нашарил в кармане платок и стал протирать запорошённые глаза. Проморгался и, не вставая, обозрел свои будущие владения. Провал старого колодца чернел в двух шагах от него. Егор усмехнулся – вот так люди и пропадают без вести. Он поси-дел немного, привыкая к тому, что он жив, что не сломал позвоночник, не напоролся на старую арматуру и не утонул в жидкой грязи. Потом пошарил вокруг места своей неслучившейся гибели, надеясь на чудо. Чуда не случилось – планшет затерялся там, откуда еле выполз его владелец. Егор лёг на брюхо и некоторое время вглядывался в бездну, надеясь рассмотреть пропажу в кромешной черноте. Ничего не увидел, поднялся, отряхнулся, уселся на крыльцо своего будущего дома и стал обдумывать ситуацию.

Итак, что мы имеем? Тачка всмятку, планшет в колодце, костюм в дерьмище... ну, фигурально выражаясь, хотя смесь грязи, древесной трухи, травяной зелени и слизи со стенок старого колодца – тот ещё коктейльчик. С покупкой дома полная неясность. Что делать? Выбираться отсюда, и поскорее! А уже в городе – разбираться со всеми проблемами!

* * *

То, что он сбился с пути, стало ясно ещё до того, как стемнело окончательно.

Из города до Левенёвки можно было добраться двумя способами: на своих четырёх или на электричке. Егоровы колёса были в ремонте, а от поездки на такси он, поразмыслив, отказался. Этот день поставил клизму их семейному бюджету, так что лучше сэкономить тышечку. Правда, до ближайшей станции – он запомнил карту – было километров десять по полевым и лесным дорогам. Но, если в паре мест срезать – получится не более семи.

И Егор отправился пешком на станцию.

Вот осталась позади Левенёвка, вот он миновал старое поле, заросшее борщевиком, поднялся на холм и с высоты его с удовольствием обозрел окрестности. Издалека Левенёвка производила совершенно пасторальное впечатление – милый и чуточку таинственный городок, населённый добрым и чудачковатым народцем. Этакий Хоббитшир. За перелеском неистово блестела изогнутая сабля реки, вливающаяся в водохранилище, которое отсюда казалось настоящим морем. Егор решил, что он непременно купит здесь дом.

Он улыбнулся и зашагал туда, где за горизонтом пролегала железная дорога.

Тем временем недлинный августовский день клонился к вечеру. Первыми это заметили комары, тучи которых атаковали одинокого путника. Егор сперва истреблял кровососов, потом закурил, надеясь отогнать их табачным дымом, потом срезал ветку и обмахивался ею, как конь хвостом.

Солнце клонилось всё ниже, уступая место луне и звёздам, а до конца пути ещё было далеко. Иван посмотрел на часы и вздохнул. Да, не рассчитал. Такими темпами он будет дома хорошо если к полуночи. Чёрт, Поинка рехнётся от беспокойства... Пока он шёл по просёлочным дорогам, мимо него иногда проезжали машины. Он пытался стопить их, но без успеха. Двое ехали в другую сторону и не собирались делать крюк к станции. Ещё один придурок на раритетном ведре с болтами вместо приветствия спросил: «Сколько дашь?»

– Давать тебе жена будет, – ответил Егор: под влиянием событий последних часов он утратил своё обычное миролюбие. Водятел взбеленился, демонстративно перегородил своей таратайкой путь Егору и выскочил на дорогу с боевым кличем:

– Э, ты чё борзеешь?!

– Кати отсюда, цыпа, – спокойно сказал Егор, глядя в глаза крикуну. – А то найдут тебя ближе к осени, а опознать уже не смогут, – и пошёл своей дорогой, только легонько толкнув плечом «цыпу». «Цыпа» поорал в спину, потом залез в свою «антилопу-гну» и укатил.

Но чем ближе было к вечеру, тем реже попадались машины. А потом Егор свернул на полузаросшую дорожку через лес, которая, по его расчётам, сократила бы его путь на два километра. Мимо проезжал пожилой велосипедист, который уверил Егора, что если он пойдёт по этой дорожке, то «прямо к станции и выйдет».

– Только не сворачивай никуда, прямо так, по колее, и иди, понимаешь? – крикнул велосипедист, отъезжая.

Егор пошёл по колее. Он честно следовал указаниям велосипедиста и никуда не сворачивал. Пока две колее от колёс не стали всё менее различимыми и не растворились в мелкоколесье.

– Добро пожаловать, мать вашу... – проговорил путешественник.

Собственно, выход был один – возвращаться на наезженную лесную дорогу и идти по ней до станции. Или...

...Вдалеке послышался шум поезда.

Егор замер, обратившись в слух.

Поезд шел, снижая темп, и остановился. Что-то неразборчиво прок-вакал громкоговоритель. Через полминуты, свистнув, поезд двинулся дальше.

Есть контакт! Судя по звукам, станция находилась совсем недалеко. Километра три по прямой. Егор поднял глаза к небу, заметил по звёздам направление и пошёл сквозь ночной лес.

Через полчаса он взглянул на небо, крикнул и пошёл левее. Через час он усталое опустил на поваленную ель и усталился перед собой.

Заблукал. В трёх соснах. Позорище! Вот что значит – давно не ходил в настоящие походы: то со школотой, то с великовозрастными городскими приключенцами, которые воображают себя Натти Бампо и Крокодилами Данди, отойдя от железной дороги на километр...

Он огляделся по сторонам и заметил, что в одном месте деревья растут пореже. Он поспешил выйти на прогалину и удовлетворённо ух-

мыльнулся: это была дорога. Такая же заросшая колея, на которую он свернул час назад, но главное, что она вела в нужном направлении.

Вскоре лес по левую сторону дороги стал реже, в полумраке между стволов стали видны покосившиеся кресты и каменные памятники, порушенные оградки.

Егор хмыкнул и ускорил шаг.

Он был далеко не труслив и давно уже вышел из возраста, когда не стыдно пугаться сказок про обитателей могил, выползающих ночью размять кости. Но сейчас у него за спиной был день, полный не самых весёлых сюрпризов. Сегодня он дважды чуть не погиб нелепой смертью, вымотался, как вьючная лошадь, его нервы были натянуты, как струны...

...и ему было неприятно находиться здесь, посреди ночного леса возле заброшенного кладбища, которое своим видом напоминало о том, что жизнь конечна, а память потомков – увы, не вечна...

А в сгустках тьмы среди старых могил чудилось странное движение. Казалось, кто-то смотрит ему в спину с неживым угрюмым упорством. Егор понимал, что это – всего лишь шутки, которые играет с ним утомлённое сознание... и прибавлял шаг.

Он едва не перешёл на рысь, и единственное, что его остановило – стыд. Точнее, мысль о том, как стыдно будет вспоминать приступ своего малодушия при свете дня. Он заставил себя идти медленнее и даже оглянулся, старательно всматриваясь в тени, бегающие по могильным холмам. «Это ветер, – сказал он себе. – Просто лёгкий ветерок, который колышет листья».

...Увидев её, выступившую из-за могучей ветлы, стоящей при дороге, он едва удержался, чтобы не вскрикнуть. Но удержался. Это была обычная девушка. И она тоже остановилась, заведя его.

– Добрый вечер! – сказал Егор, стараясь, чтобы его голос звучал в меру весело и дружелюбно.

– Если добрая, то скорее уж ночь! – усмехнулась девушка.

Она повернулась к нему. Лунный свет озарил её лицо. И Егор, чувствуя, как в нём вскипает первобытный ужас, увидел пятна тления на лице незнакомки.

Мертвячка растянула чёрные губы в злорадной ухмылке, и длинные зубы блеснули под луной.

Смертельное оцепенение отпустило Егора. Дико вскрикнув, он развернулся и помчался прочь. Он бежал без дороги; ноги занесли его на лесное кладбище. С неведомо откуда взявшейся силой и ловкостью он скакал через оградки и памятники, уворачивался от летящих навстречу деревьев, подвывая, кидался прочь, когда гнилая рука, прикинувшаяся веткой, пыталась схватить его за шею. Кладбище и его обитательница давно остались позади, но он мчался сквозь лес и не мог остановиться. А уж о том, чтобы обернуться, он не смел и думать. Он понимал, что, если ещё раз увидит прекрасное и ужасное лицо в нимбе светлых волос, пронизанных лунным светом, с пятнами гниения и жуткой улыбкой, то просто умрёт.

Он не помнил, сколько так бежал. Он давно сбился с направления, потому что несколько раз ему казалось, что видит впереди светлую тонкую фигурку, которая летит к нему, протягивая руки, а те удлиняются, как резиновые. Он вскрикивал и кидался прочь. После одного неудачного прыжка он услышал «хрруп!» в левой лодыжке и на следующем шаге покатился по земле, не в силах сдержать крик. Но ужас

и отвращение перед немёртвой тварью, что преследовала его, гнали его вперёд. Он поскакал дальше, подволакивая покалеченную ногу, цепляясь за стволы...

Он уже почти не соображал от боли и ужаса, как вдруг увидел между деревьями огонёк.

...Калитка была заперта. Он ухватился за столбик, а другой рукой заколотил в доски, точно убивал врага всей своей жизни.

– Кто там? Танька, ты? Чего буянишь? – послышался недовольный мужской голос.

– Помогите! Я заблудился и сломал ногу в лесу! – прорыдал Егор.

Послышалось недовольное бурчание, потом – шаги в сторону калитки, потом – звук открываемой щеколды. Для измученного путника эти звуки были лучшей музыкой на свете.

Калитка отворилась, и Егор едва не упал внутрь.

– Ты один? – спросил хозяин. Его лица Егору было не разобрать – он видел только силуэт большого грузного мужчины с распущенными по плечам длинными волосами. В правой руке хозяин держал дробовик.

– Один! – ответил Егор. – Помогите... я сломал ногу... я не могу идти!..

– Заходи, – буркнул хозяин и отступил в сторону, давая возможность гостю пройти в калитку. – Ого, да ты и впрямь себя подковал на одно копыто. – Он подхватил Егора подмышки левой рукой, и они вдвоём поковыляли к крыльцу.

Дверь на крыльце приоткрылась.

– Кто там? – спросила женщина. Она стояла в дверях, заслоня свет.

– Да парень какой-то незнакомый. Говорит, ногу сломал, – отвечал хозяин дома. – Вроде не врёт.

«Упаси тебя бог врать!» – говорил его голос.

С помощью хозяина Егор забрался на крыльцо и прошёл на веранду, где со стоном опустился на стул.

– Что случилось-то? – спросил хозяин. Это был грузный дядька, лет за пятьдесят. Длинные кудри с заметной проседью, запорожские усы и потёртый кожаный жилет поверх рубахи делали его похожим на героя приключенческого фильма, на хозяина постоянного двора на диком фронтире. Это ощущение усиливал дробовик, который мужик держал, как старинный дуэльный пистолет. Он перехватил Егоров взгляд и усмехнулся. – Да это так... для понта больше. В прошлом году какие-то пьяные уроды в дом вломилась, я одного в ухо приласкал, а другой мне по башке хрясь! А третий ножом трясёт, гадёныш! Хорошо, Танька догадалась, достала ружьё и саданула в стену. Никого не задела, но этого хватило. Те сразу протрезвели, дружка своего, которого я контузил, подхватили и давай бог ноги! – Хозяин довольно хохотнул и унёс дробовик в комнату. Лязгнуло железо.

– Ну ладно тебе, отец, про подвиги свои хвастать! – недовольно заметила хозяйка – светловолосая женщина лет сорока, в джинсах и футболке. – Человек покалеченный, не видишь, что ли? Надо ему ногу посмотреть.

– Верно. Давай-ка... – Хозяин опустился на одно колено и задрал грязную штанину на покалеченной ноге гостя. Егор только что заметил, что на нём нет ботинок. – Мда-а. Вот так болит? А так?

– Ф-ф-ф... а-а-хх... болит, но... не очень...

– Ларис, принеси эластичный бинт. У нас где-то есть новый, неиспользованный.

Хозяин ловко окрутил покалеченную ногу эластичным бинтом, после чего, отдуваясь, поднялся с пола и сел на стул напротив гостя.

– Я не доктор, но на перелом непохоже. Скорее ты связки повредил. Тоже не подарок, особенно если разрыв. На ногу можешь ступить, не?

– Не знаю...

– Ладно. Переночуешь у нас, а завтра я тебе такси вызову, чтобы отвезли домой или там в больницу...

– Мне сегодня надо... – проговорил Егор, глядя в тёмное окно.

– А от сегодня осталось с гулькин хвост! – усмехнулся хозяин. – Ты на часы глянь! Без пяти одиннадцать. Извини, мил человек, я тебя сейчас не повезу, а такси, чтобы сюда среди ночи ехать, цену конскую заломит. У нас тут дорога плохая и фонарей нет, ночью ехать – самоубийство.

– А где... где мы? – спросил Егор.

– В Волчьих Выселках, – ответил хозяин, улыбаясь в усы. – Серьёзно, так называется. Три дома... один нежилой, десятый год гниёт, во втором Никоновы живут, но они приезжают только в июле да ещё на майские. А в третьем – мы. Как Робинзоны. До ближайшего жилья – пять километров, до железной дороги – три... если напрямик через лес.

– Вот-вот, – вздохнула хозяйка. – Полночь скоро, а Танька до сих пор где-то бродит...

– Ларис, Танька у Селидора в секции пашет, как проклятая, уж чего-чего, а за себя постоять умеет. Если на неё какая-то мразь рыпнется, то я одного боюсь – чтобы Танюшка не переусердствовала.

– А я, может, того же боюсь.

– А бояться не надо. Страх убивает волю и разум. Верно, парень? Оставайся, в самом деле. Куда полночь ехать?

– Вы кстати, молодой человек. Мы как раз ужинать собираемся! – сказала хозяйка, ласково глядя на Егора.

– Ужинать? – Егор почувствовал, как в живот провалился ледяной комок. Он видел, как хозяйка ставит на плиту большую кастрюлю с водой.

С водой.

Ещё посолила и перец с лаврушкой кинула.

А мясо?

А мясо – вот оно, пришло. Приковыляло. На своих полутора ногах.

До Егора дошёл весь ужас его положения. Волчьи Выселки, да. Живут тут двуногие волчары и мяском питаются. Вон какое брюхо отъел! А он типа овца, значит... Ну уж нет!

– Я пойду! – решительно заявил Егор и поднялся. Левая лодыжка стрельнула болью, он пошатнулся, но устоял. – Спасибо... мне правда лучше.

– Эй, эй, парень, ты что? – удивился хозяин. – Куда ты?

– Домой. Я ничего про вас не скажу, правда...

– Да вы что? – удивилась в свою очередь хозяйка.

– Да. Это ваши дела. Они меня не интересуют. Мне своих проблем хватает по горло. Дядя, держись-ка подальше! – он выхватил и ловко раскрыв ножик, прикидывая, что если людоед протянет к нему лапу, он резнёт его по запястью снизу. Учили добрые люди, как это делается...

– Ты... ты что, друг, контуженный? – выдавил из себя потрясённый хозяин. – Слышь, я теперь тебя точно не отпущу!

– Ага. Контуженный! И невкусный. Так что... отойди от двери. И не вздумай дёрнуться за пукалкой своей, порежу! Найдёте другой ужин, ладно? Может, Танька кого-то принесёт...

Пока хозяин и хозяйка переваривали обрушившуюся на них информацию, скрипнула калитка, прошелестели лёгкие шаги по тропинке, и кто-то стал подниматься на крыльцо.

– Кто там ещё? – нервно окликнул хозяин.

– Это я, – донёсся из-за двери голос.

До ужаса знакомый голос.

– Что там у вас? Всё в порядке?

– Не впускай её! – завопил Егор. Хозяин Волчьих Выселков уже не казался ему таким уж страшным. С человеком, даже чокнутым каннибалом, можно договориться. С нежитью – нет. – Мужик, Христом богом молю, запри дверь и не впускай её! Только не впускай! Сама она не сможет...

– Так, блин!..

Дверь распахнулась, и на пороге встала она.

Его старая знакомая с кладбища. Любительница прогулок под луной.

Стройная девица со светлыми волосами, похожими на нимб.

С гниющим лицом.

Егор почувствовал подступающую дурноту, мир завертелся перед глазами и полетел в тар-тарары.

* * *

Мерзкий запах. Хотя если он в аду, то там так и должно пахнуть. Нет, в аду пахнет серой, а это что-то другое.

Он затряс головой.

– Ну наконец очнулся, – услышал он голос людоеда. – Убери нашатырь, пока мы все не отравились.

– Мам, пап, может, расскажете, что тут происходит?

Егор снова тряхнул головой и открыл глаза. Первое, что он увидел, было лицо мертвячки. Стоп, с какой радости «мертвячки»? Нормальная живая девчонка лет семнадцати, кстати, довольно симпатичная. Но почему-то упорно поворачивается к нему левой щекой.

Вот! Она немного повернула голову, и на правой щеке стали видны тёмные язвы, похожие на удар когтистой лапой. Это они в неверном свете луны показались ему пятнами тления, а напряжённые нервы дорисовали остальное.

Девчонка поймала его пристальный взгляд.

– Что так пялишься? Влюбился в мою гнилую морду? Подожди, вот подживут, будут такие шрамы, что все парни падать будут!

– Тань, ну что ты говоришь! – зашумела на неё хозяйка, должно быть, мать. – Что Пётр Семёнович говорил? Динамика нормальная, главное, что воспаление сразу подавили...

– Лан, ма, я шучу. Как всегда, неудачно. Это у меня фамильное. От папочки.

– Ой, ну тебя, с вашими шутками ноги протянешь! Молодой человек, вас как зовут?

– Егор.

– Егор, вам лучше? Может, всё-таки отвезём вас в больницу? У вас, кажется, сотрясение.

– Или что похуже! – Пузатый хозяин строго посмотрел на гостя из-под кустистых бровей. – Вас тут бешеный волк-людоед не покусал? У нас, знаете, бегают по округе такой... ростом с телёнка, сам белый, а глазищи адским огнём горят. Кого тяпнет, тот начинает бред нести, пока всех вокруг не доведёт до икоты. Он вам не встречался?

– Встречался кое-кто... поинтереснее, – ответил Егор. В этот момент он хотел только одного – провалиться сквозь землю.

Что ж, самое умное, что сейчас можно сделать, – это всё честно рассказать.

– Простите, как вас зовут? – спросил он.

– Нас-то? – переспросил хозяин. – Меня – Игорь Михалыч, хозяйку мою – Лариса Викторовна, а дочь – Татьяна.

– Игорь Михалыч, Лариса Викторовна, Татьяна... Простите, пожалуйста, – просипел Егор. – Простите. Вы мне помогли, спасли, можно сказать, а я... Я вёл себя неадекватно. То есть как последний урод. Понимаете... такой день выдался... ужас...

– Егор, ты скажи честно: за тобой следом никто не заявится? – перебил хозяин. – Только честно. Как мужик. Чтобы мы знали, какие ещё проблемы...

– Нет-нет-нет! – Егор замотал головой. – Никакого криминала. Даже не думайте! – Он вздохнул и рассказал о своих недавних злоключениях. Правда, финал он поведал в цензурированном варианте. В его версии выходило, что он сбился с пути, повредил ногу и ковлял по лесу, пока не увидел спасительный огонёк.

– Ну, а дальше вы знаете, – завершил он.

– Бывает, – серьёзно сказал хозяин. – Со мной тоже такое бывало. День не задался – пиши пропало. Наверное, не так уж глупы были наши предки, когда говорили, что, мол, не с той ноги сегодня встал. А ещё говорят, – он усмехнулся, готовясь поведать что-то, с его точки зрения, занимательное, – нехорошо, когда начинает сказочно везти. Вот прямо всё так и идёт тебе в руки. Говорят, надо самому что-то себе испортить, а то судьба такую бяку тебе подложит, что всё везение проклянёшь.

– Правда, что ли? – удивился Егор.

– Да бабьи бредни, конечно! – ещё шире ухмыльнулся хозяин.

– Наш папочка – чёртов патриархальный сексист! – ввернула Танька.

– Цыц, амазонка! А то покажу, что такое патриархат и сексизм! Ну, пускай не бабьи, но точно бредни. Хотя со мной однажды был такой случай... На свадьбе моей.

– Ой, вот так всем это интересно! – замахала руками хозяйка.

– Да ладно, забавно вышло. В общем, после конфетно-букетного периода мы с моей нынешней мадам, – он изобразил шутливый поклон, – сыграли свадьбу. Свадьба была по высшему разряду, хотя денег у нас тогда было немного... да и сейчас не очень-то разбогатели... да-а, но свадьбу закатали будь здоров. Родители, конечно, помогли, как без этого. Сняли открытую веранду в ресторане, родню, друзей зазвали, всего человек двести, Лариса Викторовна вся такая воздушная в розовом платье, я у белом кустоме – вот, захотелось выпендриться: мол, что все женихи в чёрных лапсердаках, будто на похоронах, я буду в чудесном костюме цвета сливочного мороженого. – Лариса Викторовна сидела с постным лицом, а Танька заранее подхихикивала – она, видно, знала эту историю. – Ну, сам знаешь, Егор, на свадьбе всегда дым коромыслом. И вот кому-то пришлось в дурную головёнку после особенно пафосного тоста бокалы колотить. Наколотили её на мою тогдашнюю месячную зарплату, чтоб им пусто было! Ладно, это мелочи. В общем, мы с Ларисой Викторовной стоим, целуемся под нетрезвые вопли «Гор-р-рьяка!», потом садимся обратно на стулья, она ничего, а я очень поспешно поднимаюсь. И еле удерживаюсь, чтобы не сказать то, что жениху

на свадьбе говорить не положено. Потому что меня что-то очень больно укололо в филейную часть. Значит, встаю и извлекаю из ягодицы вот такой осколкище стекла! – Хозяин развёл указательные пальцы. – Кровь мгновенно заливает штаны. А Ванька Сидоров, свидетель мой, который, как полагается, уже на выходе из загса был ужратый в хлам, видит багровую кляксу у меня на штанах и орёт: «Что, жених, критические дни начались?»

Танька, не стесняясь, расхохоталась; её мать с деланным возмущением покачала головой:

– Вот обязательно надо было эту гадость рассказать!

– Я этому охламону в зубы дал, о чём потом пожалел. Он же пьяный, драться не мог вообще, так и завалился. Но обычай соблюли, потому что свадьба без драки – не свадьба, а детсадовский утренник. Во-от. О чём я?

– Уже забыл! – поддела его хозяйка.

– Так вот о чём: после этого скандала у нас семейная жизнь всем на зависть. Я это всем говорю и не боюсь, что кто-то спазлит. Старший сын уже в армейке отслужил, сейчас учится, и не абы где, а в Краковском университете, с какой-то польской паненкой у него роман, говорит, дело идёт к свадьбе. И у Таньки всё прекрасно...

– Особенно рожа, – добавила Танька.

– Не рожа, а прелестное личико. Заживёт, так что через месяц сама не вспомнишь.

– Угумс. Только всё лето теперь насмарку. Не покупаешься и людям лишний раз на глаза не покажешься. – Она вздохнула. – Вот, – она повернулась к Егору, – поехала кататься на велике, и угораздило же меня! Комар сел на щёку, укусил и сосёт! Столовую нашёл! Мне бы его прихлопнуть, а я в этот момент вижу – из-за чужого забора свисает ветка яблони, ну, я проехала впритирку и этой веткой его согнала. Ну и... вот!

– Что «вот»? – не понял Егор.

– Ветка, которая мне по лицу хлестнула, была обработана какой-то гадостью. От вредителей. А у меня вечером щёку разнесло и глаз закрылся, а утром пузыри вздулись. Папенька повезли в город к самолучшему доктору. Неделью назад сняли повязку. Говорят, что скоро совсем заживёт и уже почти незаметно, но я всё равно предпочитаю гулять поближе к вечеру. А днём не выхожу со двора без веера. Хорошо ещё, у нас тут медвежий угол, Волчьи Выселки, – она фыркнула, – а то хожу как зомби...

– Вы как знаете, а я хочу есть, – вступила хозяйка. – Не для того вчера весь вечер над пельменям гнулись, чтобы сегодня ужинать вашими разговорами. Татьяна, ты тоже хороша. Гуляешь за полночь, хотя тебя тут вообще-то ждут ужинать! Неси пельмени с ледника! Егор, вы поужинаете с нами?

– Если можно... – ляпнул Егор и мысленно дал себе тумака. Ну, какую глупость он ещё сморозит?

– Нужно! – сказал хозяин. – Не беспокойтесь, пельмени у нас из нормального фарша, – мстительно добавил он.

– А что, были сомнения? – Танька остановилась в дверях с подносом в руках.

– Да наш случайный гость отчего-то решил, будто мы собираемся употребить на ужин его, – с удовольствием рассказал хозяин. – Наверное, поэтому хотел меня зарезать. Возвращаю нож, – хозяин протянул Егору складень. – Не сомневайтесь, любезнейший – я не людоед, и мой

отец – тоже не людоед, и даже дед, хотя ему на Кубани голодовать пришлось, клялся и божился, что их семья людоедством не грешна.

– Извините, – выговорил Егор. – Просто когда я увидел, что вы ставите на огонь пустую кастрюлю...

– ...Сделал единственно возможный вывод, – закончил хозяин. – Что хозяева собираются его схарчить.

– Просто всё в голове перемешалось!

– Да мы это заметили, – бестактно сказал хозяин.

– Ох ты! – спохватился Егор. – Мне надо домой позвонить! А то жена в розыск подаст. Я ведь шесть часов как должен был домой вернуться!..

Хозяин молча протянул ему мобильный.

Егор набрал номер домашнего телефона – номер жениного мобильника он не помнил.

– Алло! – послышался голос Полины. Судя по гнусавости, она не раз всплакнула за эти часы. У Егора у самого защипало глаза.

– Полли, девочка, это я! Я, Егор! Я не мог раньше позвонить! Почему не со своего? Да я свой потерял! ...Нет, точно, всё в порядке! ...В Волчьих Выселках! Это деревня тут такая! Да всё нормально, говорю же тебе, завтра приеду! Что? Позвони и скажи, что я нашёлся! Завтра расскажу! ...Блин, ну машину разбил, ногу подвернул, телефон потерял! Да, вот так совпало! Я бы сам не поверил! ...Только не плачь больше, ладно? Всё же хорошо, да? Всё в порядке. Всё, девочка моя, спи спокойно!

– Мобильники нас испортили, – рассуждал хозяин, когда они приступили к трапезе. – Мы привыкли, что все постоянно на связи. Если пять минут не можешь до человека дозвониться – уже психуешь...

– И когда это я психовала? – поинтересовалась хозяйка.

– Я не про тебя, я про себя, – невозмутимо ответил хозяин. – Если я долго не могу дозвониться до тебя или до Таньки, начинаю дёргаться. Хотя рассудок подсказывает тысячу логичных объяснений. Нет покрытия, телефон разрядился... да мало ли причин! Нет, начинаешь выдумывать себе всякие ужасы. Эти куски пластика превратят нас всех в психопатов.

– Угумс, – кивнула Танька. – Психопатов развелось как собак нерезанных. Если бы вы знали, какая дикая история со мной случилась...

– Что ещё? – нахмурился отец.

– Да вот сегодня, иду себе по лесной дорожке, никого не трогаю. Возле старого кладбища подходит какой-то тип. Здравствуйте, говорит, девушка, добрый вечер. Я только рот открыла, как он завизжал как резаный и ускакал на кладбище. Не удивлюсь, – нервно хихикнула девушка, – если он оттуда и выполз. Из могилки.

– А ты больше гуляй по ночам, особенно возле кладбища, – посоветовала мать. – Тань, это всё-таки небезопасно. Ну мало ли на свете психопатов, действительно?..

– Мам, мне нечего бояться, психопаты сами от меня разбегаются, – задумчиво ответила дочь и как-то очень внимательно присмотрелась к Егору. Тот старательно смотрел в тарелку. – Егор! – окликнула она.

– Что? – встрепенулся он.

– Ничего. – Она уткнулась в тарелку, но в глазах притаились весёлые искорки.

Хозяин поднял голову, посмотрел на Егора и усмехнулся.

– Ну вот и ладно, – сказала хозяйка, когда они закончили ужин. – Уже полночь скоро, пора спать. Егор, мы вас на втором этаже устроим.

Уж извините, что вам с больной ногой придётся карабкаться, но у нас только одна гостевая комната, в остальных мы сами спим. Есть ещё одна на первом этаже, но там разбираться полдня...

– Ничего, вы и так меня спасли. Не знаю, как вас благодарить.

– Если что, туалет в доме, выходите с веранды и прямо по коридору, а там налево.

– Спасибо.

Егор забрался на второй этаж, ещё раз выслушал извинения хозяйки за то, что ему приходится терпеть такие неудобства, а когда она вышла, разделся и рухнул на постель. Через пять минут он провалился в сон без сновидений.

Он спал и не видел, как на двор выскользнули три гибких тени. Две необычайно крупных белых волчицы и волк – настоящий гигант, ростом с телёнка. Такому не надо пускать в ход клыки – он зашибёт человека ударом когтистой лапы. Одна волчица задрала любопытную морду на окно мансарды, где спал Егор, и на правой стороне морды в лунном свете у неё стали видны заживающие шрамы. Вожак коротко и строго рыкнул, волчица отвернулась от окна. Гость неприкосновенен – это она знала с малолетства. Вот если бы он попался ей в лесу – другое дело.

Вожак издал короткое урчание, разбежался и перемахнул через забор. Волчицы последовали за ним.

Лев ГРИГОРЯН

Родился в 1980 году в Москве. Окончил Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ). Работал переводчиком с итальянского языка. В настоящее время – сотрудник Института научной информации (ВИНИТИ) РАН. Живет в Москве.

ВОЛНЫ ШУМЯТ ЗА КОРМОЙ

«Мы плывём на корабле, – думает Лена. – На большом корабле с белыми парусами».

Лена смотрит в окно. Ей виден краешек неба. Всё правильно, ведь окно – это иллюминатор. Много из него не увидишь.

Корабль качается на волнах. Лена закрывает глаза. Надо заснуть. Сон подгоняет время. Во сне корабль плывёт быстрее.

Лена устала ждать конца плавания. Больше всего на свете Лена не любит ждать. Ожидание подтачивает силы, давит на сердце, мешает вздохнуть.

Ожидание похоже на скучный урок, когда голова отключается и премудрости арифметики ускользают, теряются, а звонка почему-то всё нет и нет.

Откуда всплыло это воспоминание? Лена давно не была в школе. Очень давно. С тех пор минула целая жизнь. Лена помнит последний урок, побелевшие пальцы, машину с сиреной.

Больше в школу её не пустили. Мама с папой непривычно тихими голосами вразнойбой говорили: «на какое-то время...», «обучение на дому...», «вот наступит весна...». Лена радовалась и удивлялась: неужели больше не надо вставать по утрам?

Кукла Даша одобрила новую жизнь. Можно было играть и гулять целый день напролёт. Лена твёрдо решила воспитать Дашу истинной путешественницей. Сшила модный спортивный костюм. Но потом оказалось, что на улице тоже нельзя.

Зато приходили гости. В основном одноклассницы. У Лены было много подруг. Говорили о школьных заботах, шептались о мальчиках. Лене не было дела до мальчиков, но приятным казалось доверие.

Понемногу подруги заходить перестали. Вместо них приходили взрослые, незнакомые. Задавали вопросы, смотрели, шептались с родителями. Лена этих, чужих, не любила. От них пахло карболкой и ложью.

При чужих родители говорили негромко. Но лишь гость ступал за порог – начинали кричать друг на друга. Мама кричала на папу,

папа на маму, бабушка на них обоих. И только на Лену никто не кричал. Поэтому Лена кричала на Дашу. А Даша хлопала ресницами и повторяла, как заведённая: «Всё образуется, всё образуется, ну чего же ты? ну?»

Тогда ещё не было корабля с капитаном, и дом не казался пустым. Лена в ту пору не знала, что они с Дашей вправду окажутся путешественницами. Она шила Даше наряды, учила её разным танцам.

Странно думать об этом теперь, на корабле, в белоснежной огромной каюте.

Лена отворачивается к стенке, гладит Дашу по голове. Засыпает. Волны шумят за кормой.

...Наутро Лена весёлая. Солнце светит в иллюминатор. Корабельный кок привозит тележку с завтраком. После завтрака – мультики.

Лена с Дашей внимательно смотрят, как серый, совсем почему-то не страшный Волк гоняется за каверзным Зайчиком. Лена болеет за Волка, а Даша за Зайчика. Даше всё время везёт, а Лене не очень. Это Лену не удивляет, ведь Даша такая правильная. Даша сильная, намного сильнее Лены.

Бабушка говорит:

– Ты справишься, Леночка. Ты должна быть сильной.

– Зачем? – отвечает Лена. Ей давно уже ясно: хоть ты сильный, хоть слабый, а корабль плывёт своим ходом. Ни быстрее, ни медленней.

Но бабушка Лену не слышит. Присев на краешек койки, бабушка гладит Лену по голове, как в прежние тёплые времена. Рядом на тумбочке лежит расчёска. Бабушка её не берёт.

Лена смотрит в иллюминатор. Там виден айсберг, пушистый и мягкий. За ним другой, чуть поменьше.

– Не молчи, – просит бабушка. – Помнишь стихи, что мы с тобой учили? «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя...»

Лена помнит. Она читала стихи в школе, а потом маме с папой. Ей становится грустно.

– Ну что ты? – говорит бабушка. – Всё образуется. Ты скоро вернёшься домой.

Лена прижимает к себе Дашу покрепче. Домой... Лена не хочет домой. Дома пусто и холодно. Мама с папой уже не ругаются. Дом опустел незаметно. Лена помнит: папа ссутулился, стал пропадать на целые дни, а потом и вовсе исчез. А мама с бабушкой как воды в рот набрали, ничего от них не добьёшься. «Где папа?» – «Он в другом городе». – «А когда он вернётся?» – «Потерпи, Лена, всё образуется».

Лена привыкла терпеть. Но теперь она больше не верит словам. Особенно тем, которые «обязательно», «скоро» и «любит».

К ней сюда, на корабль, мама как-то привела непонятого дяденьку. Дядька был с бородой, в чёрном платье с подолом, и пахло от него не карболкой, а чем-то другим. Но Лене он всё равно не понравился.

Чёрный дядька рассказывал Лене всякие странные вещи. Лена узнала, что есть человек, который всех любит, а особенно Лену. Человек обитает на айсберге, о который мы все разобьёмся. С верха айсберга он видит всё и готовится Лену спасти. Если корабль потонет, человек этот вытащит Лену. А если Лена будет стараться, человек спасёт её ещё раньше, так что даже тонуть не придётся.

– А Дашу он тоже спасёт? – задала вопрос Лена.

Чёрный дяденька улыбнулся и вновь заговорил непонятно. Но Лена усвоила: вряд ли. Человеку на айсберге мало дела до Даши.

– Как же так! – возмутилась тогда Лена. – Ведь Даша совсем исхудала и плохо переносит качку.

Лене хотелось схватить непонятого дядьку за бороду, дёрнуть, чтобы он замолчал и ушёл. Но Лена была воспитанной девочкой и просто отвернулась к стене.

Дядька ещё пожужжал немного, погладил Лену по голове, совсем как бабушка, и исчез.

– Он всё-таки добрый, – утешила Лену Даша. – Просто глупый. В своей бороде, как Хоттабыч, запутался, вот и бубнит невесть что.

Лена долго молчала тогда. И корабль попал в шторм. А потом приходил капитан. Капитан был высокий и статный.

За ним следом ходили помощники и помощницы – все красивые, молодые, в белых морских плащах.

Пассажиры в каюте, присмирев, перешёптывались:

– Доктор-Зорин пришёл.

Капитан Доктор-Зорин нравился Лене. Он не прятал глаза за журчанием слов. Не вздыхал об исчезнувшем прошлом, не предсказывал будущее. И всегда был добр к Даше.

Лена чувствовала: капитан своё дело знает, и корабль в надёжных руках. С таким капитаном не страшны ни бури, ни айсберги. Но от плаванья Лена устала. Ведь нельзя же странствовать вечно?

В одну особенно сильную бурю капитан прописал Лене спасательный трос. Чтобы Лену не смыло за борт, ей к руке прикрепили тросик, и Лена долго лежала, глядя в белые паруса. Внутри тросика сочилось море – медленно, тихо, по капле. И Лена верила, что море не страшное. Его можно вычерпать, разложить на сто тысяч капель. И по капле его переплыть. Нужно только терпение.

Но терпения не хватало.

Мама с тенью в глазах спросила тогда капитана:

– Ну как? Неужели? Скажите?

Капитан Доктор-Зорин отвёл маму в сторону. Им казалось, что Лена заснула, но они ошибались.

– У неё был бы шанс, – сказал капитан. – Если б только она захотела помочь нам. Лена сильная девочка. У неё есть характер. Конечно, этого мало. Обнадёживать вас не хочу. Диагноз коварен, мы все это знаем, и всё же... Случается разное. Но когда нет желания... Её просто ничто здесь не держит.

– А я? – бесцветно спросила мама.

– Вы – да, – подтвердил капитан. – Но не только в вас дело.

Голоса их притихли, и Лена услышала море...

...Новый день наступает, и ещё, и ещё. Лена пришпоривает время, завивает его колечками.

За иллюминатором – небо. Даша капризничает:

– Нам не выбраться из каюты! Никогда! Никогда! Здесь так тесно, так душно... Эти стены – тюрьма. Паруса – это саван.

– Даша, будь человеком, – сердится Лена. – Волноваться тебе не полезно. Я в ответе за твоё самочувствие.

Даша жалобно морщит мордашку:

– Я тоскую по вольному ветру...

Входит мама. Говорит:

– Погляди, вот хорошая книжка. Видишь, этот мальчик со шрамом – волшебник.

– Знаю, я же смотрела кино, – отвечает ей Лена.

Но мама не сдаётся:
– А вот это волшебная школа.
– Помню. Там такой древний замок.
– Так нельзя, – мама хмурится. – Почему ты всё время молчишь?
– Я говорю, – возражает ей Лена. – Просто ты не замечаешь. И бабушка тоже. Никто, кроме Даши, не слышит.
Мама закрывает книжку и гладит Лену поверх одеяла.
– Включить тебе мультики?
– Не надо, – отвечает Лена.
Мама медлит. Включив телевизор, уходит.
На экране появляется Волк с жёлтой рыбиной в лапах. Лена закрывает глаза. Нету сил болеть ещё и за Волка.
...Проходят дни. В океане тревожно. Где-то далеко, за тысячу морских миль, есть берег, и там сейчас осень.
В иллюминаторе мгла. У Лены в голове крутится стих про бурю. Буря действительно не стихает. Трудно разглядеть что-то во мгле. Если там прячется айсберг, корабль утонет.
Капитан тоже мрачен. Мама больше не спрашивает его ни о чём. Бойтся.
Корабельный кок увозит тележку. Лена не хочет есть. Когда катастрофа случится, потребуются шлюпки, а в шлюпках всегда мало места. Поэтому Лене и Даше нужно быть худенькими.
Мама с бабушкой тоже в каюте. Они раньше редко сидели вдвоём; обычно то мама, то бабушка. А если уж обе, то всегда разговаривали. Теперь молчат. Телевизор тоже молчит.
Перед глазами у Лены мельтешат золотистые точки. Это волшебные пчёлы. Значит, можно загадать желание. Но желаний у Лены сейчас нет, хочется только, чтоб пчёлы исчезли.
Открывается дверь. Наверно, опять капитан? Он рискует, думает Лена. Нельзя же бросать штурвал в такой шторм.
Но это вовсе не капитан.
Лена видит, как мама и бабушка вскакивают, будто пружиной подброшенные. У бабушки перепуганный вид, мама бледная как полотно.
Лена моргает и, сквозь дрожащий рой пчёл, замечает: в каюту ворвался папа.
– Ах! – говорит кукла Даша и закатывает глазки, как когда-то, в тёплые времена.
Папа снова такой, как был прежде, совсем не сутулый, только небритый. На папе зелёная осенняя куртка. Лена помнит, какой в куртке мех – мягкий и добрый.
– Ни за что! – шепчет бабушка, и в словах её яростная решимость.
– Ну уж нет, – улыбается папа, бросается прямо к Лене, поднимает с постели, прижимает к себе: – Ох, какая ты стала...
Мама беззвучно шевелит губами. В лице у неё ни кровинки.
Бабушка отступает:
– Ей же нельзя! – говорит уже как-то беспомощно. – Ты ведь знаешь...
Папа не обращает внимания. Он обнимает Лену, и Лена вся дрожит, уткнувшись лицом в папину куртку.
– Папа, – шепчет Лена тихонько.
– Я здесь, – отвечает ей папа. – Я больше тебя не оставлю.
– Слышишь? – мама спрашивает у бабушки. В мамином голосе изумление. – Лена... заговорила...
Папа садится с Леной на койку. Бережно поднимает упавшую Дашу.

Подходит мама, кладёт папе руки на плечи.

– Я думала, ты там... – произносит она неуверенно.

– Я и был там, – отвечает папа. – Но мне там совсем не понравилось.

– Разве возможно?... – спрашивает мама.

– Если постараться, – отвечает папа серьёзно. – Надо только сильно этого хотеть.

– Вот Зорин говорит, что Лена не хочет, – вспоминает мама. Вид у мамы снова поникший.

– Не хочешь? – папа с улыбкой смотрит на Лену. – Совсем ничего не хочешь?

У Лены дрожат ресницы. И голос дрожит. Она говорит:

– Мы с Дашей... хотим... на берег...

– Ну вот, – соглашается папа. – Поедем, значит, на берег.

– Когда? – спрашивает Лена.

– Сейчас! – папин голос... и мамин. Лена даже не верит: ведь они сотню лет вразной говорили, а тут вдруг вместе.

– Вы с ума сошли! – восклицает бабушка. – Вы забыли, в каком она состоянии?

– Спокойно, – говорит папа. – Зорин сам... Не всё сразу. Постепенно. Начнём со двора.

И вновь обращается к Лене:

– До берега далеко. Нам надо освоить катер. За один раз не выйдет. Но мы будем учиться. Правда, Лен? Начинаем сегодня.

– Хорошо, – шепчет Лена.

А потом настанет суета. Появляется капитан. За ним – много-много помощников. Капитан спорит с папой. Помощники возятся со спасательным тросом. Лену жалит противный комар. Но Лена терпит, ведь скоро появится катер.

Бабушка ворчит, как когда-то ворчала дома. Мама укутывает Лену в одеяло. А папа набрасывает Лене на плечи свою меховую зелёную куртку.

Даша вспоминает, что она тоже путешественница, и прыгает Лене в руки.

Капитан наконец пожимает плечами, и в каюту въезжает блестящий катер на упругих колёсах.

Лену с Дашей сажают вперёд.

Сзади становятся папа и мама. Правее шествует бабушка. Рядом двое матросов-помощников.

Раздаётся свисток капитана. И катер медленно выплывает из каюты. Вперёд, туда, где затиш морской шторм, где дует спокойный ветер и качаются в небе снежно-белые айсберги. Они мягкие, как пушистая папина куртка, и разбиться о них невозможно.

Ветер дует Лене в лицо. Над волнами кружат листья клёна. А на губах у Лены расцветает улыбка.

Нина ЯГОДИНЦЕВА

Родилась в Магнитогорске. Окончила Литинститут им. М. Горького. Старший преподаватель сценарного мастерства в Челябинской государственной академии культуры и искусств, кандидат культурологии.

Автор семи поэтических книг, курса лекций «Поэтика: модели образного мышления» и учебника точной речи «Поэтика: двенадцать тайн», многочисленных поэтических, критических и научных публикаций. Стихи вошли в ряд поэтических антологий. Лауреат литературных премий имени П. П. Бажова (2001) за книгу «На высоте метели» и имени К. Нефедьева за рукопись книги «Течение донных трав» (2002 год).

Член Союза писателей России. Живёт в Челябинске.

БЛАГОДАРЕНЬЕ РЕЧИ

* * *

День осыпан пеплом сновидений.
Словно бы тревожный смутный сон
Вышел из своих ночных владений –
И его назойливые тени
Обступают свет со всех сторон:

Бьётся перепуганная птица
В полутёмной каменной трубе,
Чёрная, огромная –
Тебе
Страшно: боже, где она гнездится?

Вот пустая церковь на холме,
На далёком острове, и волны
Выстилают пеною во тьме
Лёгкую тропу – и ты невольно
На неё ступаешь, но на дне
Вспыхивает мрак:
Тропа в огне.

Вот холодный мрачный коридор,
Весь в лохмотьях старой синей краски.
Вдалеке – окно.
Но свет напрасный,
Словно свету Божьему укор,

Льётся прочь. А ты стоишь с младенцем
На руках. И над холодным тельцем
Вьётся мысли слабенькая нить:
Нужен свет! Тогда он будет жить.

Снится жизнь – но словно бы чужая.
Снится, камень мира обнажая
Или роковую пустоту –
И гудят вселенские колодцы,
И чужая птица в стены бьётся,
Осыпая пепел на лету...

* * *

Ненасытной удалью молодой тоски
Воровская музыка мечется в такси.
Бьётся в стёкла, поймана чёрным коробком...
Что она, о ком она? Больше ни о ком.

Вспоминать не велено, всё пошло не так:
От проспекта Ленина на Свердловский тракт,
Дальше – Комсомольского чёрная река...
Помяни их, Господи: мальчиков зека,

Девочек без вызова, ужас чёрных трасс...
Музыка неистово обвиняет нас,
Выживших в развалинах, помнящих едва:
Музыке позволено, музыка права!

Слов не слушай, Господи: лгут слова навзрыд.
Плотный сумрак в городе фонарями взрыт,
Чистые обочины, липы зацвели –
Тоже между прочими жили как могли.

* * *

В малой горсточке тепла
Спать да спать, дыша неровно...
Боль пройдёт, как ночь прошла.
И она была огромна,

И она была темна,
И её гроза взрывала –
Даже в горсточку тепла
Ветром брызги задувало.

И, почти сводя с ума
На немислимой поверке,
Била высверками тьма
Прямо в сомкнутые веки.

И казалось, выше сил
Неумолчный грохот ада –

Только кто-то подносил
Сердцу тихую прохладу,

Утирал огонь со лба,
Молча истово молился...
Сохрани во сне, судьба,
Эти призрачные лица,

Эти ясные глаза,
Свет лучащие, спасая.
Тающие голоса,
Невесомые касанья.

* * *

Осени печальная отрада,
Тайна, не открывшая лица, –
На Успенском, в устье листопада,
Слева от маршрутного кольца.

Узенькая долгая аллея
С ломким молодым карагачом
Увела, как дудочка-жалейка,
И не пожалела ни о чём.

Увела... Под лёгкими шагами
С облаков осыпалась пыльца.
Больше ничего не слышно в гаме,
В грохоте маршрутного кольца.

И не пожалела... Но, жалея
Всё, чего отныне больше нет,
На другом конце пустой аллеи
Возникает светлый силуэт...

Пахнет степь иссохшею травой,
Свежей краской, глиной, чабрецом.
Небо, голубое-голубое,
Тает над разомкнутым кольцом.

Благодаренье речи

1

Радость говорить – пробовать на вкус
Воздуха сырой серебрённый хруст,
Корочку морозца ломая
До горячей мякоти мая...

Кто для нас с тобой этот хлеб растил?
Кто его питал солнцем спелых сил,

Песни пел над зреющей нивой –
Молодой, влюблённый, счастливый?

Прижимал к груди запад и восток,
Растирал в руках крепкий колосок –
И высокой светлой страдаю
Проходил бескрайней страною...

Собран урожай, смолота мука,
Мякоть горяча, корочка сладка –
Ешь, дитя, расти, не печалься,
На лихом ветру не качайся!

2

Спасибо тебе, светлорусая русская речь,
За все твои имена!
За ветер оплечь
И золотые зёрна, коим в холодную пашню лечь,
Высокую, как волна.

Но пока я храню их в огне беспомощных рук,
Согреваю на все грядущие времена:
«Здравствуй!» – и я живу, и небо вокруг.
«Спасибо!» – и спасена.

3

Спаси тебя Господь!
За каждым словом – твердь.
И смысл его – зерно.
И жить ему дано, одолевая смерть,
И прорасти дано
В младенческих устах молочной чистотой,
Прозрачной белизной...
Спаси тебя Господь! Как ясен голос твой!
Поговори со мной!
У жизни – удержишься, у края – удержишься
За выдох ли, за вдох...
За каждым словом – твердь.
За каждым словом – жизнь.
За каждым словом – Бог.

4

И хлеб, и ласка, и огонь в ночи,
И рук усталых нежная прохлада...
О жизнь моя, спасибо за ключи
От шумного взволнованного сада!

С какого-то иного языка
Перевожу я до самозабвенья

Ручей, цветы, грозу и облака,
И танец пчёл, и ветра дуновенье –

И каждый звук, и каждый отклик мой –
Как будто лёгкий шаг на шаткий мостик,
Как за руку вести к себе домой
Нежданного, но дорогого гостя.

Но все мои слова – твои ключи:
Небесным открывается земное...
О, говори со мною, не молчи,
Благодарю за то, что ты со мною!

5

Сердце-то ведаёт: только по воле Творца
Свет никогда не избудет себя до конца.
Даже порою не зная о Нём ничего,
Греемся мы, словно зёрна в ладонях Его.
«Благодарю» – это ниточка света к Нему.
Луч, проходящий сквозь душную зыбкую тьму,
Слабый росток, набирающий силу любви...
Мир мой, земля моя, сердце!
Спасибо!
Живи!

Владимир СКВОРЦОВ

Родился в 1954 году в деревне Климовщина Новгородской области. Окончил факультет журналистики ЛГУ, работал редактором радиовещания в Выборге, заведующим подготовительными курсами ЛГУ, заместителем директора международной фирмы «Информпрессервис». В настоящее время – главный редактор журнала «Невский альманах», президент некоммерческого партнёрства поддержки литераторов «Родные просторы».

Поэт, переводчик. Автор четырнадцати книг стихов и прозы. Член Союза писателей России. Живет в Санкт-Петербурге.

МНЕ В РОССИИ РУСИ НЕ ХВАТАЕТ

Ровесница

Спит монета-ровесница
на ладони моей.
Я смотрю – и не верится:
одногодки мы с ней?!
Покорёжена, мятая,
вся черна и горька...
И попалась, проклятая,
у пивного ларька.

Отсверкала строптивая
у хапуг и рвачей...
Ты, как я, несчастливая.
Я, как ты, был ничей.
Мы для всех – лишь прохожие,
нам приятель – любой...
Грех сказать, но похожие
судьбы наши с тобой.

Жизнь на место поставила
без большой суеты,
так какого же дьявола
ты черней черноты!?
Эх, монета-ровесница,
с молотком и серпом!
Ты теперь, словно пленница,
с повреждённым гербом!

Нас любили... и мучили,
но достоинств печать

были мы не научены
за гримасой скрывать.
Кроме всякого прочего,
мы во всём – пацаны,
и считали заносчиво,
что нам нету цены.

Эх, монета-ровесница,
я к тебе так привык!
Что же ты, как изменница,
потеряла свой лик?!
Ты, как пчёлка, старательно
собирала из рук
злой нектар обывателей,
наглецов и ворюг...

Всякий, даже ничтожество,
взял тебя – и владей!
На лице твоём крошечном
все пороки людей!
Я – не лучше уродина,
но кривляюсь при том,
что храню верность Родине
всем горбом, как гербом!

О моём поколении

Не по нашей вине и по нашей
Божьи храмы уходят... на слом.
Из-под купола деревце машет,
словно ангел, зелёным крылом.

Нас ровняли и мяли без толку,
на весь мир о «победах» трубя...
Загоняли в безликие толпы –
мы, сопя, уходили в себя.

Триумфальных оркестров раскаты
заглушали, как гром, города.
Нас «Вперёд!» зазывали плакаты,
а на деле вели... в никуда.

Восхищаться «вождями» не в силах,
мы не верили в «праведный путь»...
Нас страна в «коммунизм» уносила,
нас, как церкви, назад не вернуть...

* * *

Искал я старое селенье,
нашёл пустырь и лебеду...
Там, словно сердцу в утешенье,
светилась лилия в пруду.

Иваны, Яковы и Маши –
ушли в иную параллель...
Осиротели сёла наши –
страны великой колыбель.

И в понедельник, и в субботу –
у тишины один куплет...
И если есть в округе кто-то,
то местных жителей там нет.

Я шёл с тоской исповедальной,
понять пытаюсь на ходу:
кому в глуши с надеждой тайной
там светит лилия в пруду?!

Борщевик

Был шофёр застенчивым и скромным,
не спеша он вёл свой грузовик,
марсианским чудищем огромным
вдоль дороги мчался борщевик.

Задушил он местные растенья:
землянику, клевер, лебеду...
В города и русские селенья
он приносит горе и беду.

Как сорняк без совести и срама,
чуждый дух повсюду к нам проник:
«Борщевик» – во всех телепрограммах,
на уроках в школе – «борщевик» ...

На душе – неведомая рана,
русский дух к такому не привык:
грязь и пошлость прут с телеэкрана –
самый ядовитый... «борщевик».

Как такое выдержит натура?
Ранит прямо в душу эта грязь!
Пьёт мужик от Волги до Амура,
в борщевик ходячий превратясь.

Мало было нам «чертополоха»?
Запустили в души «борщевик»!
Мы могли бы жить совсем не плохо,
если б чуждый дух в нас не проник.

Многих эта нечисть подкосила...
Осмелел застенчивый шофёр
и помчался, как сама Россия,
мимо страшных чудищ – на простор!

* * *

А в нашем крае не было войны,
но радость и покой – истреблены.
Стихийных бедствий не было в селе,
но в каждом доме – пусто на столе.

Леса и реки вольные – больны,
кругом остатки пира сатаны:
гниющий хлам, развалины и страх...
И не было войны в моих краях!

Да, в нашем крае не было войны,
но стынет кровь от мёртвой тишины,
и вдоль села, куда ни бросишь взгляд,
деревья одичавшие стоят.

Мне в России Руси не хватает

Я в дорогах страны, как в верёвке,
так запутался – кости трещат!
Я пожизненно... «в командировке»
без надежды вернуться назад.
Всякий раз, возвращаясь упрямо,
попадаю опять в никуда...
То ли денег на транспорт мне мало?
То ль билеты дают не туда?
Помню, пенились брагою кружки...
Оставляя мирские дела,
ах! как пели в деревне старушки
и гармоника в пляску звала!
Отзывались родимые дали,
месяц рябью играл на пруду...
Больше идолов там почитали
трудолюбие и доброту.
Мне в России Руси не хватает!
Я в столицах стал глухонемой!
Я – чужой в каждой алчущей стае,
потому-то и тянет домой!
Не хватает черёмухи русой
и заботливых маминых рук,
возле печки побеленной русской
задушевной беседы старух...
Квас и веник – вот символ субботы!
Я в парилке избавлюсь от бед
и пойму: здесь семья и работа,
а деревни и матери – нет...
Нет в округе ни школы, ни церкви.
Люди есть, но души нет живой,
все плутают без веры и цели
и не ведают жизни иной.

Бьются в дикой траве у развалин
колокольчики, будто сердца...
Мы деревни свои мордовали –
стали сами почти без лица.
Мне всё снятся стрекозы у речки...
И как там ни крути, ни верти,
возле русской натопленной печки
я мечтаю покой обрести.
Неслучайно терзает истома,
и свербит в голове: боже мой!
Ведь была же дорога из дома,
значит, где-то должна быть домой...

* * *

В позаброшенном селенье,
где дорог и хлеба нет,
принеся домой поленья,
бормотал старухе дед:
– Разве этого мы ждали,
что вернутся к нам с тобой
полунищенские дали
и некрасовская боль?!

Он был «сельским генералом»,
а супруга – ветврачом.
Их костюмы – при наградах!
А герои – ни при чём...

Спать легли. Потух светильник,
дед покашлял и затих...
Зазвонил в ночи мобильник –
внуки вспомнили о них...

Всё кончается когда-то

Угасает прежний пыл,
и не так мечта крылата...
Я в заботах позабыл:
всё кончается когда-то!

Дни бурлили, как вода,
годы мчались без оглядки,
но судьбы моей звезда
до сих пор играет в прятки...

Где мой отец и мать?
Где мой друг, что был мне братом?
Грустно это понимать:
всё кончается когда-то!

Все манящие огни,
как в дороге полустанки,
даже праздничные дни –
в чём-то жалкие подранки.

Если деньги добывать,
будет вечно маловато...
Надо чаще вспоминать:
всё кончается когда-то.

Любить Россию

Любить Россию – это боль терпеть,
которая выматывает душу,
и, замерзая, в тёплое одеть
того, кто не выдерживает стужу.

Любить Россию – тихо тосковать,
безмолвствуя, но с муками и кровью
и сердцем невозможного желать,
и делать невозможное порою.

Любить Россию – думать о друзьях,
пусть даже тех, которые забыли,
не разбираясь в собственных гостях,
всё делать так, чтоб все довольны были.

Любить Россию – ощущать себя
владыкой мира и листочком вербы
и грешным быть,
но, путь земной пройдя,
не потерять
ни Родины,
ни Веры.

Александр ФИГАРЕВ

Родился в 1949 году в д. Гордеевке Горьковской области. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького, библиотечный техникум им. И. В. Шамова. Работал журналистом, библиотекарем, редактором издательства и радиовещания, литературным консультантом Нижегородской областной организации Союза писателей России.

Автор ряда поэтических книг. Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

Я БЫЛИНЫ И ПЕСНИ СЫН

Между Керженцем и Узолой

Здесь деревни мои и сёла –
Я былины и песни сын.
Между Керженцем и Узолой
Раскудрявый брожу один.

Здесь поют о любви частушки
Соловьи для всех соловьих.
И рассказывают старушки
О годах молодых своих,

И печалются в тихой песне.
Подпою им, хотя опять
В каждом месте есть по невесте,
И на гульбинах мне гулять.

Многоцветием слова встретят
Гостя, если заходишь в дом.
Авакумовы письма светят
У божниц бунтарским огнём.

Любоваться бы словом чистым
Здесьних мест, где покой царит.
Я здесь свой, и колодец чистый
Речи керженской мне открыт.

На красивое я не зарюсь
В слове, росписи и лице.
Жаль, конечно, что я состарюсь
И умру где-то там... в конце.

... Кони звякают стременами,
Космос спутники бороздят.
Я, как мост между временами,
Всё хочу назвать именами,
Сохранить, что ушло назад.

* * *

Рассвет над окоёмом брезжится.
Средь звёзд таинственных вдали,
Как челноки, скользят по Керженцу
Космические корабли.

Они зеркально отражаются
В глубоких тёмных омурах.
Уже кукушка сокрушается
О грешном прошлом и мечтах.

Да ива – старица прибрежная –
О чём-то плачет и поёт.
Здесь Русь нетронутая, прежняя
Единой верою живёт.

* * *

Ока уже молчит, а Волга все не спит.
Качаются огни у пристани зеленой.
Сиятельная ночь над городом стоит,
И лунный ковш звенит водой незамутненной.

Как хорошо читать над Стрелкою стихи,
Струятся строки их, почти впадая в русло.
Где борский окоём, среди Волги и Оки,
Я видел лебедей, среди звезд летящих грузно.

Ветрами древних лет пахнуло на меня,
Как будто крылья – их собрания сказаний,
Над башнями кремля, что, как ларцы, хранят
Сокровища души своих воспоминаний.

Владимир Даль на Нижегородской ярмарке

Лошадь украли у мужика,
Он обыскал всю округу и город.
А полицейские за бока
Взяли скоро его, как вора.

Но самого себя обокрасть
Не удалось никому на свете.
Конь не иголка, а смог пропасть,
Будто унёс его буйный ветер.

Горе на ярмарке Даль увидал,
Дело уладил, помог с деньгами.
И уже мужик зашагал
В город Семёнов своими ногами.

Шёл – удивлялся, хоть был сердит:
«Вроде бы бар таких не бывает.
Как по-мужицки он говорит,
И как отец меня понимает».

Даль помахал семёновцу вслед.
Был он задумчив и так печален:
Мало кто знал, что у Даля дед –
Старообрядец, русский датчанин.

Яблоневый посох

Памяти Ф.Г. Сухова

Жил поэт, чтобы его стихами
Говорила тишина полей;
И ветра под окнами вздыхали,
И весенний плакал соловей.

И дожди, как путники, нередко
Шли к нему со всех концов Руси.
Не свирель свою, а посох – ветку
Яблони – поэт с собой носил.

Осенью, зимой, весной и летом,
Сочиняя, прикрывал глаза.
Посох распускался белым цветом,
Сухов о любви стихи писал.

И в его глазах была отвага,
А когда сильнее сгущалась мгла –
Ветка становилась меткой шпагой
Против всякой нечисти и зла.

А теперь над суховской могилой
Расцветает яблоневый сад.
По-над Волгой, родиною милой
Соловьи то плачут, то свистят.

Осень Дмитрия Арсенина

Искусство – от беды спасенье,
Художника творящий взгляд.
Но почему любил Арсенин
Писать осенний листопад?

Не весён радостные краски,
А всю печаль родной страны,

И даже пушкинские сказки
Полны глубокой тишины.

Похожи оба: он и Пушкин –
Одна широкая душа.
...Пером Поэта на опушке
В картину лист упал, шурша.

Городецкая резьба

Здесь дерево – как золото,
Работа – словно песенка.
Резец, стамеска, долото
Горят в руках кудесника.

Эх, молоток и ножичек,
Играя, чуть касаются.
Стучит в окошко дождичек,
Зовёт и забавляется.

Узоры деревянные
Сияют на наличнике,
Цветы восходят странные,
Все звери необычные.

Львы добрые, лукавые
Смеются над русалками.
Какие окна славные,
Как бабы с полушалками.

У каждого окошечка –
Характер и повадочка.
Подправит мастер крошечку,
И явью станет сказочка.

Здесь днём и даже полночью
Плывет солнце с радугой.
В такой избе жить солнечно,
Всегда счастливо, радостно.

Последняя песня

В рубахе белой под иконами
Мой дед лежал и ждал конца.
Пришли прощаться все знакомые,
Толпясь печально у крыльца.

Когда старухи сердобольные
Творили горестный обряд,
Торжественные, недовольные
Отец и дядя стали в ряд.

А дед в минуту эту грустную
Вдруг поднял голову слегка:
«Хочу услышать песню русскую,
Где степь да степь, – про ямщика.

Возьмите по такому случаю
Гармонь, мне больше не играть,
И пойте все, а я послушаю,
Мне легче будет умирать!»

И вот застольная, домашняя
Над дедом песня поднялась,
Как колыбельная протяжная –
Она качалась и лилась.

А дед лежал с улыбкой. Кажется,
Ещё родней передо мной.
Не каждый с песнею отважится
Уйти в последний путь земной!

Березовые зори

Небеса набухают грозами,
Что несутся издалека.
Над Узолою, над берёзами
Распускаются облака.

Ветерки пронесутся беглые,
В звонкой роще найдут приют,
Там берёзы – свирели белые –
Тихой музыки молча ждут.

За работами и заботами
Мы забыли про белый свет,
А берёзы, как свитки с нотами,
Ожидают от нас ответ.

Счастье нового возвращения,
Всё пустое отходит в тень.
От свеченья берёз священного
Возгорается новый день.

Роман СЕНЧИН

Родился в 1971 году в Кызыле, Тувинская АССР. Работал монтажником, дворником, грузчиком. По окончании Литературного института вел в нем семинар прозы (2001–2003).

Публикуется в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Новый мир», «Знамя», «Урал». Автор ряда романов и сборников рассказов. Роман «Елтышевы» в 2011 году вошёл в шорт-лист премии «Русский Букер десятилетия». В 2015 году роман «Зона затопления» удостоен третьей премии «Большая книга».

Участник I Международного литературного фестиваля имени М. Горького в Нижнем Новгороде.

Живет в Екатеринбурге.

ДОЖДЬ В ПАРИЖЕ

*Фрагмент романа**

Жилище ему понравилось. Он знал, что гостиницы в Париже для туристов его ранга не отличаются особыми удобствами и простором, но его номер был наверняка не худшим вариантом. Может, потому, что находился под самой крышей.

– Мансарда, – вспомнил Топкин название.

Широкая кровать, телевизор-плазма под потолком, холодильник, длинный и узкий то ли стол, то ли полка вдоль стены с окном. Из окна вид на улицу, а не в глухой двор с кирпичной стеной, чем Топкина пугали дома бывавшие в Париже.

Но не это по-настоящему обрадовало и удивило его, а то, что в туалете, в наклонном потолке было окошко с открывающейся вверх рамой... Некоторое время Топкин вспоминал, почему такое окошко его обрадовало, почему ассоциируется для него именно с Парижем...

Вспомнить не получилось. Включил телевизор, нашел музыкальный канал – там под арабскую мелодию пела арабского вида девушка, но на французском языке, – достал остатки виски, шоколада. Сел на кровать, глотнул, похрустел ломтиком «Таблерона».

– А, точно! – осенило. – Это же у Поланского было... такая квартир-ка. В «На грани безумия».

* Роман выходит в начале 2018 года в издательстве АСТ, «Редакция Елены Шубиной».

Где видел его в первый раз?.. Говорят, теперь у фильма другое название, а это – «На грани безумия» – было дано советскими переводчиками...

Мощный фильм. Как какой-то немолодой американский ученый со своей такой же женой прилетает в Париж, и там жену сразу похищают. Муж-ученый, дряблый ботаник, начинает ее искать, превращаясь почти в супермена. Ему помогает француженка с потрясающими ногами... Топкин недавно увидел в Интернете фотки ее нынешней – стареющая одутловатая тетка. А тогда, лет двадцать пять назад... Сколько спермы он выбрызгал из себя, представляя ее рядом с собой... Как она танцевала там, на экране! Как обмякла, раненая! Как хотелось ее унести, спасти, сделать своей...

И вот эта француженка жила в подобной квартирёнке – комната и туалет с окном в потолке.

Топкину хотелось думать, что впервые он посмотрел «На грани безумия» в одном из видеосалонов. Их тогда, под конец восьмидесятых, пооткрывалось в их городе немало. Поначалу почти нелегальных, в каких-то подсобках, подвалах. Адреса узнавали через знакомых, договаривались о посещении несколько дней. И вот наконец, отдав рубль, садишься перед телевизором и смотришь вместе с еще десятком людей необыкновенный фильм. «Терминатор», «Кобра», «Кошмары на улице Вязов», «Зомби в универмаге», «Рэмбо»... Гипнотизировало не столько происходящее на мутноватом выпуклом экране «Садко» или «Радуги», а монотонный голос переводчика, от которого бегали меж лопаток ледяные мурашки, рябь плохой пленки, сама атмосфера опасности, ожидания того, что сейчас ворвутся менты и начнут проверять, сколько кому лет, допрашивать...

Особенно часто пацаны смотрели фильмы с Брюсом Ли – «про Брюса», как говорили в то время. Главным был, конечно, «Путь дракона» и сцена драки Брюса и Чака Норриса.

Все замирали, боялись даже дышать... Из слабого динамика плыла тревожная медленная музыка, слышалось, как хрустят суставы Норриса и Брюса Ли во время разминки. Брюс жилистый, гуттаперчевый, а Норрис мясистый, в рыжеватой шерсти... И вот, размявшись, сходятся. В глазах нет злости, наоборот – уважение друг другу, но и уверенность: кто-то из них двоих должен сейчас погибнуть... Из развалин на них смотрит беспомощный котенок... Котенок мяукает, и Брюс бросается вперед...

«Слушай, повтори еще раз!» – просили парня, заправляющего видаком. Нужно было запомнить каждый удар, каждый прыжок, каждое движение. Понять, как Брюс убил Чака. (Ломание шейных позвонков в то время еще не было популярным способом убийства в кино.)

«Приходите завтра, еще раз посмотрите», – беспощадно отвечал начальник салона.

«Да блин – нам один кусок».

«Нельзя. Меня выпрут за это. В кино же не просите перематывать».

«Завтра тогда мне место оставь, ладно? Постараюсь прийти».

И в следующий вечер, если появляется рубль, снова бежишь в подвал и смотришь...

Очень быстро салоны стали официальными; на дверях вывешивали расписание.

Сеансы обычно начинались часа в два дня. Сначала показывали мультики типа «Тома и Джерри», потом два-три боевика, ужастика

или комедии, а почти ночью – «порнуху». Ограничение «до шестнадцати» действовало и здесь, но иногда удавалось проникать на такие фильмы четырнадцатилетним, пятнадцатилетним... «Горячую жевательную резинку», «Греческую смоковницу» и даже «Эммануэль» он, Андрюша Топкин, посмотрел еще тогда, в период видеосалонов.

Очень редко показывали музыкалку – концерты Мадонны, «Кисс», «Металлики». Это было иногда круче боевиков.

Да, денег тратилось на видеосалоны немало. Экономили на школьных обедах, на газировке; копили по десятику, пятнадцатику...

В восемьдесят девятом в центральном кинотеатре «Найырал» (в переводе с тувинского – «Дружба») появился второй зал. Маленький, мест на тридцать, и там стали показывать видеофильмы, но уже не в телевизоре, а на экранчике, часто с многоголосой озвучкой. И очарование пропало. Фильмы и фильмы. Конечно, с крутыми драками, спецэффектами, но так чтобы дух перехватывало, чтобы потом не мог уснуть от страха или перевозбуждения... Нет, такого уже не случалось.

Но, может, просто Андрей стал взрослее? В семнадцать твоих лет Фредди Крюгер уже не тот, что был в твои четырнадцать... Позже, когда у него появился свой видак, Андрей брал в прокате те фильмы, которые любил в юности, и многие не мог досмотреть до конца. Убожество, примитив, стыд просто и за режиссера, и за актеров, и за себя, что балдел от этого.

Видаки продавались в магазине музыкальных инструментов и разной электротехники «Аялга» («Мелодия») с середины восьмидесятых. Это была отечественная «Электроника». Серая жестяная коробочка, символизирующая дверь в иной мир. У группы «Мираж» даже песня была про видео: «Стоит нажать – и меня с вами нет».

Правда, цена этой коробочки была такой, что почти никто в городе даже не планировал ее купить – больше тысячи рублей. За такие деньги можно было обзавестись стареньким «Москвичом» или вполне сносным «Запорожцем».

Были видеомагнитофоны и в комиссионках. Там стояли импортные – тонкие, черные. Они стоили вообще за пределами...

Комиссионные магазины, а их в Кызыле было два – один в здании той же «Аялги», а другой в глубине базара, в маленькой избушке – посещали, как музей. Заходишь в избушку, и тебе в глаза тут же кидаются двухкассетные «Шарпы», джинсы «Монтана», «Леви Страус», «Ле Купер», кассеты «Сони», дубленки, соболиные шапки, хрусталь, ковры...

У Топкиных были дома простенький хрустальный сервиз – графин, шесть рюмок и шесть бокалов, – плешивый ковер на стене, цветной телевизор «Радуга», проигрыватель «Россия», магнитола «Рекорд-301»... Папа когда-то, когда был молодым, записывал на бобины разные песни – от Магомаева до «Ди пёрпл». Но Андрея бобинник не устраивал, да и какой смысл в этой, стоящей в зале, где вечно по вечерам кто-нибудь есть, коробке. Он мечтал о своем, личном магнитофоне. Кассетнике. Пусть будет простенький вроде «Легенды»...

В десятом классе ему наконец-то купили маг – «Томь-303», который очень напоминал один из магнитофонов «Сони» и звучал на первых порах просто отлично. Четкий такой звук, низкие, высокие частоты регулировались до грана...

С покупкой магнитофона появилась проблема фонотеки. Несколько кассет у Андрея было с давних пор – откуда-то появились, как-то подобрались три-четыре с песнями Яка Йоалы, Анны Вески, Аллы Пугаче-

вой, ансамбля «Боббисокс» и еще две чистые МК-60. Плюс еще одна кассета шла вместе с магнитофоном.

При помощи Белого, у которого был магнитофон «Весна», записали на все эти кассеты диско-музыку. Соединяли маги шнурами, настраивали частоты... Завидовали тем, у кого двухкассетники:

«Там, блин, без всяких напрягов – “запись” нажал, и понеслось».

Диско, правда, уже поднадоело к тому времени, тянуло к другому музону. Искали «Аэросмит», «Куин», «Скорпионс».

На базаре, этом островке экзотических магазинов – охотничьего, филателии, комиссионного, мясного павильона, где даже в годы жуткого продуктового дефицита можно было купить хорошего мяса, были бы деньги, – находилась студия звукозаписи.

На шишковато оштукатуренной, белёной стене списки групп и исполнителей... Сейчас уже трудно вспомнить, что было в тех списках, но их чтение будоражило, хотелось услышать это и это, и это...

Сделать запись в студии считалось хорошим тоном. Ведь она предполагала настоящее качество. И хоть у большинства магнитофоны были простенькими – только бы какой звук воспроизводил, – все-таки стремились к лучшему.

Поработав исправно месяца три, «Томь» стала разочаровывать: музыка зазвучала как-то размыто, плавающе, со все возрастающим шипением, и протирание головки и валика одеколоном или водкой помогало слабо. Потом порвался пассик, пришлось нести в ремонт. После ремонта «Томь» стала зажёвывать пленку... В общем, не повезло Андрею с первым магнитофоном.

Второй появился летом девяносто первого. Этот хоть и был куплен с рук, но служил безотказно. Настоящий японский «Панасоник». Наверное, он и сейчас работает – Андрей его давно не включал; коробка с кассетами – огромная коробка из-под телевизора – в углу комнаты, заброшенная разными тряпками. Может, уже и пленка осыпалась.

* * *

Топкин лежал на кровати и уговаривал себя подняться, сполоснуть лицо и отправиться на улицу. Прогуляться по близлежащим улицам, найти, может, открытый магазин. Воду надо купить, поесть чего-нибудь, да и выпить... Уговаривал, а сам постепенно всё глубже погружался в дрему, наполненную воспоминаниями. Воспоминаниями о давнем и вроде бы сейчас, здесь, в парижском отеле «Альтона» совершенно не нужном...

Вообще аскетичность жизни советских подростков, о которой он нынче очень часто слышал по телику да и от теперешней молодежи, была мифом. Запросы пятнадцатилетнего ребенка конца восьмидесятых родителям удовлетворять было наверняка не только сложнее, но и дороже, чем такого же ребенка десятых годов двадцать первого века.

Почти каждый пацан и некоторые девчонки проходили через моду собирания марок. Конечно, отпаривали марки с конвертов, выменивали у сверстников на какую-нибудь, считавшуюся коллекционером в тот момент, ерунду, но в основном покупали в магазине «Филателия», пестревшим разнообразнейшими наборами из Венгрии, Либерии, Монголии, Кубы, Кореи...

Продавщица была, кажется, всё время одна, без сменщицы, – русская женщина с тувинской фамилией Барбак-оол. Ее за глаза называли

Барбакол... Продавщицу просили оставлять новые наборы – кто живописи, кто животных, кто спорта. Копили деньги, выклянчивали у родителей на понравившиеся.

У Андрея сохранились два альбома, забытых марками. Не так давно он заинтересовался, сколько какие стоят на филателистическом рынке. Долго копался на форумах в Интернете. Оказалось, что его коллекция на девяносто девять процентов состоит из ничего не стоящих цветных бумажек. Да и те немногие марки, какими он по-настоящему дорожил – например, двумя из набора «Перекоп», не превышают сорока рублей за штуку.

А ведь сколько потрачено на эту коллекцию тех советских, дорогих рублей!

Набор стоил редко меньше рубля. В основном же полтора-два. Полтора рубля умножаем на сто наборов. Сто пятьдесят рублей. Немалые деньги в то время... К тому же на марки менялись модели автомобилей, индейцы или пираты, сделанные зэками ручки из разноцветных пластиковых кружочков, ножички-складешки... Все это в свое время покупалось или выменивалось на что-нибудь другое, но затем потеряло свою ценность по сравнению с марками.

Кто теперь из подростков собирает марки? Может, один из ста. А тогда один-два из ста не собирали и казались чудачками, не понимающими смысла жизни...

А эти модельки автомобилей! Теперь они во всех детских магазинах, киосках. Стоят не копейки, конечно, но и не столько, как году, скажем, в восемьдесят восьмом. Их коллекционировали далеко не все, но почти каждый пацан имел одну или две модельки. Это было делом своего рода чести.

Индейцы, пираты, ковбои... Не путать со штампованными солдатиками, что торчали в витринах «Детского мира»! Нет, индейцы, пираты, ковбои являлись произведением искусства.

Индейцы и ковбои были из твердой резины, разноцветные, с лицами. Пираты чаще всего – пластмассовые, одноцветно-коричневые, но с массой деталей: складки на треуголке, пистолет за витым поясом, сабля с узорчатой рукоятью, пряжки на башмаках... В магазинах эти фигурки не продавались, но откуда-то поступали в их глухой, далекий от большого мира Кызыл.

Да нет, понятно – откуда. В основном из ГДР, Чехословакии, Польши... В начале восьмидесятых в дом, где жили Топкины, въехала офицерская семья – главу семьи перевели из ГДР в их мотострелковую часть. Так паренек, сын офицера, привез целую армию индейцев и ковбоев. Ковбоев возглавляли несколько американских солдат в синей форме, таких, как в фильме про Чингачука. А у индейцев был вождь – сидящий у костра старик с богатым украшением из перьев...

Некоторое время Андрей дружил с этим пареньком, и они устраивали войны индейцев с ковбоями. Индейцы скрывались в горах, сделанных из одеял и подушек, а ковбои за ними гонялись, попадали в засады... Очень быстро его отца бросили куда-то в другое место, и имени обладателя сокровищ Андрей не запомнил.

В советских солдатиков играли редко. Во-первых, они, грубо штампованные, были неинтересны, постоянно падали, а во-вторых, им просто не с кем было воевать – врагов почти не делали у нас.

Зато очень многие сами лепили солдатиков из пластилина. Тогда был тяжелый, затвердевающий, почти как глина, долго сохраняющий яркий, но не водянистый цвет, пластилин.

Тут уж были хозяевами своей фантазии – тщательно изучали форму красноармейцев, белогвардейцев, фашистов, американских морпехов, наших десантников, французских солдат времен Первой мировой – и пытались копировать. Потом сражались. Можно было отрывать солдатикам ноги и руки, прокалывать штыком...

Пластинин, конечно, нельзя отнести к большим тратам, удару по семейному бюджету. Но лепка солдатиков требовала не одной и не двух-трех пачек. Не пяти... Одно время у Андрея под кроватью в плоских коробках, накрытых от пыли и мусора газетами, стояли больше ста бойцов. Плюс несколько лошадей, десяток пушек, станковые пулеметы, гоночная машинка, при помощи пластилина превращенная в броневик... В общем, материала для армий требовалось немало. А материал добывался за деньги в отделе «Канцтовары» магазина «Детский мир».

Но в основном увлечения и развлечения требовали немалых финансовых затрат.

К примеру, склейка моделей кораблей и самолетов. Стоили эти конструкторы недешево, и родители предпочитали покупать хоть и подороже, зато сложнее, со множеством деталей, надеясь, что сын как можно дольше провозится с каким-нибудь крейсером или линкором...

А аквариумы! Кому пришло в голову, что если у тебя нет аквариума, ты чуть ли не чмо. И уговаривали родителей купить в магазине или с рук – у тех, кому надоело – аквариум. К нему, конечно, рыбок. Сначала попроще – гуппи, меченосцев, потом данюшек, барбусов, скалярий, неонов, сомиков. К аквариуму требовались фильтр, компрессор, лампа, водоросли, кормушки, улитки... Рыбкам требовался корм.

У Андрея был аквариум. Но не очень долго. Однажды он с ребятами пошел на болото за отличным, как ему рассказали, кормом – мотылем. Намыли с помощью сачка этих красных червячков, поделили, разошлись... Андрей раз, другой покормил им рыбок, а потом забыл. И как-то, проснувшись утром, Топкины увидели в квартире сотни вялых, новорожденных комаров.

После этого мама стала относиться к аквариуму как к врагу, да он и Андрею уже порядком надоел. Тем более что рыбки часто умирали, вода зеленела, и ее нужно было то и дело менять... Папа и сестра были к рыбкам совершенно равнодушны. В итоге продали за какую-то мелочь и аквариум, и рыбок, и всё остальное парнишке года на два младше Андрея – тот рассчитывал при помощи аквариума обрести уважением своих одноклассников...

Не иметь велик – сначала «бабочку» с двумя добавочными колесиками для удержания равновесия, затем «Школьник», а потом «взрослик» – было для пацана позором, признаком неполноценности. Если родители не имели возможности его приобрести, – а таких в восьмидесятые было еще немного, – пацан пытался скопить денежек и купить у кого-нибудь из старшаков или мечтал собрать самому. Обходил мусорки, копался в чермете в надежде отыскать сломанную раму, чтоб потом ее сварили мужики-ремонтники, руль, педали, колесо-восьмерку, которое можно было выправить...

Лет с четырнадцати начинали мечтать о мотоциклах. Или хотя бы мопедах. В разговорах постоянно звучало: «Рига», «Карпаты», «Ява», «ижак», «Чезэт»... А особенно часто: «Верховина».

«Верховина» была так популярна не потому, что это была самая круть, – просто «Верховину» родители могли реально купить.

От безысходности некоторые мастерили мотовелики. На «взрослик» устанавливали моторчик, бачок, усиливали заднее колесо. И – вперед, треща и дымя...

На мопеде и мотовелике далеко не уедешь – гоняли вокруг гаражей, по пустынным улочкам внутри квартала. Но те, у кого появлялся «Иж» или «Днепр», или даже «Урал», отправлялись в дальний загород.

У Андрея мопеда и мотоцикла никогда не было. Сначала хотел, но родители в то время ожидали, что папу вот-вот переведут на новое место службы, и что тогда делать с этой двухколесной тяжестью; а потом Боба, у которого имелись «Карпаты», столкнулся на дачном перекрестке с машиной и месяца два прыгал с аппаратом Илизарова. Мода на мотики в их компании после этого заметно пригасла.

Старшаки бились серьезней. Некоторое время количество погибших в авариях конкурировало с количеством убитых в разнообразных драках. Особенно обсуждаемой стала авария, в которой разбился один из двух братьев Федоровых, считавшихся одним из самых главных бугров района, – Федор-младший. (Старший Федор вскоре сел за попытку отобрать пистолет у милиционера.)

Федор-младший шел через дворы со своей очередной телочкой и увидел возящегося с «ижаком» знакомого паренька. Федор попросил – точнее, потребовал – прокатиться. Наверняка бы действительно прокатился и отдал. Паренек вынужден был согласиться. Федор посадил подружку и рванул. И буквально через пять минут на бешеной скорости вцепился в лоб УАЗу. Девушка перелетела через Федора и машину и шлепнулась на газон. Что-то себе повредила, но несерьезно. А Федора просто размазало об УАЗ.

О нем пацаны не горевали – одной угрозой меньше. Телочка вскоре оклемалась и стала ходить с другим бугром. А вот пареньку сочувствовали. Попал он конкретно: мало того что мотоцикл превратился в грудку железа, так еще стали крутить, с одной стороны менты, с другой – дружки Федора. Зачем типа дал, когда видел, что человек обкуренный в хлам? Почему вообще мотоциклом владеешь, когда тебе пятнадцать лет?.. Документы на транспортное средство где?.. А он и не катался почти на своем «ижаке» – так, иногда по дворам. Ждал, когда ему исполнится шестнадцать, получит права... И вот за пять минут всё рухнуло.

А нынче уже и не встретишь пацанов на «Карпатах» и «Верховинах»; мотоциклов тоже мало, в основном – с колясками. Иногда-иногда кто-нибудь прожужжит на скутере, но за рулем взрослые мужики, а не подростки...

Много денег тратилось на игровые автоматы. Не на те, что появились в девяностые, когда играли, чтоб разбогатеть, а по сути бесполезные – «Морской бой», «Снайпер», «Авторалли», «Воздушный бой»... Эти автоматы были в их городе в одном месте – на автовокзале, и там вечно толпились дети и младшие подростки. Несколько минут удовольствия стоили пятнадцать копеек. Вроде, немного, но кому хватало одного сеансика? Появились настоящие игроманы; они воровали у родителей рубли, шарили по карманам в школьных раздевалках...

Некоторым спасением для таких появление карманных игрушек – «Ну, погоди!», это где Волк собирает яйца, а потом и «Биатлона», «Хоккея», «Автослалома». Появились и импортные «Тетрисы».

Году в девяностом уже почти никто на переменах не бегал по коридорам – «рекреациям», как их называли, – школьники стояли вдоль

стен или сидели на подоконниках и ловили-ловили яйца, собирали шарики одного цвета...

А теперь в каком-нибудь айфоне или смартфоне можно и на мотике покататься, и в войнушку поиграть какими угодно солдатами, и какие угодно фильмы посмотреть, музыку послушать, и фотографировать все подряд по сто раз, не жалея фотопленки, которой в айфонах или смартфонах попросту нет. Нынешние подростки и не знают толком, что это такое – фотопленка...

Почти каждый пацан в восьмидесятые хоть короткое время увлекался фотографией. А фотография – это не только фотоаппарат. Нужны бачки для проявки, ванночки, проявитель, закрепитель, фонарь, глянецватель, а главное – фотоувеличитель... «Хочешь разориться – купи фотоаппарат» – была такая поговорка.

Конечно, в Доме пионеров – одноэтажном деревянном доме неподалеку от их школы – существовал фотокружок, где можно было проявлять пленки и печатать фотки в общем-то задаром, хотя в ограниченном количестве; можно было купить фотоувеличитель на две-три семьи (а семьи одноклассников-соседей, ясное дело, были знакомы, а то и дружили), но хотелось свой, личный увеличитель. Иметь свою лабораторию. Чтобы никто не мешал, не присутствовал при этом чуде – когда на красноватой от света фонаря бумажке, плавающей в розоватой от фонаря жидкости вдруг начинают возникать чёточки, пятна, а потом возникает кусок мира, который несколько часов назад поймал в маленькую коробочку «Смены» или «Чайки», «ФЭДа», «Зенита»... А вот – лицо, такое милое, желанное лицо Оли Долинской. Улыбается, так по-доброму смотрит, так ожидающе, словно хочет сказать: «Не бойся, не думай, что я не понимаю твоих взглядов. Но не веди себя как пятиклассник. Я всё давно заметила и жду, когда ты подрастешь и решишься. А я уже выросла».

Осторожно трогаешь пинцетом ее волосы, лоб, щеки, подбородок, водишь по губам, гладишь железкой дорогую бумажку. Качаешь в теплом проявителе. Потом переносишь в другую ванночку, с фиксажем. Снова трогаешь, гладишь. Потом промываешь в большой ванне чистой водой.

Долго, тщательно промываешь, чтобы не через неделю, не через двадцать лет на лице Оли не появились буроватые, как лишай какие-нибудь, пятна, не вылезла язва... Потом осторожно глянцеуешь, стараясь не обжечь...

А вот возникает на бумаге Марина Лузгина. Она сидит на лавочке возле школы. Смеется чему-то, глядя в сторону, нога закинута на ногу. Марина в летнем коротком платье, и ноги видны далеко. Точнее, одна нога, которая сверху. От светлой туфельки-лодочки дальше, по блестящей лодыжке и выпуклой икре к ровной коленной чашечке. Продолговатая и крупная, но в меру, в самую меру, ляжка... Подол слегка задрался, и она открыта почти вся.

Особенно притягателен изгиб этой ноги – четкая, словно художником прочерченная линия, почти правильная дуга. Глаз не оторвать.

Но Андрей оторвал быстро. Нельзя, это девушка Белого – его друга Димки Попова. Они еще не пара, но он знает: Марина – его.

Куда деть фотографию? Подарить Белому, так он может докопаться: на фига ты ее так сфоткал, в такой позе? Вряд ли поверит, что Андрей и не заметил, глядя в глазок «Смены», что ноги Марины настолько открыты, так соблазнительны; что просто снимал их всех после уроков, и вот так получилось...

Сколько раз они купались в протоке, сколько раз видел Маринку в купальнике, и ничего, не чувствовал этого странного волнения, а тут вот вдруг... Пытался отвлечься, но взгляд сразу возвращался в ногам, к этому изгибу, темной щелке...

Высушив фотку, спрятал ее подальше, засунул между бракованными, неудачными. Постарался забыть и забыл. И она наверняка лежит сейчас в коробке с бумагами, которые увез двадцать два года назад, переезжая из родной квартиры в ту, где они должны были долго и счастливо жить с женой – Ольгой Топкиной, в девичестве Долинской.

...Захотелось сейчас же найти фотку, увидеть спустя столько лет. Не только Маринкины ноги, а своих друзей прежними, юными... И Андрей на несколько секунд выпутался из дремы, приподнялся, огляделся в огнистой полумгле, понял, где он, и уснул теперь уже глубоко, без воспоминаний.

* * *

Голова не то чтобы раскалывалась – она не хотела варить. Густая, тяжелая чернота в мозгу.

Похмелья Топкин не испытывал уже давно – выпивал в меру, тем более проверенную водку, знакомое пиво из привычного магазина.

Несколько минут он неподвижно сидел на кровати, глядя на жалующегося пожилого певца в телевизоре, медленно извивающихся рядом с ним молодых самок в купальниках...

– О-о-ой, – простонал Топкин в тон песне, сполз с кровати; увидел пачку сигарет, и захотелось курить. Но вместе с этим желанием, будто отзываясь ему, в животе забулькало, к горлу поползла маслянистая горечь.

Топкин передернулся, пошел в туалет. Постоял над унитазом, косясь в окно в скате крыши. Были видны два дома напротив и кусок улицы, разделяющей эти дома... Улица загибалась влево, уходила за углы других домов...

Представились городские пейзажи Утрилло. Очень похоже... Ну так – Утрилло и изображал Париж, именно эти районы. И Топкин очнулся, заторопился. Да, да, скорей надо все увидеть, почувствовать!..

Спустил воду в унитазе; бачок, заполняясь, запел. Можно было решить, что это некий дефект, но мелодия была очевидна.

– Скучно не будет, – усмехнулся Топкин.

Изо всех сил энергично умывался, чистил зубы, полоскал горло... Вроде бы помогло – дурнота улеглась, в висках закололо, зато появились мысли. Пусть простые, примитивные, но смывающие мертвую черноту с клеток мозга.

Как скорее раздобыть воду для питья? Из-под крана пить рискованно... Надо выяснить, сколько времени; надо позавтракать – завтраки в гостинице бесплатные...

Часы в мобильнике показывали «8:26». Это московское время – перешел в «Шереметьево». Здесь, кажется, на два часа меньше... Половина седьмого... Завтракать рано, выходить на улицу – тоже... Но внутри рос мандраж, страх чего-то важного не успеть, пропустить... Каждую минуту надо использовать...

Топкин достал из пластикового конверта программу пребывания. Зеленым маркером были выделены входящие в тур экскурсии... Так, с восьми пятидесяти до часу дня – обзорная экскурсия по Парижу

с посещением музея духов. Потом обед в ресторане «Панорама», а после него – прогулка по Монмартру, осмотр базилики Святого Сердца.

– Что за святое сердце? – задумался Топкин, перебирая в тугом сейчас уме достопримечательности. – А, блин, Сакре-Кёр!

Вообще-то он считал себя знатоком Парижа. Несколько, конечно, смешного сорта знатоком – по книгам, телепередачам, книгам. Но мало ли у нас до сих пор географов, знающих планету тоже заочно, учителей английского, немецкого, французского, которые никогда не были в странах, где население говорит на этих языках...

Сакре-Кёр нужно увидеть. Тем более что поселили Топкина где-то рядом... Он достал карту, взял со стола карточку «Альтоны», которую вчера выдали на ресепшене... Так, вот отмечен отель, и если пойти на север, будет бульвар Рокхе... А, Рошешуар. Легендарный Рошешуар, где кабаре... Нет, не «Мулен Руж», а даже более крутое, описанное Мопассаном; там Лотрек нашел тему своих картин – танцовщиц, проституток, выпивох... Да и «Мулен Руж» тоже где-то неподалеку. Где-то там и Пигаль, бульвар Клиши... Тихие дни в Клиши, крошка Колетт...

Ох, какой сушняк! И курить хочется... В номере курить запрещено...

Топкин пополоскал рот водой из-под крана, постоял перед окном. Осмотрел туалет – датчиков дыма вроде бы нет... Не выдержал, закурил, приподнял раму. В лицо, как кулак, ударил твердый поток холодной, почти ледяной сырости. Дым не вылетал наружу, а после выдохов закручивался барашками и возвращался в туалет.

Сделав несколько судорожных затяжек, Топкин сбил уголек сигареты в унитаз, окурок сунул обратно в пачку. Закрыл окно. Продует, и придется вместо экскурсий тут с температурой валяться...

Надо было, конечно, летом ехать. Или хотя бы в сентябре, а не в конце октября. Но работы навалилось летом и в первые два месяца осени, что не продохнуть. Один выходной оставили, по двенадцать часов впахивать приходилось... Заказ за заказом, причем всё по государственным программам, а не от частных лиц. Там и объемы другие, и деньги... Не всё, правда, выплатили, но обещают твердо. «До конца декабря стопроцентно все долги будут закрыты». С трудом верится, но в такой год обмануть не должны.

А год, две тысячи четырнадцатый, для Кызыла, да и для всей Тувы, – особенный. Его ждали больше двух десятилетий. С тех пор как в начале девяностых временные трудности сменились разрухой, которая в свою очередь, когда почти всё было разрушено, превратилась в тошливую серость, которой нашли научное имя – стагнация. Так прямо и говорили руководители республики: «У нас – стагнация». Типа оправдывались, что требовать каких-то улучшений сейчас невозможно, бесполезно, просто нелепо. «Стагнация» – этаким всеобщий летаргический сон...

Население, от главы республики до последнего бомжа, ждало, что вот придет две тысячи четырнадцатый, и в мгновение ока жизнь изменится. Города и села преобразятся, зарплаты повысятся у тех, кто работает, а кто сидит без работы, на пособиях, – появится. Легкая, но денежная. А бомжей отмоют, поселят в специально выстроенных приютах и, главное, будут давать водки, сколько захочешь... Короче, мечта каждого исполнится в этом году.

Проведя всю сознательную жизнь в Туве, Топкин не мог не знать основные моменты ее истории. Тем более в последние годы всё чаще возникало желание понять, где именно он живет...

Две тысячи четырнадцатый – юбилейный. Сто лет назад Россия приняла Урянхайский край, который позже стал Тувой, под протекторат. Сто шестьдесят тысяч квадратных километров степей, тайги, рек и гор с примерно пятьюдесятью тысячами (никто точно не знает, так как никто не считал) тувинцев – смеси разных племен и обломков великих народов, живших поочередно на этой земле, – и десятком тысяч русских крестьян, староверов и купцов, проникавших сюда с конца девятнадцатого столетия.

Царь своим указом о протекторате фактически спасал людей – недавно в Китае случилась революция; часть тогдашнего Китая, под названием «Монголия», воспользовавшись ситуацией, отделилась, а севернее Монголии находился этот Урянхайский край с населением, которое монголы ненавидели и презирали.

Урянхай тоже заявил о своей независимости, но и Китай, и возродившаяся Монголия очень хотели вернуть клочок земли в верховьях реки Енисей, гневались на урянхов и сойотов (две основные ветви, ставшие позже тувинцами), грозились их истребить поголовно, что было в порядке вещей в суровых азиатских краях. Вырезать пятьдесят тысяч – раз плюнуть.

Часть нынешних тувинцев обратилась к русскому царю с просьбой взять их под защиту. Русский царь год-другой посомневался и взял. Но защиты, покровительства – протектората, – просила лишь одна часть. Другая хотела независимости, третья – монгольского владычества, четвертая – китайского... Позже, почти через век, это неединство аукнулось русскому населению Тувы.

А тогда была весна девятьсот четырнадцатого, Российская империя находилась в добром здравии и силе, царь, пережив смуту революции пятого года, – чувствовал себя уверенно. Наверное, радовался, что новая территория мирным путем де-факто (протекторат, это не полное присоединение, но тем не менее) приросла к России. В благодарность Николаю Второму первый в этих землях кочевников город назвали Белоцарском.

По выючным тропам через Саянские горы пошли караваны с товарами из Енисейской губернии, русские крестьяне стали заселять Урянхай активнее...

Первая мировая война хоть и не напрямую, но коснулась и Урянхайского края. С началом поражений России на западном направлении, Монголия и Китай стали громче заявлять о своем праве владеть этой землей. Китайцы потрясали договорами восемнадцатого столетия, по которым Урянхай признавался территорией Китайской империи; монголы слали ноты и отправляли в край своих людей, настраивавших тувинцев против русских. Заполыхали дома переселенцев, купеческие лавки. Царь повелел ввести в Урянхай ограниченный воинский контингент – полусотню казаков.

Февральская революция вызвала новые попытки Монголии присоединить Урянхай к себе. Китай, не имевший с краем общей границы, проявлял меньше рвения. Российское временное правительство заявляло, что договоры, заключенные при прежнем режиме, будут неуклонно соблюдаться. Территориальная целостность оставалась незыблемым принципом. Были, правда, голоса, призывавшие позволить урянхайцам самоопределиться. Во-первых, это не абсолютно российская земля, а принятая под покровительство, а во-вторых, имеет Урянхай в нынешних (1917 год) условиях попросту экономически тяжело... Топкину

запомнилась фраза из какого-то документа: «Более миллиона рублей потрачено на постройку никому не нужного Белоцарска».

Правда, тогда все клочки бывшей Российской империи желали отделиться друг от друга и самоопределяться. И отделение Сибири от западной части страны не казалось чем-то фантастическим... Одно время, после знакомства с Михаилом, братом своей третьей жены, Топкин очень настойчиво искал статьи Григория Потанина об автономии Сибири. Этнографических, географических, ботанических статей было сколько угодно, а эти – в спецхранах, видимо. Даже путешествия в лабиринтах Интернета не помогли. Запретная тема...

Незадолго до Октябрьской революции прошел русско-уряньхайский съезд. На нем решили, что внутренние вопросы местное население будет решать самостоятельно, а спорные станут разрешаться российской властью. Было подтверждено, что высшая гражданская власть в крае принадлежит России. Для того чтобы не усиливать межнациональное напряжение, участники съезда решили запретить дальнейшее переселение русских в Урянхайский край.

Правда, несколько хошунов – районов – своих делегатов не прислали: они не признавали протекторат изначально, считали свои земли или ни от кого не зависимыми, или же частью Монголии.

Во время Гражданской войны были в нынешней Туве и белые, и красные, и всякие прочие. Русские воевали друг с другом, тувинцы – тоже. Китай с Монголией на дипломатическом уровне, а иногда и при помощи вооруженных отрядов боролись за эту территорию, и в конце концов Китай признал Урянхай неотъемлемой частью Монголии. Но Монголии в тот момент было не до него – там происходила очередная революция.

В самом же Урянхае, видя, как разваливается Россия, всё большее число людей желало снова присоединиться к Китаю. Точнее, разные регионы края, управляемые нойонами – местными князьями, – видели себя под покровительством разных держав. Китая, Монголии, того, что появится на севере – там, где была недавно Российская империя.

Но в итоге Урянхай оказался независимым государством – Тувинской народной республикой. Столицей стал Белоцарск, переименованный на очень короткий срок в Урянхайск, потом в Красный Городок, а потом в Кызыл – то есть «Красный».

Независимость была провозглашена на Учредительном съезде тувинского народа летом 1921 года. Но съезд не получился всенародным – представителей двух из девяти хошунов на нем не было. Эти хошуны считали себя частью Монголии. О желании войти в состав Монголии заявил и представитель Тоджинского хошуна. Не принял участие в съезде главный правитель – амбын нойон. Всё это позже припомнится...

Так или иначе, но Тува – ТНР – стала третьей в мире страной, после Советской России и Монголии – МНР, – строящей социализм. Хотя о строительстве социализма в Монголии и Туве было объявлено позже, несколько лет они именовались просто «народные».

На протяжении нескольких лет Тува оставалась государством, как бы сейчас сказали, самопровозглашенным и непризнанным. В 1924 году ее наконец признал СССР, еще через два года, после множества попыток пристегнуть Туву к себе, споров о границе, и Монголия. Впрочем, пограничные конфликты между ТНР и МНР продолжались еще долгие годы, не раз угрожая перерасти в открытую войну.

Улаживать отношения Тувы и Монголии приходилось советскому руководству. Даже в августе 1941 года, когда немцы накатывались

на Ленинград, Киев, Москву, Молотов вынужден был успокаивать готовых к войне друг с другом восточных союзников... Где-то Топкин читал, что будущий прославленный маршал, а тогда, в 1939 году, командующий Группой советских войск в Монголии Георгий Константинович Жуков разнимал бросившихся друг на друга руководителей Тувы и Монголии...

Независимость Тувы была относительной. На международной арене ее представлял Коминтерн, экономическая помощь из СССР шла мощная, в том числе и кредиты, долги по которым время от времени списывались. Русское население республики считалось гражданами Советского Союза, живущими по советской конституции. Тувинские деньги, почтовые марки печатались в советских типографиях.

Через несколько часов после нападения Гитлера на СССР Тува объявила войну Германии. Фюрер, правда, на это никак не отреагировал. До сих пор ходит байка, что, узнав об объявлении войны, он стал искать Туву на картах, не нашел и плюнул.

В меру сил ТНР участвовала в Великой Отечественной. Слала в СССР мясо, шерсть, гнала лошадей, передала золотой запас государства на строительство танков и самолетов. Русские парни и мужики из Тувы отправлялись на фронт по мобилизации, а тувинцы шли добровольцами.

В школе часто рассказывали, как тувинские кавалеристы освобождали Ровно, вселяли ужас в фашистов, называвших их «черная смерть»... Над этими рассказами школьники – пацаны русской национальности – посмеивались, не веря в разбегавшихся чуваков со шмайсерами при виде тувинцев на лошадях. Но много позже Топкин прочитал в одной статье, что тувинцы не брали пленных, «руководствуясь своими национальными представлениями о военной этике»...

Помощь Советскому Союзу окончательно подорвала экономику Тувы, ответной помощи в ближайшее время ждать не приходилось – весь запад большого соседа лежал в руинах. Тувинские руководители стали обращаться к советским руководителям со всё более настойчивой просьбой принять республику в состав СССР. Внутри Союза подняться казалось реальной... В октябре 1944 года просьба была удовлетворена.

Вхождение Тувы в СССР воспринималось как благо, юбилеи отмечались искренними празднествами. Точнее, искренними они казались Топкину в детстве... Улицы украшались красными флагами и транспарантами, на стадионах «5 лет Советской Тувы» и «Хуреш» проводились соревнования борцов и лучников, футбольные, волейбольные матчи, в филармонии, театре шли торжественные заседания и концерты.

Но в конце 80-х оказалось, что вхождение состоялось незаконно – решение о ходатайстве вступления ТНР в состав СССР принял не Великий Хурал (Верховный Совет) Тувы, а Малый (президиум Верховного Совета), что от населения это решение утаивали около месяца, опубликовав лишь тогда, когда всё было решено, подписано и ничего изменить было невозможно.

Вслед за этим вспомнили сомнительную просьбу о протекторате, разногласия по вопросу независимости Тувы в двадцать первом году... Почти каждый день читатели газет – республиканских и центральных – открывали какие-нибудь возмутительные факты из истории СССР. Все республики оказывались захваченными, покоренными коммунистами. Возмутительного предостаточно было в том числе и в отношении

Тувы... Советский Союз трещал и лопался, взрывался вооруженными конфликтами. Прибалтика, Фергана, Карабах, Баку, Казахстан... В конце концов рвануло и в Туве.

* * *

Дождавшись восьми часов по местному времени, Топкин спустился в кафе... Это было не кафе даже, а скорее что-то вроде буфета – несколько столиков, аппараты с кофе и кипятком, молоко, чай, сахар в пакетиках, йогурт, какие-то хлопья...

За одним из столиков сидели две пожилые женщины, тихо переговариваясь на неизвестном Топкину языке.

– Бонжу-ур! – появился из соседней с буфетом комнатки огромный, очень черный, до синевы, негр в белой курточке.

Топкин отозвался слегка растерянно:

– Бонжур.

Негр больше жестами, чем словами спросил, из какого он номера; Топкин показал брелок-гирьку с цифрами.

– О-оке! – Отметив что-то в журнале, негр скрылся в комнатке и почти сразу вернулся с тарелкой – круассан, булочка, шоколадная паста «Нутелла» в крошечной упаковке. Поставил на стол, взглядом показал Топкину, что это ему.

«Такому банки грабить, а не круассаны выдавать, – подумал Топкин, и тут же пристыдил себя: – При чем здесь банки?.. Нашел непильную работу и приткнулся...»

Может, благодаря вкусному кофе и свежему круассану, вспомнилось забавное: как они в восемьдесят четвертом всей школой репетировали танец.

На протяжении полутора месяцев – в сентябре, начале октября – всех, от второклассников (первоклашек пощадили) до десятиклассников, собирали на футбольном поле и включали магнитофон с мощной колонкой. По округе бухала песня «На шагающих утят быть похожими хотят...»

И человек триста, стоя полукругом, должны были синхронно повторять за женщиной в ветровке с полосками одни и те же движения: по-куриному махать согнутыми в локтях руками, приседать, виляя при этом задом, вскидывать руки, подпрыгивать, тянуть руки вверх, энергично шевелить пальцами... Выглядело это со стороны наверняка очень смешно.

Топкину было тогда одиннадцать лет, он еще не научился не подчиняться, а парни из старших классов, да и некоторые девушки стали было пропускать репетиции, отказываться. Но на них с необычной суровостью обрушилась добродушная вообще-то завуч: «Это не наша прихоть. Это – государственное задание! Подготовка к славному юбилею». Грозил наказанием вплоть до исключения из комсомола. «А без комсомола вы ни в один институт!..»

Однажды всем раздали спортивные костюмы. Да нет, какие спортивные – легкие трикошки и футболки. У каждого возраста был свой цвет – у одних бордовый, у других зеленый... Андрею и его сверстникам достались белые. Помнится, их сразу прозвали кальсонами.

Стали репетировать в костюмах. На то, как они приседают и машут руками, приходили посмотреть какие-то солидные дяденьки. Серьезно кивали.

И вот была собрана общешкольная линейка. Директор объявил, что в ближайшее воскресенье на стадионе «Хуреш» состоится праздничный концерт, посвященный сорокалетию вхождения Тувы в братскую семью народов СССР.

«Нашей школе оказали большое доверие – участвовать в празднике, – повысил голос директор, высокий, далеко еще не старый мужчина, Сергей Владимирович Конеев; обычно он редко показывался за пределами своего кабинета, и всем учебным процессом, поведением учеников занималась завуч, но выступать перед школьниками Сергей Владимирович любил. – Настоятельно требую всех к девяти утра быть у входа в парк культуры и отдыха. Мы собираемся и организованно идем к стадиону... Повторяю, это очень серьезное мероприятие!»

Он замолчал, видимо, решив, что сказано всё. Завуч что-то ему шепнула.

«Да-да, – спохватился Сергей Владимирович, – и не забывать костюмы. Всем ясно?»

«Угу-у», – прокатилось по рядам совсем небодрое.

Белые трико выглядели, конечно, позорно, и Андрей с одноклассниками решили не пойти. Тем более и страшновато было танцевать на стадионе, перед тысячами глаз такой танец. «На шагающих утят...»

«При чем здесь эти утята?» – недоумевала и мама, но потом ей объяснили: мелодия немецкая, а их школа переписывается со школой в ГДР; есть несколько ребят, которые жили в Германии – отцы там служили...

«Надо участвовать, сынок, – убеждала мама Андрея, то и дело заговаривающего, что не пойдет. – А то и нам неприятности будут... Мы все вместе пойдем. У папы дежурства нет как раз. Погуляем после концерта, газировки попьем. Говорят, мороженое привезут».

Мороженое в Кызыле до начала девяностых было редкостью. Здесь его не делали, а доставлять из-за Саян, за четыреста километров, было наверняка невыгодно. И потому оно появлялось в городе лишь по праздникам, да и то не всегда и не во всех магазинах.

Во времена кооперативов некие умельцы стали делать мороженое сами, по слухам, из детского питания. Оно стоило очень дорого, было невкусным, да и кто-то здорово им траванулся. Или слухи такие распустили, чтоб прикрыть лавочку. И прикрыли.

Году в девяносто втором появились уже серьезные коммерсанты. Но они опять же не стали строить заводик по производству, а везли мороженое в рефрижераторах из Абакана и Минусинска. Торговля шла прямо на улице – из коробок. Расхватывали только так, несмотря на безденежье.

Теперь никого мороженым в Кызыле не удивишь, а в восемьдесят четвертом... Короче, Андрей сломался – в обмен на три пачки пломбира или эскимо (что окажется) согласился танцевать на стадионе в «кальсонах».

Эти «кальсоны», кстати, ненавистные, позорные, стали на неделю, как бы сейчас сказали, фишкой. Начало этому положил топкинский одноклассник и сосед по дому Славка Юрлов. Дня через три-четыре после выдачи этого концертного наряда он явился в школу в «кальсонах». На туловище синяя форма, а на ногах – они.

«Ю-урлов! – схватила его за рукав встречавшая учеников в фойе завуч. – Что это за видок?!»

«А чего? – Славка недоуменно скривил губы. – Обнашиваю. Так все артисты делают».

«Ну-ка марш домой за брюками!»

В общем, Славку не пустили на первый урок, а на следующий день в «кальсонах» пришли еще человек пять.

Завуч перекрыла дорогу одному, задержала другого, но потом почему-то отпустила. И несколько дней пацаны щеголяли по школе с белым низом... Андрей хотел было тоже прийти так, но не решился...

Само выступление запомнилось смутно. Волновался, повторял за другими движения, поэтому мало что замечал вокруг. Но часы перед концертом и после отпечатались в памяти подробно.

Около девяти был с родителями и сестрой Таней на площади возле входа в парк Гастелло. (У Топкина до сих пор держалась подсознательная уверенность, что летчик-герой был их земляком – иначе зачем называли парк его именем; но о Туве Гастелло если и слышал – участвовал в боях на Халхин-Голе, – то вряд ли в ней бывал, и логики в том, что парк культуры и отдыха носил его имя, не было. Тем более что в Кызыле родились или жили несколько Героев Советского Союза. Например, Михаил Бухтуев, совершивший первый таран бронепоезда танком.)

Площадь была забита толпами пацанов и девчонок из разных школ. По сигналу руководителей то одна толпень, то другая двигалась через мост над протокой в сторону стадиона «Хуреш».

Андрей заметил в людском скопище высокого физрука Одувана, а уже потом учеников. Договорился с родителями, где встретятся после выступления, прибил к своим.

По чьему-то знаку двинулись. Бухала в отдалении музыка, вокруг болтали, смеялись... Праздник... Около задних ворот стадиона сняли верхнюю одежду и выбежали на поле, расставились не очень густым – часть ребят все-таки не пришла – овалом.

Оглушительно, со всех сторон, зазвучала мелодия про утят, и стали танцевать. Когда песня кончилась, убежали обратно за ворота.

А потом наступила обжираловка мороженым и пирожными «гномиками», обпивание газировкой... Очень быстро, получив от родителей рубль, Андрей свалил к пацанам-одноклассникам. Рубль мгновенно истратился на сладкое и катание на «взрослых» каруселях – «На щечке»; испарились и деньги пацанов, и они стали рыскать по кустам в поисках пустых бутылок.

«Чебурашки» из-под газировки принимали там же, где торговали, – за столами под зонтиками. И происходил почти бесконечный круговорот: сдавалась пустая бутылка за двадцать копеек, добавлялось семь или десять, или пятнадцать копеек в зависимости от вида газировки, и покупалась целая поллитровка. Распивалась по кругу, сдавалась за двадцатик, к которому нужно было добавить еще копеек, чтоб купить следующую. И пацаны неслись на поиски пустой тары.

Заодно гонялись за девчонками по узким, боковым дорожкам, играли в прятки в тополевых зарослях, а по парку разносилась жизнеутверждающая музыка со стадиона «Хуреш». Припекало осеннее солнце... Был праздник.

* * *

Шагнул на улицу под синий навес у двери отеля, и сразу обдало сырым ветром... Черт, даже в голову не могло прийти, что в Париже может быть плохая погода. Как тут гулять? Об асфальт колотились сердитые твердые капли, ручейки воды бежали по краям проезжей части...

Топкин глянул время в телефоне. До начала экскурсии оставалось около сорока минут. До места встречи – Гранд Опера – минут пятнадцать. По этой улице налево, потом повернуть направо, потом еще раз направо... Паренек на ресепшене, пообъясняв, сказал в итоге нечто такое:

– Все дороги приводят к Опера.

Без всякого желания Топкин закурил, поднял воротник легкой куртки и, ссутулившись, держа сигарету в кулаке, пошел по узкому тротуару.

Грел себя теплым прошлым.

...Да, тот октябрьский день оставил ощущение настоящего праздника. И не потому, конечно, что вдоволь надулись вкуснятиной... Нет, была какая-то абсолютная радость и, может, впервые возникшее ощущение, что дальше будет вот так – хорошо, светло, весело...

Сколько прошло с тех пор? Восемьдесят четвертый год... А, да, тридцать лет. Ровно до месяца...

«Тридцать!» – крикнуло в Топкине отчетливо, отчаянно, и он даже остановился, как перед ямой, пытаясь осознать эту громадную для человеческой жизни цифру. Тридцать лет. Три четверти прожитой им жизни. И четверть – почти не помнившегося детства... А сколько впереди?

Сколько... Пусть двадцать, пусть еще тридцать или даже сорок. Но через двадцать лет ему будет за шестьдесят. Если даже сбережет себя, здоровье сохранит, всё равно... За шестьдесят – это старость. Как ни крути, как себя и других не обманывай.

И, получается, она совсем рядом. Чик! – и вот вместо восемьдесят четвертого года две тысячи четырнадцатый. А потом еще – чик! – и две тысячи тридцать четвертый... Один чик, наполненный бликами, силуэтами мелькающих фигур, мгновениями удовольствия, секундами горя...

– Да нет, – вслух запротестовал Топкин, досасывая горячий дым из окурка. – Нет, чего я, блин... Много было... Много всякого!

Действительно. А чем он занимался последние сутки? Как во время перелета из Абакана в Москву стало вспоминаться, так не отпускает. Лезет и лезет, всплывает, вспучивается, словно еще одна, повторная жизнь, давно пережитое.

Дома, в привычной обстановке перед телевизором или за компьютером, после тяжелого дня, или с друзьями, которые рядом много лет, или с девушкой, молодой и свежей, воспоминания спят, а тут – навалились...

Так, так, надо идти, добраться до Опера, забраться в салон автобуса, свернуться на сиденье у окна, смотреть на плывущий Париж. Узнавать места, которые знал давно, но по фильмам, по книгам. А теперь – увидеть живую... И Топкин, нагнув голову, глядя в землю, пряча лицо от ледяных капель, скосив в сторону от порывов ветра туловище, захлопал дальше.

«Как Пьер Ришар», – представил себя со стороны, попытался разведелиться. И почти сразу чуть не врезался в женщину с тележкой. Женщина что-то предупредительно выкрикнула, и Топкин увернулся.

Поэзия

БОЛДИНО: «ВСЕМИРНЫЙ ПУШКИН»

В ноябре в Нижнем Новгороде прошла XI Ассамблея Русского мира. В рамках ее программы в Большом Болдине были подведены итоги международного конкурса «Всемирный Пушкин», объявленного фондом «Русский мир» и Государственным музеем-заповедником А. С. Пушкина «Болдино». Конкурс проходил по четырём номинациям: «Проза», «Поэзия», «Литературная критика и публицистика по творчеству А. С. Пушкина» и «Художественный перевод». В адрес оргкомитета было прислано около тысячи работ из 30 стран и практически всех российских регионов. Представляем наиболее яркие произведения в номинации «Поэзия».

Надежда КНЯЗЕВА

Арзамас, Нижегородская область

Август в агонии

Август в агонии.
Ангелы в гавани.
Арфы в ладонях
оплавятся лавою.
Алый закат полыхает над главами.
Главный глядит на часы.

Звёзды – зола.
Небо заревом выстлано.
Гнётся стрела
в ожидании выстрела.
Дрожью легла
на чело его чистое
рваная россыпь росы.

Ветер бы вновь
да касание губ его.
Светел был, но
безнадёжен недуг его,
вписанный в судьбы холодными буквами.
К берегу жметя заря.

Всё непреклоннее
Сумерки крайние.
Злая ирония –
Знать бы заранее...
Август в агонии –
Агнец в заклянии
Жёлтых костров сентября.

* * *

Осень пахнет хной, крася в рыжий деревьев волосы,
Только зелень еще не сдалась золотой лихорадке.
Тёплый запах, пропитанный дымом и лёгкой моросью,
Пробирается в дом через поры кирпичной кладки.

Куртка. Дверь. Замок. Барабанная дробь по лестнице.
Из кармана подъезда выпасть в ладонь тумана,
Как пропавший ключ. В сентябре, в непокорном месяце,
Из подшитых будней – в прореху свободы рваной.

По асфальту, покрытому листьями и испариной.
Меж бетонных скрижалей, расписанных уличным богом.
Пойман ритм, и шаги совпадают с его ударами,
Где-то слева толкаясь глухо и однобоко.

От откоса, где реки не могут разжать объятия,
От скамеек, неровно блестящих дождем и краской,
В зону теплого взгляда не друга пока, не приятеля,
Совершенно неловко, на вдохе, роняя «Здравствуй...»

* * *

Марина поёт на вокзале, дыша выхлопным перегаром, одета в дырявую куртку и юбку с чужого бедра. В руке у Марины пол-литра, в глазах у неё по пожару, на шапке – пришитая наспех ещё в декабре мишура.

Марина поёт на вокзале, не думая о причинах – и хрен с ним, что несчастлива, да было бы где уснуть. Старушки кривят губами, а некоторые мужчины дают пирожок и пиво – и ждут отправления в путь.

Она их всех провожает и всем остаётся верной – к чему ей свою свободу разменивать на беляши... Пусть так поступают бабы, что фыркают вслед манерно. Марина поёт не за деньги, а просто так – для души.

Елизавета АНДРЕЕВА

Пенза

* * *

Бездушный ветер гонит облака.
Судьба, как ветер, души гонит к дому.
Слова взошли на плаху языка,
И я теперь их слышу по-другому.

Мне ночь нужна. И ночь пока нежна.
Молчит луна, распухшая от света,
И улица под ней – обнажена.
Я вижу душу каждого предмета,

Когда темно, когда, закрыв глаза,
Ощупываю словом каждый угол,
Когда могу бродить вперёд-назад,
Не ощущая севера и юга...

Пусть ночь уйдёт, земной закон таков,
В пучине мрака звёзды перемоеет.
Мне нужен день. Он – скрытен и суров.
И он забыть о смерти не позволит.

Восток на запад бросит солнца мяч.
Чем дальше я разглядываю лица,
Тем лучше понимаю: я – незряч,
И я нарочно жажду заблудиться;

Не помнить, как душа моя жила,
Не быть ничем, пытаюсь стать хоть чем-то...
Уже летит смертельная стрела,
Уже готова траурная лента,

Сколочен гроб и сплетены венки,
А я живу, мне даже что-то снится...
Как паутинки, контуры тонки
Того, чему назначено случиться...

Бездушный ветер гонит облака.
Они летят, не думая о страхе...
Слова взошли на плаху языка,
И я – палач на этой вечной плахе,
И крови просит новая строка...

* * *

Серебряный плащ водопада
Повис на крючке синевы.
Мне снилась ночная прохлада
И звёзд одинокие львы.

Мне снилось, что в белом тумане
Взошёл над водой великан,
И был он залит облаками,
И был он спокойствием пьян.

Струилась вода еле слышно
Во всём, что могло быть водой.
В воде расцветали, как вишни,
Русалки, играя с бедой.

И белая-белая тайна,
Рождённая в тонкой волне,
Являлась, как будто случайно,
Уснувшей на камне луне...

* * *

Надо мною – сердцевины
Голубых январских звёзд.
Я из кожи-мешковины
Выползаю... во весь рост
Между звёздами стою я,
Тихо что-то бормочу
И, спокойствием рискуя,
Колесо времён кручу...

* * *

В тёмном озере ночи –
Волны звуков черны.
Звёздный бал многоточий
В небесах без луны.

Ночь поёт о грядущем
И молчит о былом.
Звёздам, с нею поющим,
Ночевать под стеклом...

Если б звёзды ослепли,
Утонули во тьме,
Дней упругие стебли
Проросли бы во мне,

Проросли бы из глины,
Из пустой тишины,
Из живой сердцевины,
Где миры сплетены...

Проросли бы, как пламя
Прорастает в ночи
Из забытой в тумане
Путеводной свечи...

Григорий ВОЛКОВ

д. Богданово, Нижегородская область, 15 лет

Баллада о человечке

Желудёвый человечек
Мчался с важным донесеньем,
Папиросная бумага
Развевалась за спиной.
Желудёвый человечек
На лошадке из картона
Гнал галопом по квартире
Потаённую тропой.

Грянул выстрел. Человечек
Желудёвый покачнулся,
Пластилиновые глазки
Затуманились навек,
Желудёвое сердечко
Навсегда остановилось,
Умер храбрый ординарец,
Желудёвый человек.

Под берёзою кудрявой
Человечка хоронили,
Под берёзой на газоне
Он навеки в землю лёг.
Закопали человечка,
Закопали и забыли.
Выпал снег. Потом растаял.
А весной пророс дубок.

Последний день лета

Варят варенье. Его аромат золотистый
В нос проникает и ноздри приятно щекочет.
Белое облачко пара стоит над плитой,
Масса янтарная в медном тазу, словно лава, клокочет.
Даша стоит у плиты, потихоньку мешая
Ложкой варенье, корицу туда подсыпая
(Ах, этот запах корицы ни с чем не сравнимый,
Лучшие блюда тобой приукрашены). Рядом лежали
Несколько сотен ещё не очищенных яблок,
Солнечный свет кожурой отражавших блестящей.
Яблоки, яблоки! Сотни и тысячи яблок –
Радость последняя летней поры уходящей...

Ветер подул, унося за собою зеленое лето,
Первые жёлтые листья с берёз облетали.
Солнце последнее этого лета за лес закатилось,
Банки с вареньем, шеренгами встав, пополнения ждали.
Тихие звёзды над садом взошли. Появилась луна.
Всё побелело от тусклого лунного света.
Окна погасли. Над спящей деревней склонилось
Небо. Последнее звёздное небо ушедшего лета.

Весёлый Гоголь

Весёлый Гоголь с грустной книжкой,
С горящей спичкой, без пальто,
В одной пижаме шёл вприпрыжку
И восклицал: «Не то! Не то!»

Весёлый Гоголь шёл по дому
И красной спичкой книжку жёг.
Весёлый Гоголь шёл по дому,
Дрожали пол и потолок.

Весёлый Гоголь с чёрной спичкой,
С горящей книжкой, без пальто,
В одной пижаме шёл вприпрыжку
И восклицал: «Не то! Не то!»

Трещала хрупкая бумага,
Страницы рассыпались в прах,
И вскоре только горстку пепла
Весёлый Гоголь нёс в руках.

* * *

Когда уходит Карлсон на войну,
Стянув плечо ремнём противогаза,
Забудьте всё. Простите шалуну
Его былые детские проказы.
Забудьте плюшки, битое стекло.
Всё это позади. Всё это – детство.
Он покидает вас и старый дом
На крыше оставляет вам в наследство.
Он не всегда был скромен – ну и пусть!
Он покидает вас и оглянуться,
И крикнуть хочет снова: «Я вернусь!»
Но он не может обещать вернуться.
Не плачьте, фрёкен Бок. Пора придёт –
Наплачетесь. В родимую сторонку
Холодный ветер почты принесёт
Недобрым утром злую похоронку.
И, распечатав голубой конверт,
По черным строчкам пробежав глазами,
Оплачете сегодняшний момент
Горючими, тяжелыми слезами.
Но ты, Малыш, когда произойдёт
Какое-то неведомое чудо,
И Карлсон, старый друг, к тебе придёт
Живым, непокалеченным оттуда,
И сбудутся заветные мечты,
Ты, звук мотора из окна услышав,
Воскликнешь снова: «Карлсон! Это ты!»
И вы опять отправитесь на крышу.

Если книгу взять из шкафа...

Если книгу взять из шкафа
(Лучше детскую, конечно,
Но за неимением детской
Даже взрослая сойдет).

Если книгу взять из шкафа
(Обязательно из шкафа.
В качестве альтернативы
Здесь кровать не подойдет).

Если книгу взять из шкафа
(ВЗЯТЬ! Не выдернуть! Не вырвать,
Как морковку рвут из грядок
Огородных). Ну так вот:

Если книгу взять из шкафа
(Больше отступать не буду,
А иначе мой читатель
Ни словечка не поймет).

Если книгу взять из шкафа
(Вот и снова отступленье.
Для чего его я сделал?
Неизвестно никому).

Если книгу взять из шкафа...
Тороплюсь, закончу после.
Или вовсе не закончу,
Просто новое начну.

Дарья ЛИОНЕНКО

Санкт-Петербург

Октеты Е105

Зигзагом с Пресни до Отрадного:
В ногах нет правды, говорят...
Нет, мне не доказать обратного,
А впрочем, сколько лет подряд
Твердят, что всё давно изучено,
Но я шагаю наугад
Сквозь ночь от Стрелки и до Купчино, –
В рассвет вливается закат.
Я глохну от ваганько-волковских
Надрывно-томных соловьёв,
Устав от недомолвок блоковских,
В Москве скрываюсь от долгов.
Но всё равно вернусь к таинственным
Просторам невских берегов:
Мой город, верно, был единственным,
Кто разделял мою любовь.
Мой Петербург ревнив, но опытен:
Не соскочить уже с иглы
Адмиралтейской. В этом омуте
И черти строги, но милы.
Он мне мои прощает глупости,
И превратятся в пене мглы
Москвы кирпичные округлости
В его гранитные углы.
Уют Покровки манит исподволь,
И к Бронной сходятся пути,
Но волны Балтики неистово

В моей пульсируют груди –
Посею ветер, бурю выращу.
Покрепче. Мне пора идти.
Клянусь: в Москве на волю выпущу
С собою взятые дожди.

Илья ЧЕХОВ

Семёнов, Нижегородская область

* * *

День сорвался с окна.
Во дворе ливень
в кош ночного сукна
сыплет горсть гривен.
Будет долгая ночь без сна.
Ты ворвёшься точь-в-точь весна:

ты заваришь мне трав,
распахнёшь шторы...
Может, я был не прав,
заводя споры
о полезности этих встреч,
о болезни тонких плеч.

Я сижу в темноте,
как поэт Бродский,
только шторы не те
и не столь броский
шум волны. И тоска как струп
на обветренной коже губ

* * *

Совсем худой от сигарет,
с большой заплатой,
сползал лениво старый плед
с постели мятой.

На запорошенном окне
играли тени.
Несмело ты внимала мне,
поджав колени.

Пылал румянец на щеках,
краснели мочки –
ты так изящна и легка
в моей сорочке.

И с влажных губ срывался смех,
ты ела сливы.
Снаружи падал первый снег,
я был счастливым...

Зарина БИКМУЛЛИНА*Казань***Мечтатель***Посвящается Павлу I*

Маленький мальчик мечтает стать рыцарем,
Замки возводит из воздуха.
Маленький мальчик не дружит с столицами
И ненавидит по-взрослому.

Маленький мальчик играет в солдатики –
Дед же оставил олова.
Чем же вбивать стратегию, тактику
В эти чугунные головы?

Прячет печали между подушками:
Мама не любит, невзрачного.
Мальчик боится города душного,
Строит из кубиков Гатчину.

В воздух столицы что-то подмешано,
В собственной сказке просторнее.
Будут солдатики, правда, потешные?
Будут балы и придворные.

Будет и гордый привкус нерусского
В белых полосках шлагбаумов.
В маленьком мире с дорожками узкими
Мимо проходит борьба умов.

Будет и домик, как в сказке, березовый:
Роскошь в обычной поленнице.
Только в перчатке оранжево-розовой
Бьется мечта, словно пленница.

Вензель на дверцах кареты. И спицами
Режется бархат дорожный.
Крест и шампанское! Замок и рыцари!
Если в короне, то можно.

Словно игрушка, заброшена Гатчина.
Кубики – старая мода.
Перед лицом некрасивого мальчика
Плещутся невские воды.

Лучше играть с петербургскими звездами –
Больше огней!
Мальчика нет. Превратился во взрослого.
На сорок дней.

Король Лир

У него был узкий рот и растянутый свитер.
Он прятался в третий по счету бак.
Неделю копил, чтобы купить себе литр,
Делал один глоток – и обливал собак.

Он был вежлив, пожалуй, интеллигентен.
Помои ел только с тарелки – эдакий пир.
Держался, едва дыша, на клейкой ленте
Томик с истершейся надписью: «Уильям Шекспир».

Он говорил старомодно: кофий, смеялас, свит'ер.
Ворча, великое русское слово стирал со стены.
Вроде бы мир прошелся и ноги вытер –
А он только след сапога стряхнул со спины.

Из репродуктора слушал Шнитке: стаккато и лиги.
Пусть отовсюду давит ржавых баков металл,
Но не о каждом напишут великие книги.
О нем написали – честно, он сам читал.

Остановка

Выходя из книги, как из детства,
Закрывайте за собою дверь.
Оставляйте в памяти соседство
С теми, кто туманом стал теперь.

Знайτε, что в истрепанной шинели
Бывший офицер спешит домой.
Пусть смеются злобно все, кто пели –
Но пророк опять бредёт с сумой.

Если в жерло печки за копейку
Срубленные вишни полетят,
Не считайте градус Фаренгейта:
Книги, как известно, не горят.

Никогда не стойте у вокзала,
Забывая свой язык и речь.
Ведь литература подсказала
Что-то в сердце смолоду сберечь.

Может быть, мы улетим, как птицы,
Чтобы воздух был и свеж, и сыр.
Закрывая за собой страницу,
Открывая бесконечный мир.

Литпроцесс

Андрей РУДАЛЁВ

Родился в 1975 году в городе Северодвинске Архангельской области.

Окончил филологический факультет Поморского государственного университета, два года работал там же на кафедре литературы. После был охранником в ночном клубе, замредактора в рекламной газете, корреспондентом «Северного рабочего», пресс-секретарем Совета депутатов Северодвинска.

Участник Форумов молодых писателей в Липках. Лауреат литературной премии «Эврика!» (2006). С критическими заметками выступает во множестве периодических изданий. Живет в Северодвинске

ТРИАДА ПОЛКА РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Захар Прилепин призвал к равнению на солнце

Святые непротивленцы Борис и Глеб стоят во главе небесного воинства, которое охраняет Русь. В видении они явились Александру Невскому перед битвой с обещанием помочь ему. В этом нет противоречия. Потому как одно дело за себя воевать, умножать грех, горе и скорби. Это был бы ответ злом на зло. Совершенно другое дело – стоять за Отчизну, государство, за народ. Здесь даже чернец может прервать свой молитвенный подвиг и взять в руки оружие.

До рассвета индивидуализма и осознания того, что человек настолько уникален, что никому ничего не должен, мировоззрение людей было структурировано, в том числе, противопоставлением «часть – целое». С ней была связана другая мировоззренческая оппозиция: «брань, война – мир».

Здесь все просто: состояние части – греховное. Часть стремится к преодолению своей греховности, оторванности и соединению с целым, через которое она приближается к Богу. Сейчас крайне сложно многим объяснить, что состояние части – даже не бессмысленно, пустотно, оно порочно, губительно.

Воинское сражение – битва за целое, за сохранение единства. Проигрыш в битве – наказание за прегрешения, за рознь. Все помнили битву на Калке.

Война начинается с Божьего пощущения, ее причина – грехи человеческие и дьявольские козни (например, эта формула приводится в «Сказании о Мамаевом побоище»). Дьявол «радуется злему убийству,

и кровопролитью, подвизая свары и зависти, братоненавиденье, клеветы» – говорится в «Слове о шестивии иноплеменных» из «Повести временных лет». Согрешившие земли Бог казнит смертью, голодом, либо «наведением поганых».

Поэтому битва – святое дело, она аналогична брани православного подвижника. Это избавление от греховного состояния, ратоборство с грехами и искушениями. Недаром популярен сюжет отправки воинов-монахов Сергием Радонежским на Куликово поле. Суворов вел практически монашеский образ жизни, а некоторые полководцы от Александра Невского, Дмитрия Донского до Федора Ушакова были канонизированы. Восприятие многих героев Великой Отечественной войны, которая была названа «священной», придало многим из них черты святости.

Все они вели брань еще и в мистическом измерении, где шла битва добра и зла. В своей книге «Взвод» Захар Прилепин приводит эпизод, где казак говорит Денису Давыдову: «стражение Рылееве святое дело, ругаться в нём – всё то же, что в церкви: Бог накажет!» Параллель с церковью очень важна. Это не фигура речи, не условность, и именно живое традиционное мировосприятие. Воин, как и молитвенник, совершает движение внутрь храма от сцен Страшного суда в притворе до алтаря. Не случайно победа сравнивается с алтарем и есть выражение «алтарь победы».

Победа достигается благодаря тому, что Бог помиловал и не отдал в руки врага, а воинская общность не поддалась соблазнам разъединения, сохранила строй, общность, не покинула поле боя. Проигрыш происходит в силу распри, раздора. Как раз такая «распря великая» описывается в «Повести о шестивии Тохтамыша». При приближении вражьего войска в Москве произошло «замешательство великое и сильное волнение. Были люди в смятении, подобно овцам, не имеющим пастуха, горожане пришли в волнение и неистовствовали, словно пьяные».

Нашествие врага попускается за грехи. Это испытание крепости. Раздор в этом испытании умножает грех, целое разбивается в осколки частей, тогда «роду христианскому» выпадают беды.

Те же святые страстотерпцы Борис и Глеб показали образец стойкости, провели победно свою брань с искушениями умножения розни, с дьявольскими кознями братоненавистничества. Они, не обнажив меча, воспринимаются за прославленных полководцев, к которым обращена молитва автора сказания: «прибегаем к вам, и, припадая со слезами, молимся, да не окажемся мы под пятой вражеской, и рука нечестивых да не погубит нас», «избавьте нас от неприятельского меча и межусобных раздоров, и от всякой беды и нападения защитите нас, на вас уповающих».

Книжник – это практически агиограф, описывающий и восхваляющий святое дело и оплакивающий греховное. Автор «Задонщины» вспоминает Бояна, который «перебирая быстрыми своими перстами живые струны, пел русским князьям славы».

Отечественная литература вышла из церковной кафедры, первые книжники – духовные лица. Подвижник тот же воин, только сражающийся в духовной плоскости. Однако в случае необходимости его брань может быть переведена и на реальное поле битвы. Также и воины становились святыми. Первый из таких Лонгин Сотник, пронзивший копьем Христа на кресте.

В традиции древнерусской святости такие родоначальники отечественного монашества как Феодосий Печерский, Сергий Радонежский были близки и к власти и принимали участие в политической жизни,

потому как ратовали не только за небесное, но и за земное Отечество. Можно вспомнить и грозного и бескомпромиссного Иосифа Волоцкого, социальный, патриотический аспект его деятельности. Своей установкой не столько личного спасения, а действенной защиты общности, Церкви, государства, он взял верх над приматом аскетической уединенности заволжских старцев.

Триада: духовное лицо, воин, книжник является структурообразующей для русской культуры как вера, победа и просвещение. Например, об этом говорит и Сергей Шаргунов в своей биографии Валентина Катаева. В родословной своего героя Шаргунов отмечает типично русское сочетание: священство по отцовской линии и воинство по материнской. В книге приводится воспоминание Валентина Катаева о том, что в детстве он с двоюродным братом «надевали на шею кресты предков, воображая себя героями священниками, идущими в бой вместе со славным русским воинством». Очень важное ощущение того, что священник и воин – это, по сути, одно.

Последователь Бояна из «Задонщины» прославляет битву беспощадную, сечь, наводящую на врага «тоску». Призывая князей на битву, князь Дмитрий Иванович говорит: «Испытаем храбрецов своих и реку Дон кровью наполним за землю Русскую и за веру христианскую!» Обещание это он свое выполняет и в финале представляется страшная и горестная картина: «лежат трупы христианские словно сенные стога у Дона великого на берегу, а Дон-река три дня кровью текла».

Согласитесь, это ведь не пропаганда жестокости и «войнобесия», а нечто другое. Изображение многотрудного и страшного дела, подвига. Книжник ощущает себя одновременно воином и подвижником, ведущим непримиримую и жесточайшую брань не только с реальным врагом, но и с метафизическим inferнальным. В Древней Руси автор, как правило, был имперсональным, анонимным. Он пел общность, полк. Текущее событие вписывал в строй вечности истории, где Бог с сатаной борется.

Такова традиция. И об этой очевидной традиции Захар Прилепин напомнил, говоря о блестящих представителях русского Золотого века в своей книге «Взвод».

Так уж получилось, что в нашем восприятии традиции воинства, подвижничества были отделены от литературы, которой навязали клише «гуманистического пафоса». Поэтому мало кто знает, например, об армейской службе Гавриила Державина, о которой даже Ходасевич в своей знаменитой биографии лишь бегло обмолвился. Неведомы и ратные дела Петра Чаадаева, которого воспринимают лишь за обличителя вековой российской отсталости.

Или взять, к примеру, русского философа и энциклопедически образованного человека Алексея Хомякова. У него с героями книги Прилепина общая судьба (разговор о нем будет вестись во втором томе прилепинского «Взвода»). Типичная, традиционная. В 17 лет Хомяков сбежал из дома, чтобы освободить Грецию. Тогда Россия на самом деле себя мыслила оплотом православного и славянского мира. Этим ощущением многие были пропитаны с детства. Отсюда и хомяковское переживание России как центра.

Потом было физико-математическое отделение Московского университета. Военная служба в кавалерийском полку, где он также проявил себя с положительной стороны и выказал свои спартанские качества. Через несколько лет уходит в отставку, ездит по европейским странам. В 21 год пишет трагедию «Ермак». В ней разбойник,

покоривший для России Сибирь, словами «Теперь я русский снова!» преодолевает соблазн стать её царём. А ведь выбор не просто тщеславный иску́с, выбирать приходится между царским венцом Сибири и смертью. Как ни странно, Ермак Тимофеевич не выстраивает себе моральное алиби, рассуждая о том, что в Москве сидит царь Иоанн, который вполне может предать его лютой смерти, соответственно, ему всё дозволено. Ермак у Хомякова говорит: «И я за то России должен мстить, / Что небо ей послало Иоанна?» Этот вопрос и выбор хомяковского Ермака крайне актуален и сейчас. Так получилось, что многие хватаются за алиби: в Москве – несправедная власть. Это развязывает руки и даёт право мстить России, при том, что вопрос о выборе между жизнью и смертью не стоит, не то, что у Ермака. Эта тема для страны давняя. Между тем, за спиной хомяковского «Ермака» стоят все те же святые братья Борис и Глеб.

Человек, написавший такую трагедию, по логике вещей должен отправиться на войну. Хомяков идёт на русско-турецкую, где показывает свою удаль в гусарском полку.

Наверное, причин тому, что произошло расщепление и выделение литератора из триады, масса. Есть вина идеологической предзаданности советского литературоведения, которое не заостряло внимания на подвигах царизма. Традиционно это было не свойственно и для прогрессивной общественности. Возможно, причина и в том, что войн в 19 веке было столько, что воевать для мужчины – обычное дело, как в наши дни всеобщая воинская повинность. Что о них писать – слишком обыденно...

В качестве причин того, что тема воинской службы, служения Отечеству постепенно оттеснена на периферию как низкий штиль, Прилепин выделяет декаданс Серебряного века, напускной пафос и перья шестидесятников: «Это же дети Серебряного века – кто-то придумал уже тогда, что преклоняться пред империей и воспевать Отечество, тем более его военные победы, – моветон; на впавших в “патриотический раж” тогда смотрели в лорнет, свысока...»

Сейчас в качестве аксиомы представляют логику: воевать – это плохо, поэтому тот же Ленинград можно было бы и сдать, чтобы избежать огромных жертв. Эту мысль и подобные периодически пробрасывают, чтобы общество к ним привыкало. Если попытаться утверждать иное, то это будет спекуляцией и пропагандой, потасовкой фактов. Так и автору «Взвода» сразу кинули в лицо, будто книгой он оправдывает свою донбасскую деятельность, да и вообще лучше не обсуждать весь этот вздор, а проверить его заявление о вступлении в армию ДНР на соответствие Уголовному кодексу...

«Упорные в своем невежестве люди», о которых писал герой прилепинской книги Денис Давыдов, настаивают на гуманистическом пафосе везде и во всем. Видимо, традиции написания школьных сочинений сильно запечатлелись у них в сознании. Традиции индивидуализма, разросшиеся со времен Серебряного века. Главная угроза для них – патриотизм, государственничество, отечественный культурный код, где индивидуализм безусловно греховное, калечное состояние.

Еще в сборнике «Не чужая смута» Захар Прилепин писал об афере, равносильной приватизации. Ее провернули с отечественной литературой и все перевернули с ног на голову: стали утверждать противоположное тому, о чем говорили классики, которые «в дни роковые последовательно принимали сторону своей дикой страны». Автор настаивает на том, что классика переформатирована и внушено ложное

представление о ней. С этой ложью он и попытался бороться в своей книге, причем довольно удачно и убедительно.

Прилепин неоднократно заявлял, что его «Взвод» – своеобразный ответ Николаю Сванидзе, который как-то заметил, что Захар слишком увлечен войной и что подобное было вовсе не в чести у русских писателей. Но как же очевидное, как же многочисленные примеры, биографии, как же тысячелетняя отечественная традиция? Все это можно игнорировать, все это должно перерядиться в наряды, которые бы удовлетворили Николая Сванидзе и прочих прогрессивно мыслящих людей?..

«На огромное число текстов классической русской литературы надо срочно писать ремейки, потому что в новом, прекрасном мире она выглядит ужасно со всем своим “милитаризмом”, “мракобесием” и “шовинизмом”» – писал Захар Прилепин в том же сборнике «Не чужая смута».

Там же он обличает современное поэтическое «безъяйцовое» поколение: «средний пол, печальные верлибристы, тусня». Приводит совершенно другие примеры из Серебряного века: Блок, Гумилев, Павел Васильев, Маяковский. При этом отмечает, что «русский поэт не может быть просто хорошим парнем». Во «Взводе» раскрывает биографии одиннадцати поэтов Золотого века. Но так получилось, что сейчас, даже по сравнению с Серебряным веком, совершенно другой поэтический тренд с «комом жеваной бумаги» в горле. Единственный кто противостоит ему – Борис Рыжий, но и он безвременно ушел. Сейчас остались поэты с «проблемой заусенца».

Стал навязываться образ литератора, описанного в прилепинском рассказе «Карлсон».

«Лириком-людоедом» назвал героя рассказа Захара его приятель Алеша. Этот приятель пять лет писал свой роман под названием «Морж и плотник», в нем герой – альтер эго автора «страдал от глупости мира».

Алеша был далек от победительности. Отвечая на вопрос о Хемингуэе, он изрек: «Быстро устаешь от его героя, навязчиво сильного парня. Пивная стойка, боксерская стойка. Тигры, быки. Тигриные повадки, бычьи яйца...» В таком же стиле высказался и про Гайто Газданова, что его герой «озабоченный исключительно своим мужеством». Набокова он охарактеризовал: «Спортивным снобом, презирающим всех». По его мнению, с таким же презрением ко всем относится и Захар. При этом сам Алексей не навещал своего отца-инвалида. Вот и получается, что заикленность на себе и презрение к людям, скорее черта человека, боящегося живой жизни и страдающего от его глупости и несправедливости. Алеша – мальчик из своей любимой сказки «Карлсон», пишущий бесконечный и изначально обреченный роман.

Заикленность на себе и презрение к людям... Черта совершенно не свойственная и даже дикая в рамках традиционной отечественной культуры, о чувстве сопричастности с которой постоянно говорит Прилепин. К ее величию, а не к собранию «слезливых гуманистов, истериков и “общечеловеческих” невротиков», а также разномастных «кривляк».

Всем им, по словам Захар Прилепина, преподавал урок еще Державин, который «мог ревностно, упрямо, последовательно служить не только Родине, но и государству, которые досужие мыслители новых времён так полюбили разделять (покажите место надреза! а то всё кажется, что пилят по живому телу), – и остаться при этом великим поэтом».

В одном из интервью Захар Прилепин говорит, что «поэтами и писателями Золотого века были сумрачные ребята, которые в любой момент садились на лошадку, брали пику и ехали воевать куда угодно:

на восток и на запад, на север и на юг. Ехали, воевали, об этом писали, не видели никаких причин по этому поводу рефлексировать и каяться».

Все это не отменяет и своей личной позиции, собственного взгляда. Критичность не становится манией, не затмевает долга служения Родине: «ни ощущения Вяземского, связанные с “окровавленной” Россией, ни пушкинские послания “во глубине сибирских руд” никак не мешали им участвовать в милитаристских затеях государства».

Мы уже писали о позиции хомяковского Ермака, а вот что пишет Прилепин о Вяземском и Пушкине: «Как всё-таки близки в России совсем разнородные вещи! Поэты – известнейшие, наиталантливейшие – неистово сердятся на государство, что оно лишает их права воевать; ну, по крайней мере, служить при штабе. Тут же ломают себе щепё, в том числе в память о третьем поэте – умерщвлённом Рылееве, который, будь жив, тоже наверняка с ними захотел бы отправиться: он был неистовый патриот, как и большинство декабристов. Как всё это удивительно...»

Они чувствовали свой долг перед Отечеством, верой, русской цивилизацией. Таков был их инстинкт жизни, который естественным образом вписывался в тысячелетний строй отечественной культуры.

Культуры распаханной общности, противостоящей любым энергиям распада, раздора, разъединения.

«Шла пехота народа, который веками мятежно гремел, добывая себе и другим свободу и не отрекаясь от нее ни на плахе, ни на костре. Шли праправнуки Степана Разина и Пугачева, шли потомки декабристов, шли братья Коммуны, шли люди, которые в огромной истории своей пережили и поражения, для того чтобы больше их не знать. Шел здоровый народ, народ-страстотерпец, народ-победитель, великий и гениальный» – это уже строки из произведения Всеволода Вишневского «Мы, русский народ». В них стиль и почерк древнерусских книжников, воинов и подвижников, их живое дыхание. Этот инстинкт всегда неизбытен, он характерен для книжников Древней Руси, писателей отечественного Золотого века, советского периода. Проявляется он и сейчас, о нем во всеуслышание заявляет Захар Прилепин.

В этой связи важен и вопрос героев. Сейчас в силу торжествующих буржуазных реалий обществу навязываются весьма сомнительные персонажи. Не будем тут трогать императора Николая Второго, но, к примеру, Колчак, Маннергейм или Мария Бочкарева, про которую был снят фильм «Батальон»... Зачем выстраивать исторические качели, когда есть всамделишные герои, которые, если хотите, могли бы объединить общество. Захар Прилепин о некоторых из них рассказал в первом томе своего исследования. Берите Дениса Давыдова, Чаадаева, Раевского, Бестужева-Марлинского. Вот о ком нужно писать книги, снимать фильмы, максимально пропагандировать их отношение к таким понятиям как долг, Отчизна. Для них огромная Россия становилась сконцентрированным «скупенным селением», где живут ближние, родня.

Еще одно из важнейших посланий прилепинского «Взвода»: неверие власти в свой народ. Из-за этого и возникают многие проблемы и исторические катаклизмы. Необходимо понять и осознать аксиому: у России один союзник – ее народ.

«Равнение на солнце. Время оставить Бронзовый век и возвращаться в Золотой» – этими словами Прилепин завершает свою книгу и открывает неразрывную культурную связь отечественной цивилизации.

ПОПЫТКА ДЕСАКРАЛИЗАЦИИ БАХТИНА

О книге Коровашко А. Михаил Бахтин. М.: Молодая гвардия, 2017

Михаил Бахтин – культовая фигура филологии. Настолько, что открывать его книги и разбираться в тонкостях мыслительных построений вовсе не обязательно. Достаточно жонглировать терминами, давно обретшими магическое значение. «Карнавал», «полифония», «диалог», «хронотоп»... Плюс для верности можно заучить пару универсальных цитат и произносить их при любом случае, как в свое время поступали с классиками марксизма-ленинизма. Сложился даже особый бахтинский культ, с которым, в первую очередь, и борется Алексей Коровашко.

Коровашко – нижегородский филолог, автор монографии «Заговоры и заклинания в русской литературе XIX–XX веков». В его багаже есть книга «По следам Дерсу Узала. Тропами Уссурийского края». В настоящее время он совместно с Василием Авченко работает над книгой о писателе Олеге Куваеве, интерес к которому всколыхнулся после экранизации его «Территории».

Бахтинская биография – это скорее попытка критики «сакрального статуса Бахтина», который установили в последний период его жизни последователи-апостолы и последующие почитатели. «Близкие Бахтину люди канонизировали его для себя частным порядком, но со всей возможной серьезностью», – пишет биограф. Само собой, сравнение его с Пасхой, «человеком завета», со святыми может раздражать и вызывать протест, как от чрезмерно елейного и приторного. Да и сам Бахтин, по словам Коровашко, «не строил никаких планов по собственному обожествлению».

В интервью газете «Культура» Алексей Коровашко сравнивает бахтинское наследие с автозаправочной станцией. Его тексты «сейчас являются не столько универсальной “отмычкой”, с которой можно подойти к любому произведению мировой литературы, сколько надежным источником творческой энергии, питающей “машину” филологической мысли». Об этом источнике творческой энергии во многом и говорит автор, подробно и с филологической дотошностью разбирая бахтинские труды. Все для того, чтобы вычленил секрет его «философского камня». Но как вычленил золото, когда поле для критики преогромное?..

Говоря о бахтинской работе «Автор и герой в эстетической деятельности», биограф замечает, что мы «наблюдаем почти арабскую вязь произвольно созданных понятий и сплошную череду побед интуитивного над дискурсивным». По его словам, этот «трактат Бахтина занимает промежуточное положение между черновиком, конспектом и беловиком». Бахтин превращается в Сусанина, когда речь в книге заходит о его монографии, посвященной той самой карнавальной культуре и гротеску: «Учитывая, что и первая линза самопального бахтинского прибора,

как минимум, изрядно кривовата, изготовленная с его помощью концепция гротеска начинает теряться в каком-то странном иллюзорном мареве, заставляя читателей “Творчества Франсуа Рабле...” бродить среди квазинаучных фантомов и призраков». Секрет популярности бахтинской книги о Рабле Коровашко видит в том, что она является «универсальным всеобъясняющим конструктом, который легко опровергнуть, но очень увлекательно применять». И в этом плане Бахтин сравнивается с Фрейдом и Львом Гумилевым вкупе с его пассионарностью.

Или вот о «Проблемах творчества Достоевского»: «эту книгу нельзя отождествлять со Священным Писанием, каждая буква которого должна вызывать немое восхищение. Относиться к ней нужно так, как относятся к обычному литературоведческому труду, имеющему свои достоинства и свои недостатки. Было бы чрезвычайно полезно принимать исследование Бахтина “внутри” не в виде отдельного филологического блюда, способного полностью захватить сознание доверчивого читателя, а вместе с противоядием, изготовленным, например, тем же Комаровичем. Его вкусовые качества при такой “сервировке” только улучшатся».

Алексей Коровашко уже во введении говорит о том, что «пик развития “индустрии Бахтина” уже пройден, и она переживает “кризис перепроизводства”». Поэтому следует преодолеть инерцию кумиропочитания и трезво взглянуть на наследие известного на весь мир мордовского преподавателя, а там уж, гляди, засветит обновленный «необахтинизм». Все дело в сервировке.

По версии Коровашко, жизнь Бахтина «больше напоминает мифологический роман об умирающем и воскресающем “божестве”». На долгие годы Бахтин был чуть не вычеркнут из мира живых, воспринимался за давно почившего автора исследования о Достоевском. Возможно, так бы и произошло, если бы он попал на Соловки, но вместо них вместе с ссылкой он получил другой вариант судьбы и «воскрес» со своими трудами в 60-е. Это своеобразное «помилование» роднит его с Достоевским.

Отметим, что биография у Коровашко из-за описанных причин получилась далеко не исчерпывающая. Скорее, это диалогический спор с традицией сакрализации Бахтина и его наследия, с «официальной бахтинской агиографией», которая ваяла его житие. И в этом автор несколько увлекся, впал в инерцию подобного подхода и через это много упустил.

Вот, к примеру, упоминание Константина Федина, который в 60-е стал крупным литфункционером и благодаря стараниям Вадима Кожина помог пробить публикацию монографии о Достоевском. Вскользь упоминается ленинградское знакомство Федина и Бахтина. А ведь за много лет до этого сам Бахтин в сложный период звонил Федину, но тот ответил, что «ошиблись номером». Или не было этого звонка, одно мифотворчество? Вся эта история имеет большой интригующий потенциал, почему бы ее не раскрыть? Но это только один пример возможностей сделать биографию увлекательней, пустить в нее россыпь загадок.

Как герой переживал бури времени? Великая война, развенчание культа личности, полет в космос, мог ли стать диссидентом и знал ли что-то о Солженицыне, как отреагировал на Нобелевку Пастернаку, почему не состоялось знакомство с ним, притом что их хотели представить друг другу. Интересовался ли вообще современной литературой. Или домыслы о своеобразном шефстве Юрия Андропова над ученым.

Было ли что-то подобное? Как сочеталась страсть к филологии с бухгалтерской закваской?

Коровашко не упустил интригующего в биографии героя. Так, он обстоятельно затрагивает тему «виртуальных “корочек” вузовского диплома» и как без этих самых корочек удалось «бездипломному мыслителю» остепениться. Разбирает автобиографическое мифотворчество самого Бахтина, который подозревается в том, что запустил «конвейер по производству анкетных фантомов».

«Обучение Бахтина в Одесском и Санкт-Петербургском (Петроградском) университетах является чистой воды легендой, которую, подобно Карфагену, необходимо разрушить», – пишет Коровашко и обещает вести речь о «самозванстве Бахтина».

Но человека оказалось меньше в книге, чем этого хотелось бы. Все-таки автор – филолог и сконцентрировался на научном наследии. За пределами исследования и «секрет личности Бахтина», о чем в свое время сокрушался еще Сергей Аверинцев. Книга оставляет большой простор для дальнейшего разговора об ученом.

«Он, наш общий учитель, никому не оставил возможности быть его “последователем” в тривиальном смысле слова», – писал о Бахтине Аверинцев. Но при этом большое количество многомудрых и ученых мужей называют Бахтина учителем. Наверное, не потому, что его работы не подлежат критике и к ним вообще не придраться. Не потому, что от них можно вдоволь зарядиться мыслительной энергией. Они – большое поле для диспута, о чем и пишет Алексей Коровашко. Возможно, Бахтин, которого многие воспринимали за давно умершего или сгинувшего, стал образом возвращения дореволюционной России, а потом Серебряного века, симфоническим мостиком, связывающим настоящее с прошлым.

Написав этот текст, я открыл наугад книгу Виктора Шкловского «Энергия заблуждения» (в своей биографии Коровашко периодически обращается к нему) и наткнулся на высказывание о Бахтине: «Уважаю Бахтина, который сказал, что этот великий писатель (Достоевский. – *А.Р.*) с многими голосами, которые как будто оспаривают друг друга, по-своему понимают свое. Но спор героев друг с другом, взаимное непонимание героев – это простейшее и древнейшее свойство искусства». Быть может, в этом и заключается бахтинский феномен: сказать не о ранее неведомом, не силиться открыть непознанное, а высказаться об универсальном, казалось бы, очевидном, которое до него все игнорировали. Сказать просто и доходчиво, но так, что мысль занозой вопьется в сознание многих.

Главное значение Бахтина – в попытке смены мировоззрения, в приближении гуманитарного знания к «эйнштейновскому миру с его множественностью систем отсчета», в призыве «отрешиться от монологических навыков». Это уже из его книги о Достоевском.

Все тот же Аверинцев писал: «Выходя из согласия с Бахтиным, его не потеряешь; выходя из диалогической ситуации – потеряешь». Он стал образом открытой филологии, доступной и понятной учености. Образом диалога. Вот и Алексей Коровашко вышел из согласия с ним, чтобы обрести нового несакрализованного Бахтина.

Елена КРЮКОВА

Родилась в Самаре. Окончила Московскую государственную консерваторию (фортепиано, орган) и Литературный институт им. Горького.

Поэт, прозаик. Публикуется в литературно-художественных журналах. Автор книг стихов и прозы. Лауреат премии им. М. И. Цветаевой, Кубка мира по русской поэзии, премий журнала «Нева» за лучший роман года («Врата смерти», 2012), им. Горького («Серафим», 2014), им. И. Гончарова («Беллона», 2015), Международной литературной премии имени А. Куприна (фрагмент романа «Солдат и Царь», 2016).

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

РАЗГОВОР С ЖИЗНЬЮ

О сборнике стихотворений Олега Рябова «Сад осенью».
Нижний Новгород: «Книги», 2017

...Перелистать нашу жизнь.

Сколько страниц!

...а может, мало, совсем мало...

И, нервно, торопливо листая, наткнуться на медные, бедные строки о смерти; но ты так любишь жизнь, без меры, бесконечно, что даже твой уход тебя не пугает – ты и за него готов поднять бокал и ему пропеть славу, возблагодарив Господа за чудо пребыть на свете и необъяснимое чудо уйти из него, из этого старого, перед зимою холодного, если крепко не натопить, деревенского дома.

Жить на свете...

И то правда: отовсюду, из всех строк и даже букв этой книги льется свет.

Речь идет о новом сборнике стихов Олега Рябова «Сад осенью».

Название многозначное: осень – время урожая; осень – время предзимья, когда, вместе с близкой зимой, земля закрывает глаза.

Удивительное это дело – поэзия. Это никоим образом не версификация. В стихах мне всегда неважно, искусно поэт рифмует или безыскусно, стремится он к дерзким новшествам или довольствуется ржаным хлебом традиции. Важно всегда то, чего он этим своим искусством, умением (и возможностью!) складывать слова в столбик, достигает.

А Олег Рябов в этой книге достигает многого. Такого, перед чем хочется помолчать, ибо любые красочные словеса и похвалы тут бессильны и даже никчемны:

А на просторе, за деревнею,
Я окунулся в волчий холод:

Здесь – озимь в инее сиреневом,
Там – чувства за глухой щеколдой.

Ну вот – и я среди отверженных,
Хватай свободу сердцем раненым.
Но почему-то я, как прежде,
Не рад, и это очень странно.

Что же явилось материей для этой маленькой книги стихов, почти что песен и почти что молитв, из чего автор, с задыханьем и горечи, и счастья, настолько подлинным, что пугаешься этой настоящести – так мы от нее отвыкли, сидя за частоколом искусного (и даже блестящего!) литературного притворства, слепил эту цельную скульптуру, срубил этот дом – прочный, деревянный и теплый, в котором можно и жить, и мечтать, и любить, и работать, и плакать?

А темы-то стихотворений – вот они, всегдашние, вечные. Природа. Времена года. Ушедшая юность. Урожай. Беда. Жизнь. Смерть. Вечная любовь. Разве этого так мало для подлинного поэта?

Я Родину, как рощу, прохожу:
Напоперёк, побосиком, навстречу
Унылому пастушьему рожку,
Так манит он – легко, по-человечьи.

...

Без Родины мой дар и глух, и слеп,
А я могу – острее клюва цапли...
И жжет крапивою, и мучает во сне,
Когда за шиворот стекает боль по капле.

Прочитированные стихи – кстати, из последнего раздела книги, который назван «Тетрадь Бори Иванова» (из романа «Убегая, оглянись»). Здесь мы тоже наблюдаем легчайшую тень русской литературной традиции – стихи в романе, внутри прозы, чтобы ярче высветить сердце героя, чтобы под линзой рифм разглядеть тайны его мысли и таинства его любви. Но эта «Тетрадь...» в книге Рябова – еще одно доказательство не боязни, смелости художника, который, проходя сквозь всепожирающее время, заходит, забегает чуть впереди него – и открыто и счастливо глядит ему в лицо.

Будь понежней, погладь меня,
Мне многого не надо.
Уже плывёт моя ладья
Вперёд, до небограда.

Уже я слышу, как трубят
Мне ангелы в предгорьях.
Уже предутренный туман
Мне говорит о скором

Прощанье. Дай мне поцелуй
И подсласти отчаянье,
Отчаянному пацану –
Свой поцелуй случайный.

Жизнь и женщина начинаются с одной буквы. Это звучащее и смысловое родство, возможно, видели уже многие, говорящие на русском языке. Здесь идет прямая ассоциация, проводится прямая эта параллель: герой тихо говорит с любимой, а на самом деле он разговаривает с жизнью. Так просто! И так пронзительно.

Книжечка, такая маленькая... Размером с сердце.

И бьется она в руках, как сердце под рукой.

И пульсирует, бьется огонь за стеклами окон, в густой и глухой ночи – идет человек по ночному городу, заглядывает в светящиеся окна, как то делали сотни, тысячи людей до него. «Вот опять окно, где опять не спят...» – да, напрашивается эта классическая параллель. Но Рябов, что парадоксально, сам родившийся в эпоху Цветаевой и Пастернака и, разумеется, начитанный ими до макушки (как все мы в свое время), поет абсолютно своим голосом на эту бессмертную тему, выводит совершенно свою (чудесно несовершенную – и оттого еще более горькую и сладкую, предельно живую!) мелодию:

Молюсь на окна, что горят в ночи –
Горят в гнилушках жизни светлячки

Мерцают в сонном царстве городском:
Там те, кто болен, – им не нужен сон.

Там пишут пьесу, исповедь, роман,
Там пьют тоской наполненный стакан,

Там колыбель устало тешит мать,
А может, там любовь – чего гадать?

Молюсь на окна и считаю их,
Ночных друзей, товарищей моих.

* * *

Ключевой образ, мегаобраз книги, уложенный в точную формулу ее названия, должен оправдать ее контрасты и парадоксы и показать ее эстетику во всей красе. Сад осенью – с самого первого стихотворения сад этот перед нами, и стучат яблоки, падая на холодную землю, замерзает вода в садовой бочке, «...кураца пёстрая лапою цепкой / Что-то там ищет устало...». Картина осеннего умирания природы написана точно и четко, скупыми графическими штрихами. И двое, что появляются ближе к финалу стихотворенья, вписываются в ее фигуратив вполне: честно и печально. Да ведь какая здесь разлука-то? Сначала глаз цепко хватает, а ум догадывается: любовная! А потом сердце устало и просветленно понимает: да нет, это все – о жизни и смерти.

...Что же так холодно? Вскопаны гряды.
Куча ботвы у забора.
Что ж мы с тобою сегодня не рады?
Грустные провода, сборы.

Низкое небо сулит скорый дождь –
Как бы разлуки не вышло.
Руку свою ты в ладонь мне кладёшь,
Словно сырую ледышку.

Но наивным было бы думать, что эти стихи Олега Рябова – такое скорбное *memento mori*. Скорее уж это *memento vitae*. Да еще так страстно художник Рябов о жизни помнит, что память эта становится ежечасной и ежесекундной любовью, признанием в любви ко всему сущему, к красоте, печали, скорби и праздникам милой жизни, плоть от плоти которой мы все и есть:

...Как челюсть, обожжённая на солнце,
Старинной крепости зубчатая стена
Ждёт возвращения генуэзцев и веронцев,
Чтобы восстать от векового сна.

Ни годы-грызуны, ни исполины-века
Не справятся с надеждой и мечтой.
Мечта! Пускай она неисполнима,
Она заманчива за гранью и чертой.

И все же опять и опять всплывает эта мелодия, этот лейтмотив – тема осеннего сада, светлой, холодной и ознобной осени, на которую в книге так много светло-изящных или темно-трагических вариаций. И вот она, русская деревня, которую так настойчиво губили – и не сгубили, и пережила она и раскрестьянивание, и разрушения, и затопления, и голодуху («мор, глад и землетрясения по местам...»), сказано в Писании), – и художник зорко видит ее, нынешнюю, и пишет, старается спокойно, а получается опять пронзительно и грустно:

Здесь каждый дом – свой век, своя судьба,
Упрёк в безликости бетонным новостройкам,
И тонкая наличников резьба
Подобна лучшим стихотворным строкам.

Идёт пацан, коза на поводу,
В руке дубец, и он козу ругает
Так нежно, что захватывает дух.
И это – жизнь, хотя она другая.

...И это печаль, все равно смешанная с радостью.

От радости Олег Рябов не убежит никуда; праздник, который всегда с ним, это и есть его слово, его стихи. Его стихия.

Другая жизнь! И здесь тоже загадка. Горожанам ее можно разгадать далеко не всегда. Но Олег Рябов – поэт, он знает и любит землю, свою родную землю, и то, что он любит, он любит накрепко – не только душой, но густо и плотно звучащим, плывущим музыкой и ледоходной рекой, многозначным, многопластовым словом. И вдруг, напоследок, слово это теряет вес и обретает крылья, и, оказывается, проста его вечная загадка: надо просто идти вперед, лететь вперед, и совместимы, как улыбка и слезы, ангельские крылья и прямой и смелый человеческий взгляд.

По талому снегу, по первой воде
Пойду я к своей путеводной звезде...

Кирилл КОЗЛОВ

Родился в 1984 году в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств по специальности «искусствоведение».

Историк искусства, поэт, публицист. Руководитель благотворительного проекта «Диалоги литературных поколений». Лауреат независимой литературной премии им. Бориса Корнилова «На встречу дня!»

Член Союза писателей России. Живет в Санкт-Петербурге.

«ПОД ЗОЛОТОЙ ОБИТЕЛЬЮ НЕБЕС...»

О книге Андрея Шацкого «Первозимье». М.: Вест-Консалтинг, 2017

Начать отчего-то хочется с фразы, которая сильно напомнит акции по привлечению народонаселения к тем или иным проблемам. Каждый день в России выходит энное количество поэтических сборников (книг, антологий и др.)...

Боюсь даже предположить, сколько, чтоб не сокрушаться по поводу собственных скромных возможностей и наличия в сутках всего-навсего двадцати четырех часов. Чем больше выходит, тем лучше, поскольку закон перехода количества в качество никто не отменял. К тому же бумажная промышленность у нас работает прекрасно, как выразилась героиня Алисы Фрейндлих в известной советской кинокомедии. К тому же можно всячески пропиарить дорогое сердцу детище в Интернете, наивно радуясь каждой похвале и репосту. Других «к тому же» наберется ещё десять-двадцать...

Но теперь необходимо уточнить: у каждой выходящей в России книги стихотворений есть индивидуальный коэффициент полезного действия. И чем выше он окажется, тем больше пользы принесут сочинения для духовно-нравственного развития читателя. Каждый сборник известного российского поэта Андрея Шацкого можно отнести к жизненно необходимым для приобретения, поскольку обращаться к нему вы будете, смею предположить, регулярно и с неувядающим интересом.

Что ж, подобные предположения требуют весомых аргументов, хотя написание данного эссе вовсе не предполагало (и не могло предполагать) банального прославления и без того титулованного, не обделенного вниманием Шацкого. Речь идёт о проникновении в текст, в его магию, посему для затравки об авторе скажет нам человек, размышляющий о поэтах всю сознательную жизнь. Это литературовед Лев Ан-

нинский: «В поколении послевоенных мальчиков, которым довелось надеть красные галстуки и тотчас попасть в лавину анекдотов о героях революции, а потом дышать воздухом неверных оттепелей и мучительно искать своё место в позднесоветской реальности, готовясь сбежать хоть в сторожа и дворники от конвульсий накренившейся системы, — в этом поколении Андрей Шацков чуть не единственный сразу и прочно нащупал путь. Родившийся в последний год сталинской эпохи, выросший в перепаханном войной Подмосковье, он расслышал магическую музыку в самом имени своей малой Родины, в административном имени района – Рузский. И музыке не изменил».

Итак, точка отсчёта – Москва златоглавая. Вернее – Подмосковье, названная малой Родиной Руза. Отсюда начинаются поиски всего *русского* со свойственной молодости творческой ненасытностью. Хочется проникнуть в тайны, надышаться воздухом свободы, одолеть врагов, которые ещё не повержены и нахально грозят славянам. Шацков – на коне, в образе доблестного воина, защитника Отечества. Таким его увидел первый наставник Валентин Берестов и благословил на тяжелейший путь сохранения национальной веры.

Обретение поэзии происходит довольно рано, с радостью, гордостью, упоением. С полной уверенностью в том, что сил предостаточно и в прошлое сгонять (ордынцев порубить), и в настоящем покутить-повеселиться, и будущее достойно выстроить. А затем появляется – нет, не разочарование! – осознание вполне себе земного, противоречивого, *человеческого* пути, где не только сказочный Соловей-Разбойник бродит, а благообразные товарищи пострашнее. Ощущение леденящего страха, что не получится ровным счётом ничего – вот здесь поэзия начинает мешать, а исключить из уравнения, избавиться от неё никоим образом невозможно. Чем всё это закончилось, нам уже сказал Лев Аннинский. Шацков выстрадал, выстоял, поэзии не изменил.

Вот почему я позволил себе рекомендовать «Первозимье» уважаемому читателю. При заявленном возвращении во времена Куликовской битвы, способном обескуражить любого современника, нет, поверьте, более жизненной и более глубокой книги о каждом из нас. Поэтом явлена *реснота* – истина по-древнерусски. Это отнюдь не формальное желание в очередной раз систематизировать в стихах церковно-славянскую информацию. Не романтическое самолюбование с примесью столичного снобизма. Это – «вспыхнут разом тысячи свечей», прольются реки крови, прозвонят сотни колоколов в память о невернувшихся и во здравие живущих. Это – настоящая вселенская симфония, созданная Андреем Шацковым, кавалером ордена Преподобного Сергия Радонежского...

«Первозимье» имеет определенную автором структуру. Первый раздел носит название «Усталые снега»; далее – поиск *ресноты* и она самая, обнаруженная почти под занавес. А что же в конце? Раздел «Реквием» – посвящения ушедшим родным людям, осмысление их судеб, сбывшихся и несбывшихся надежд. Поэту не требовалось специально выдумывать возвращение к «снежной теме», поскольку в одном из стихотворений памяти поэта Владимира Фирсова (1937–2011) уже прозвучало страшное: «И чёрные идут, идет снега. / А белые — не выпросить у Бога!» Оставалось собрать силы воедино для того, чтобы продирижировать реквием, а сделать это было нечеловечески трудно. Прошедший високосный год отнял у поэта старшего сына Дмитрия. Трагедия, постигшая семью, стала жестокой проверкой поэта на прочность...

Владимир Фирсов, получивший благословение Твардовского, оказал существенное влияние на Андрея Шацкого и однажды сказал так: «В последнее время слова: “Россия”, “Русь” несколько потускнели от расхожего употребления. Каждый второй автор стучит себя кулаком в грудь, декларируя любовь к Отчизне. Причем, чем меньше таланта, тем громче крики и стуки... Настоящая любовь шума не переносит. Лирический шепот может скорее достигнуть, замученных криком, ушей слушателей... Именно на переломе двух прошлых веков цвела поэзия Серебряного века, к последним осколкам которой я причисляю творчество Андрея Шацкого».

Пожалуй, нужно остановиться и прокомментировать. Во-первых, совершенно справедливо отмечено повсеместное лицемерие, попытки влезть в ряды истинных патриотов, за счёт которых, глядишь, что-то перепадет! Верно сказано про любовь, не переносящую шума. Именно поэтому блистательным, но излишне бурлескным поэтам сложно донести простейшую мысль и приходилось продолжать, как Вознесенский, конструировать почти бредовые нагромождения.

Что же касается Серебряного века, подумаем, как нам правильнее идентифицировать Шацкого. Нет ни малейших сомнений, что оттолкнулся он от есенинской первоосновы: пьянящий воздух свободы, русскость, грешная действительность и молитвенная просветленность одновременно. Второй корифей – Александр Блок. Пожалуй, нет другого поэта, которого максимально и с нескрываемым удовольствием цитирует Шацкий, прорисовывая орнамент стиха. Частенько прослеживается неприступная гордость Гумилева и восхищение эстетикой имперского офицерства, объяснимое весьма просто. Имеется родство с Рудневыми, так что память о крейсере «Варяг» у Шацкого в крови! Наконец, не нужно обладать литературоведческой проницательностью, чтоб увидеть тонкие настроения Марины Цветаевой. Подытожим: соглашаемся ли с Владимиром Ивановичем Фирсовым, назвавшим Шацкого «осколком» обозначенной эпохи? Да, вполне! Особенно если учитывать тот факт, что Шацкий – представитель поколения «послевоенных мальчиков, которым довелось надеть красные галстуки», но практически никаких признаков поэзии соцреализма в его произведениях не наблюдается.

Не побоимся вернуться к Есенину и увидеть ещё одно трогательное сходство. «Спи, мой друг, не веря Новогодью. / Жизнь прошла, остался маскарад...» – вы не ошиблись, это обращение к животному, охраняющему жилище. Спит, «настороживши ухо, / Будто, вправду, слушает меня». Расшифруем описанную ситуацию. Снег, с которого всё начиналось, коронует наступление Нового года. Снег несет волшебство всему мирозданию, но вместе с тем держит в постоянном напряжении. Единственной защитой выступает любимая собака, поскольку поэт вкусил в полной мере коварство рода человеческого. «Ты лежишь в её пустынном кресле...» А кресло-то – мамино! Вот необходимая связь и наивысшая степень доверия, барьер против предательства.

Любой известный нам вид искусства сложно представить без постоянной подпитки новыми впечатлениями. Андрей Шацкий принадлежит к категории поэтов гастролирующих и путешествующих. Это разные понятия. Гастроли (жаль, теперь безгонорарные) – в рамках возглавляемого им ежегодного литературно-просветительского проекта «День поэзии – XXI век», а путешествия – вне протокола, больше для уединения. И то и другое позволило поэту повидать множество удивительных уголков необъятной Родины. «Как много в России загадочных мест...» –

так программно начинается стихотворение, посвященное Владыке Дмитрию, митрополиту Тобольскому и Тюменскому, написанное после пребывания в тех далеких краях. Шацков всегда и везде, вспоминаем, в поисках своей *ресноты*...

Книга «Первозимье» отражает географию реальных авторских перемещений. Вот родина Есенина – село Константиново. Вот Брянщина – музей-заповедник Тютчева в Овстуге. Вот даже «Аэродромная элегия», навеянная посещением Минеральных Вод, вояжем по лермонтовским местам. Не сомневаюсь – доберется Андрей Шацков и до Нижнего Новгорода (впрочем, судя по стихотворению «В день Успенья» уже добрался), посетит областной музей прекрасного советского поэта Бориса Корнилова, ибо сделал много для сохранения памяти о нём. Но Андрей Владиславович оставляет и другие, не менее значительные метки. В некоторых его стихах звучат мотивы восстания декабристов, цепочки исторических событий до и после. Интересно вспомнить о том, что Иван Анненков (1802–1878) после ссылки в Сибири поселился в Нижнем Новгороде со своей супругой Полиной Гёбль (1800–1876). Древнерусский город стал для них местом жительства более чем на два десятилетия и последним пристанищем.

Весьма разочаровывает лишь позиционирование книги как итоговой, завершающей. Это вызвано указанной в заметке недавней потерей старшего сына. Такие раны не заживают. И не найдется слов залечить. Но истинные поэты обречены жертвовать собой, оставляя Слово, Соучастие, Свет...

Владимир ГОФМАН

Родился в 1953 году в городе Городце Горьковской области. Окончил Рыбинский авиационный техникум, историко-филологический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского и Московскую духовную семинарию. До рукоположения в сан священника работал литейщиком на производстве, журналистом. С 1993 года – священник Русской православной церкви.

Автор семи поэтических сборников, шести книг прозы и множества публицистических статей. Лауреат ряда литературных премий, за книгу рассказов «Персиковый сад» в 2012 году удостоен Диплома 3-й степени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

ТОННЕЛЬ. 1974

Очерк

Есть на восточном участке Байкало-Амурской магистрали (Хабаровский край) железнодорожный тоннель с удивительной историей. Он пронизывает Буреинский хребет (точнее, хребет Дуссе-Алинь). Длина тоннеля 1852 метров. Как сообщают источники, Дуссе-Алиньский тоннель был построен в 1939–1953 годах силами заключённых БАМлага. Проходка велась с двух сторон навстречу друг другу. Тогда в эксплуатацию он не был запущен, помешала война. Заброшенный тоннель постепенно оказался полностью заполнен льдом. С возобновлением строительства БАМа силами железнодорожных войск тоннель был освобождён от льда (частично с помощью оттаивания, частично механическим путём). 4 ноября 1982 года по Дуссе-Алиньскому тоннелю пошли поезда...

«...В октябре 1975 – феврале 1976 года силами железнодорожных войск тоннель был освобождён от льда...» А что же было до октября? Наша воинская часть разместилась на перевале Дуссе-Алинь в декабре 1974-го. Девять месяцев, однако – срок немалый.

Давно это было. Сорок с лишним лет прошло и, казалось бы, зачем вспоминать? Но вспоминается. Сегодня по нашему (!) тоннелю идут поезда из Тынды и Ургала на Комсомольск и обратно, в вагонах сидят люди, смотрят в окна на тайгу и не думают о том, что было здесь в давние времена. А я смотрю на современные фотографии тех мест и не узнаю распадок в долине речки Черт, где размещался лагерь у западного портала Дуссе-Алиньского тоннеля. Нет на этих снимках ни сторожевых вышек, ни барачков, ни трех плит над входом в тоннель с барельефа-

ми вождей революции. Все это осталось в другом измерении. Но стоит закрыть глаза, как видится настолько ярко, как будто было вчера...

О строительстве тоннеля в предвоенные годы, о героическом, в прямом смысле слова, труде воинов-железнодорожников на восточном участке БАМа в 70-е написано немало. Наиболее широко эта тема освещена в очерках Виктора Прядкина, где даются ссылки и на другие источники*. Да и Internet нам в помощь. Только набери в поисковике нужные слова, как откроется море информации**. И все-таки есть одно белое пятнышко.

Когда я читал материалы о Дуссе-Алиньском тоннеле, я не нашел рассказа о тех, кто оказался там в декабре 1974 года и возглавил работы по очистке тоннеля, – командира части подполковника А. Гака, начальника штаба майора Ю. Бескубского, замполита майора Лучезарского, капитанов А. Александрова, Кублицкого, Назаренко, лейтенанта В. Никитина и других офицеров-первопроходцев. Не говорю о рядовых и сержантах, я мог бы назвать их десятка два, а то и больше. Не забыл и никогда не забуду. А напоминанием мне служит татуировка на руке, которую я сделал там, в продыmlенном бараке полуразрушенного лагеря на перевале Дуссе-Алинь в декабре 1974-го.

Я не нашел знакомых имен. Даже войсковая часть наша упоминается в публикациях очень редко. Может, не сумел найти. Кроме того, известно, что раньше материалы, связанные с этой стройкой, вплоть до 80-х годов прошлого века, были во многом засекречены, а частично и уничтожены.

Это не упрек авторам опубликованных материалов о тоннеле – они добросовестно поработали с документами, профессионально изложили имеющиеся в их распоряжении факты. И я хочу лишь заполнить маленький пробел, по мере сил, своими воспоминаниями. Думаю, что имею на это право, потому что видел все своими глазами, будучи непосредственным участником тех событий, одним из многих воинов-железнодорожников рядового состава. Конечно, многое уже стерлось из памяти, но, надеюсь, и эти штрихи будут дополнением к общей картине истории Дуссе-Алиньского тоннеля.

1. Шатура – Ургал

До осени 1974 года наша войсковая часть 64715 (отдельный железнодорожный батальон особого назначения) стояла в подмосковном городке Шатура и, кроме военной подготовки, вела по своей специфике ремонтные работы железнодорожных путей на станциях Ильичев – Нечаевская. Там были наши летние лагеря и путевые роты, да и мостовая,

* В частности о строительстве тоннеля в разные годы прошлого века, очерк В. Прядкина «Тайна Дуссе-Алиньского тоннеля». В дальнейшем в ссылках буду указывать «Тайна...». *Здесь и далее прим. авт.*

** Кстати, «Еще во время проработок в 1894–1896 гг. и проведения изыскательских работ в 1914–1917 гг. Амуро-Николаевской железной дороги проектировщики подготовили проект перехода через этот горный массив – Дуссе-Алиньский хребет. Однако этот вариант не предусматривал тоннельный переход. Во времена СССР, в 1930–1931 гг., проектировщики также предлагали обойти это горное препятствие с севера по долинам рек Зеи и Уды. В 1932–1933 гг. изыскатели проделали огромную работу. Было предложено семь вариантов трассы от реки Селемджа до Комсомольска-на-Амуре. И только по результатам изыскательской экспедиции в 1933-1934 гг... целесообразность тоннельного перехода была признана окончательно» («Тайна...»).

а также мино-подрывной взвод, связисты и хозяйственники в основном находились там, среди Муромских лесов, где проводились и нередкие учения, которые объявляло командование дивизии, что размещалась в Муроме.

Весной 1974 года мы впервые услышали о Байкало-Амурской магистрали. Ударная комсомольская стройка – БАМ! О том, что дорога эта уже строилась когда-то и кто ее строил, никто из нас и понятия не имел. Но о возможном переводе нашего батальона на БАМ говорили все более уверенно. Это были, конечно, пока еще только слухи, домыслы, но они имели, безусловно, основание, прежде всего исходя из специализации наших войск. Кому, как не железнодорожникам, строить железную дорогу? И офицеры, я уверен, знали о предстоящих переменах куда больше нас, рядовых и сержантов, но ничего конкретного нам до осени не объявляли. Но, как известно, дыму без огня не бывает.

Кто-то мечтал о таежной романтике, кто-то побаивался неизвестности и не хотел никаких перемен, а трудностей в воинской службе, да по первому году, и так хватало. Но, в общем-то, каждый знал, что никто нас не спросит – будет приказ, будет исполнение. Поедем на край света без плацкартного билета, как шутил один веселый прапорщик, который, кстати, «на край света» не поехал, остался, после разделения части, в Шатуре дослуживать свой пятилетний срок. А пока мы, «молодые», занимались строевой подготовкой, топали на плацу, распевая во все горло на мотив «Прощания славянки»:

...И не зря изучали мы тактику,
Если надо, в смертельном бою
Вспомним нашу двухлетнюю практику
И учебную роту свою...

Тактику, по правде говоря, мы не очень-то изучали – задачи у желдорбата определенные. Научились ходить строевым шагом, разбирать-собирать АКМы и стрелять из них, одеваться по команде за сорок пять секунд, пока горит в руках сержанта спичка, привыкли к неожиданным марш-броскам – и ладно. Каждому свое. Путьцы наращивали мышцы, забивая костыли в шпалы на перегонах Ильичев – Нечаевская, мостовики валили лес, расчищая просеки... Всех без разбору нещадно жгли комары, которых в Муромских лесах водилось великое множество. Не помогали никакие кремы и жидкости. Вечерами в палатках ставили ведра с тлеющими сосновыми ветками, чтобы потом с дымом выгнать из помещения и крылатых кровопийц. Толку было немного, но все-таки... А если нам показывали на площадке фильм, то экран обычно закрывала завеса из комаров. Столько крылатых кровососов мы не увидим потом и в дальневосточной тайге.

Время шло, и в июле 1974 года Центральный Комитет КПСС и Совет министров СССР приняли постановление (№ 561) «О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали». И теперь уже никто не скрывал, что мы вскоре отправимся на ударную комсомольскую стройку, воины-железнодорожники в конце концов тоже ведь комсомольцы. И кому, как не нам, быть в этом деле пионерами.

Пионерами мы и стали. Правда, никто из нас и представить себе не мог, что отправят наш батальон выполнять свой воинский долг к черту на кулички – едва ли не в прямом смысле этого выражения, потому что река на Дуссе-Алине, куда переместили нашу часть, называлась Черт.

Мы считали, что так ее прозвали эки за ее буйный нрав, о чем я расскажу в своем месте, но есть, оказывается, версия, что это перевод с эвенкийского – *авахи* – черт. Впрочем, одно другому не противоречит. Черт он и есть черт, с какого бы то ни было языка*.

Первый эшелон с техникой и частью личного состава ушел из Шатуры, если не ошибаюсь, в сентябре. Потом был второй. Мне довелось отправиться с третьим – в конце ноября. Две недели мы пересекали Россию и Сибирь, Забайкалье и Дальний Восток – до станции Известковая, где повернули на север, в сторону Якутии, Буреинского хребта – к Ургалу.

Без приключений не обошлось. В Свердловске (так тогда назывался Екатеринбург) батальон повели строем в баню. И если мы уезжали из Подмоскovie осенью, то здесь уже стояла настоящая зима. Мороз был небольшой, но крепкий, задиристый. Мы печатали шаг по улицам города, не предполагая, что совсем скоро сибирский мороз проявит себя во всей красе.

А случилось вот что. В составе кроме платформ с техникой было три вагона – два солдатских и один офицерский. По недосмотру ли, по другой ли причине, проводниками в нашем вагоне оказались две довольно молодые женщины. А в вагонах две сотни солдат, среди которых немало сынов Кавказа... А мороз крепчал. А про печки, в которые надо постоянно подкидывать уголь, проводницы, видимо, забыли, утомленные вниманием личного состава. Возможно, была и другая причина, не знаю. Так или иначе, но где-то после Новосибирска ближе к ночи мы почувствовали, что температура окружающей среды резко понизилась. Вагон стал замерзать.

Становилось все холоднее и холоднее. Мы сидели уже в бушлатах и шапках. Сначала шутили и пели патриотические песни, какие могли вспомнить, но потом веселье как-то само собой поутихло. На ужин была пшенная каша, горячая, и мы старались съесть побольше, чтобы стало теплей. Но теплей не стало. Погас свет. Вагон замерз окончательно.

Спать легли не раздеваясь. Даже в темноте было видно, как пар от дыхания тянется к потолку белыми струями. Посреди ночи нас стали будить офицеры, освещая спящих воинов фонариками.

Нужно было подниматься и переходить в первый вагон. Такое решение принял командир – чтобы личный состав не померз, не добравшись до места назначения.

В первом вагоне набилось солдат как селедок в бочку. Все тут были без разбора – «старики», «молодые», рядовые, сержанты. Да еще разрешили курить прямо в вагоне. Для согрева, видимо. Какой уж там сон! Помню, состав остановился и я, лежа на третьей полке и смоля «Беломор», выглянул в окно. Это была станция Тайга. Мне было интересно, потому что здесь провел детство мой отец, здесь похоронены мои предки – прадед и прабабушка**. Но я ничего, конечно, из окна не увидел, кроме высоких сосен и вывески над вокзалом.

* В. Прядкин, «Тайна...».

** Мой дед по отцовской линии – Николай Петрович Гофман – был инженером-железнодорожником. В конце XIX – начале XX вв. строил Транссиб, конкретно Китайско-Восточную ветку, участок от ст. Маньчжурия через Харбин до ст. Никольское (сохранились фото, сделанные в Харбине). Здесь он познакомился с будущей женой, моей бабушкой, родители которой жили где-то в районе озера Ханка, потом переехали на ст. Тайга. Так мне довелось в некотором смысле продолжить дело своего деда. У него – Транссиб, у меня, через 70 лет, – БАМ. В общем, Великий Сибирский путь.

Утром пошли в свой вагон за вещами. Он стал похож на сталактитовую пещеру – пустой, звонкий и белый от инея... А поезд шел без остановок, тревожно стуча на стыках колесами, все дальше и дальше.

В Красноярске нас высадили на перрон, построили повзводно, как на плацу, и так мы стояли часа полтора, пока не поменяли замерзший вагон, вместе, разумеется, с проводниками. Стоять на морозе, а термометр показывал уже 37 по Цельсию, было еще тяжелей, чем мерзнуть в вагоне, потому что к тому времени, казалось, мы промерзли, в прямом смысле, до костей. В морозной тишине слышался только стук сапога об сапог – ноги мерзли нещадно, а форма одежды у нас пока что была не северная – бушлаты под ремень да кирзовые сапоги, а портянки, прямо скажем, не шерстяной носочек, связанный доброй бабушкой.

Наконец, раздалась команда заходить, и мы, не чувствуя рук и ног, ворвались в теплый вагон. Человек в нормальных условиях быстро забывает о тех трудностях, что пришлось перенести буквально полчаса назад. Вот уже и горячего чаю попили, вот уже и гитара зазвенела в последнем купе, где занимал место наш знаменитый гитарист Наиль Мусин, на гражданке музыкант казанского ресторана «Север». И запели уже, запрещенную в другое время замполитом, «Москву златоглавую», нестройно подтягивая Наилю. А колеса теперь уже весело стучали, и поезд уносил нас все дальше на восток, чтобы остановиться через несколько дней в Ургале, почти за 7 тысяч километров от Москвы.

2. Ургал – Дуссе-Алинь

Мы прибыли на станцию Ургал рано утром 7 декабря 1974 года. Помню, как вышли из вагона и словно астматики стали задыхаться морозным воздухом. С непривычки дышать было тяжело. Позже мы научимся дышать на холоде носом, чтобы в легкие поступал более теплый воздух, а когда – это невозможно, дышать, свернув губы в трубочку, а язык прижимая к нёбу. И ме-е-едленно. На морозе все надо делать медленно. А пока что мы дышали, уткнувшись в куцые воротники бушлатов.

Уже рассвело, но солнца видно не было из-за густого тумана, морозной дымки, которая образуется, если в воздухе появляется от мороза много ледяных кристалликов. 51 градус! Не верилось даже, что такое бывает. Мы вышли из вагона в другой мир, закованный морозом – за дымкой просматривалось здание вокзала, кораблем наплывающее на нас, деревянное, в каких-то причудливых завитушках работы местных плотников-умельцев, выкрашенное к тому же в зеленый цвет. На железнодорожных путях, а их было несколько, стояли железнодорожные составы, вдоль которых полыхали высокие костры из старых автомобильных покрывал, жутко чадящие.

Вокруг огня грелись люди, в основном военнослужащие – солдаты, сверхсрочники, прапорщики, младшие офицеры, прибывшие к месту назначения раньше нас. В Ургал с августа подтягивались подразделения железнодорожных войск, которым предстояло строить восточный участок магистрали, поэтому военного народа здесь было много – одни убывали на свои точки в тайгу, другие прибывали из центра – поселок превратился на время в своеобразный воинский штаб.

Вдалеке за домами виднелись невысокие тонкие деревья, как-то особенно сиротливо устремленные в небо. Может быть, так виделось из-за

плотной морозной вуали, что заволакивала бедный ландшафт. Эти чахлые, дрожащие березки и есть знаменитая дальневосточная тайга? Я-то представлял кедры в два обхвата, строевые сосны, густые лиственницы и пихты! В чащобах живут бурые медведи, в ветвях прячутся рыси, а иногда тут можно встретить уссурийского тигра! Об остальном зверье, вроде соболя и песца, и говорить нечего!

А тайга и впрямь оказалась не такая. Этот лесок был лишь ее началом, настоящая суровая и величественная тайга, красивая в любое время года, даже зимой, находилась дальше, на сопках, она ожидала нас на перевале Дуссе-Алинь, за сто километров от Ургала. Увидим мы скоро и соболя, и песца, и медведь почешет спину о машину связистов, установленную на вершине самой высокой в округе сопки, которую мы назовем «дембельская».

Вечером нам выдали наконец по комплекту зимнего белья, рыжие валенки на резиновой подошве, белые, мягкие, пахнущие свежей овчиной полушубки, ватные брюки, двупалые рукавицы из собачьего меха. Жить стало веселей. Кто-то из хозвзвода, кажется, сержант Игонин, добыл где-то бутылку водки, нам всем досталось по глотку. Водка загустела на морозе и тянулась, как ликер «Северная Пальмира». В тот первый день на БАМе я неслабо обморозил оба уха и щеки и даже не заметил когда. Опытный прапорщик Пухальский посоветовал растереть обмороженные места шестью, чтобы не потемнели, и я усиленно надраивал щеки, уши, а заодно и нос новой меховой рукавицей.

На разводе утром мы стояли в строю – все как с иголочки, белые и пушистые, в непривычной форме, с торчащими в стороны из рукавов полушубков рукавицами, похожие на пингвинов. Казалось, наше дыхание на морозе вот-вот превратится в лед. Но не превращалось, только белое облако колыхалось над строем. Командиры на нашем белоснежном фоне выглядели воронами – офицерские полушубки были черные и блестящие, словно лакированные. Замполит части майор Лучезарский, выдыхая морозные слова, коротко и ясно изложил ситуацию и наши задачи. Мы слушали, как говорится, вполуха, потому что было очень холодно. Но основное из речи майора все же отфильтровывали.

Ургал – узловая точка восточного участка БАМа. Новый железнодорожный путь из Сибири до Дальнего Востока имеет не только промышленное, но и важнейшее стратегическое значение. Эта дорога будет короче Транссибирской магистрали, к тому же она удалена от границы. Вдруг война с китайцами? Допустим, они захватят Транс-сиб, а у нас в запасе другой путь сообщения запада с востоком – БАМ! Так что мы участвуем в великой стройке, стройке века! Сюда, на восточный участок, направлены подразделения двух корпусов железнодорожных войск, и наша воинская часть в их составе. Батальон будет дислоцироваться глубоко в тайге, где нам предстоит очищать ото льда давно построенный тоннель на перевале Дуссе-Алинь.

Через несколько дней намечалась отправка личного состава к месту службы. Дорога была налажена, и там уже сейчас наш десант заблаговременно готовил площадку для размещения батальона.

Так мы впервые услышали о тоннеле. Замполит ничего не сказал, но слухами, как говорится, земля полнится. Вскоре все, от рядового первого года службы до старшины, которому до дембеля четыре шага, уже знали о том, что тоннель строили заключенные задолго до войны, потом законсервировали, и он зарос льдом, а нам предстоит нести службу

в бывшем лагере, жить в сохранившихся с тех лет бараках и долбить тот самый многолетний лед, пробивая путь будущей магистрали.

Все срока давно закончены,
А у лагерных ворот,
Что крест накрест заколочены,
Надпись «Все ушли на фронт»...*

Через пару дней первые машины автомобильной роты – КраЗы, а за ними «Уралы» – пошли по Чегдомынскому зимнику на перевал, к таинственному тоннелю, закупоренному льдом.

3. Тоннель. Легенды и реальность

Сто километров от Ургала до перевала Дуссе-Алинь мы преодолели за шесть часов. Дорога была не из легких. По сопкам, густо заросшим тайгой, она то опускалась вниз, к подошвам холмов, то поднималась на высоту такую, что заснеженные деревья внизу казались величиной со спичечный коробок. Младшие офицеры и прапорщики ехали вместе с нами. По дороге они рассказывали о тоннеле и о тех, кто его строил в предвоенные годы. Из рассказов выходило, что нас ждет в тайге какое-то мрачное и таинственное место. На Дуссе-Алине пропадали поисковые партии, там в вечной мерзлоте тысячи захоронений умерших и расстрелянных эков, тоннель то строился, то забывался на годы...

Уже в 30-е годы намечалась и начала строиться новая, удаленная к северу магистраль параллельно действующему Транссибу. На пути ее встал Буреинский хребет. Обходить его было нецелесообразно, и тогда решили пробить Дуссе-Алиньский перевал почти двухкилометровым тоннелем. На выполнение задачи были брошены заключенные БАМлага. Проходка велась с двух сторон навстречу друг другу. С одной стороны сопки заключенные-мужчины, с другой – заключенные-женщины.

Мужской лагерь располагался у восточного портала, а женский – у западного. Говорили даже, что женщины продвигались быстрее мужчин**. История о том, что руководство лагерей пообещало заключенным при стыковке «трое суток любви» и, действительно, сдержало слово, нашим офицерам была, видимо, неизвестна. Во всяком случае, я ее тогда не слышал и узнал об этом факте спустя сорок лет из поздних публикаций, в частности из очерка В. Прядкина «Тайна Дуссе-Алиньского тоннеля»***.

Наконец, уже в темноте, наша автоколонна преодолела последний подъем, это и был Дуссе-Алиньский перевал, и мы начали спускаться в распадок, где виднелись среди сплошной тьмы далекие огни – костры нашего десанта.

Командование части, прежде чем посылать на перевал десант, конечно, получило сведения о сохранившихся в распадке лагерных по-

* Песня Вл. Высоцкого.

** «Документы свидетельствуют, что производительность труда на западном портале была в 1,5 раза выше, чем на восточном». («Тайна...»)

*** «М.А. Рацбаум вспоминает: "За 23 месяца чистой работы мы прошли более 1800 метров и сбойку штолен дали на два месяца раньше срока, назначенного народным комиссаром. Три дня и три ночи оба лагерных пункта отдыхали. Три ночи женщины спали с мужчинами"». (Там же)

стройках – бараках, домах охраны и т. д., в которых и предполагалось разместить до весны личный состав: офицеров – в дома, воинов – в бараки. Весной планировалось построить свои, более комфортные помещения, а бараки снести. Так все и получилось. Кстати, первыми такими строениями стали столовая, баня и гауптвахта.

Мы вышли из машин на площадке, посреди которой горел огромный костер. Возле него стояли несколько воинов, поправляли огонь, подкидывали дрова. Здесь, в распадке, ветра не было, и пламя костра, чуть покачиваясь и рассыпая искры, устремлялось вверх, к черному бархатному небу. На небе висели огромные, мохнатые от мороза, звезды. Таких ярких и близких звезд я не видел никогда – ни до, ни после. Холодные, как изо льда, они равнодушно смотрели с высоты на затерявшихся среди бескрайней тайги людей, копошащихся в темноте у огня. Звезды смотрели на нас, а мы на них. Больше смотреть было не на что.

За костром стояла крошечная тьма. Казалось, там нет ничего. Но в этой тьме скрывалась неизвестная нам тайга – на сотни километров, без людей, без жилья, только сопки и сопки да деревья в снегу. А по снегу – следы диких зверей. И звезды над белым безмолвием...

От таких мыслей становилось не по себе. У живого огня на душе спокойней. Огонь для человека во все века был спасением. И для нас, как для первобытных людей, костры первое время служили источниками света и тепла, потому что электричество от своей мобильной электростанции, работающей на солярке, появилось дня через три после нашего прибытия. А уж потом только лагерь подключили к ЛЭП, которая была проложена вдоль реки со стороны Сулука на Ургал.

Покурили у костра. Погрелись. Лютый мороз по-прежнему не щадил нас, пробирался в любую щелочку к телу, несмотря на нашу утепленную амуницию. Но мы уже начали привыкать обжигающему дыханию севера. Если к этому вообще можно привыкнуть. А вот держать удар, не хлюпя носом, принимать то, что тебе выпадает – этому научиться можно. Мы – учились.

Кто-то из кострожогов указал дорогу в темноте – офицерам налево, где им подготовили помещение, нам направо – к невысокому строению, как оказалось, сохранившемуся с эковских времен бараку. Там уже жили прибывшие до нас и можно было переночевать. Про еду никто и не заикался. Ладно что сигаретами в Ургале запаслись – в нашем положении без курева хуже, чем без еды, как на фронте. Без шуток. Десант, конечно, старался, но что можно сделать за несколько дней в глухой тайге без электричества для размещения пятисот человек?

В бараке было так же темно, как и на улице, хоть глаз выколи. И так же холодно. Показалось, что еще холоднее. Там хоть звезды да костер светили. Чиркая спичками, кое-как нашли свободное место и, не раздеваясь, в полушубках, шапках и валенках, повалились на нары. Устали так, что говорить не хотелось, заснули, как убитые и спали до утра.

Так началась наша служба на Дуссе-Алине. На другой день мы увидели тоннель. Но сначала скажу, что представлял собой барак, в котором довелось нам жить до весны. А где-то в конце апреля батальон переместился в палаточный лагерь, построенный за зиму на другом берегу Черта по всем правилам военно-инженерной науки.

Лагерь, заброшенный людьми двадцать с лишним лет назад, все равно оставался лагерем. Утопали в снегу зловещие сторожевые вышки, приземистые, словно вросшие в землю бараки, глядели на новоселов бельмами разбитых окон. Казалось, вот-вот услышишь бешеный лай

собак, клацанье оружейных затворов, сиплый мат вертухаев... Нет, мертвая тишина стояла в распадке*.

По утру мы рассмотрели внимательно свое новое жилище, которое при всем желании казармой назвать язык не повернется. Наружные стены барака были в свое время оштукатурены, куски штукатурки кое-где еще держались, и на них можно было увидеть остатки росписи, сделанной лагерными художниками (или художницами, лагерь-то был женский, потом мы сможем побывать за сопкой, где находился мужской лагерь, но от него остались рожки да ножки, что было непонятно при хорошей сохранности женского лагеря – почему тот разобрали до основания?).

На первый взгляд казалось, что барак вот-вот рухнет, но это впечатление было обманчивым – построенные из лиственницы, бараки оставались и через четверть века на удивление крепкими. Мы удостоверились в этом, забивая в стены гвозди – они пружинили и звенели, словно вколачивали их в железо.

Барак разделялся перегородками на четыре отсека, каждый имел свой вход с небольшим тамбуром, где мы держали дрова. Посреди помещения стояла печь, а по обеим сторонам прохода к печке – двухъярусные нары. Крохотное оконце пропускало в отсек минимум света, в бараке даже днем было сумрачно. Да еще в это оконце пришлось выводить печную трубу, потому что старый дымоход развалился. На территории лагеря сохранилось несколько таких бараков, которым и предстояло на время стать для личного состава казармами. Все они растянулись вдоль сопки, поросшей редкими, как бы больными деревьями**. В ней и был пробит тоннель.

Рядом с бараком, где разместился в крайнем отсеке наш минно-подрывной взвод, стояло полуразрушенное квадратное здание без крыши. По всей видимости, это был когда-то клуб. На южной стене его хорошо сохранилась написанная по штукатурке картина – Красная площадь, залитая солнцем, веселые девушки в белых легких платьях... Наверное, именно такие картины видели во сне заключенные, женщины, лишённые детей, мужья которых – «враги народа» – были расстреляны или отбывали сроки, едва ли не в половину жизни, в таких же вот лагерях, разбросанных по архипелагу ГУЛагу...

* Согласно решению ЦК ВКП(б) и СНК СССР (1930 г.) о строительстве БАМа от Тайшета до Советской Гавани общей протяжённостью трассы более 4000 км предстояло пробить тоннель сквозь хребет Дуссе-Алинь. Решение этой задачи началось в конце 1939 года. Здесь, как и на всей Байкало-Амурской магистрали, использовался труд заключённых Байкало-Амурского исправительно-трудового лагеря, который был создан в 1932 году. Всего на участке от станции Известковая до станции Амгунь находилось 56 лагерей, а от станции Ургал до станции Дуссе-Алинь – 7 лагерей, непосредственно подчинённых ГУЛагу... Если бы туннель строили заключённые, получившие срок за убийство, разбой, грабеж, другие насилия или, допустим, воровство... В том-то и трагедия, что тоннель строили «политические» осуждённые даже не судом, а «тройками» по многочисленным частям пресловутой 58-й статьи... («Тайна...»)

** Мы удивлялись, почему на двух сопках, что протянулись вдоль реки, такая чахлая растительность. Предположили, что деревья вырубали на дрова, а новые еще не успели подрасти в условиях вечной мерзлоты. Потом на восточной сопке мы обнаружили кладбище, тут хоронили эзков. Но в очерках В. Прядкина утверждается, что захоронения были и на другой сопке, возле тоннеля. Эту сопку мы знали как свои пять пальцев, но могильников на ней не видели. Наверное, они сровнялись с землей за прошедшее время. Так или иначе, но вырубки деревьев в обоих случаях и стали, видимо, причинами почти безлесья на западной и восточной сопках.

Когда я вернулся домой, узнал, что соседка по квартире Анна Акимовна Гирусова отсидела десять лет совсем недалеко от Дуссе-Алиня, в лагере в районе Сулука. Мужа ее, комсомольского секретаря, расстреляли. Анна Акимовна была реабилитирована после XXII съезда партии и доживала свой век персональным пенсионером в специализированном доме-интернате ветеранов КПСС... Я дружил с ее внуком. А с ней мы немного успели поговорить о том, что она пережила в дальневосточном лагере. Жаль, не записывал.

В том бывшем клубе без крыши, но с яркой картиной на стене нас фотографировали на новые комсомольские билеты... А возле входа была свалена огромная куча замерзшего по дороге из Ургала лука, и в ней копались «молодые» в поисках сохранившейся луковицы, потому что нехватка витаминов начала сказываться. Вскоре на столах в столовой появились бледно-коричневые шарики поливитаминов. У меня от этих шариков сыпь выступала по всему телу. Но это позже, а сначала никакой столовой, как, впрочем, и бани, и в помине не было.

Расскажу, как мы увидели тоннель.

Удивительно, зимой там, в тайге, почти не было пасмурных дней. Или в памяти так отпечаталось – бездонное небо, солнце в дыму, кругом белым-бело, а по снежному полю солнечные искры рассыпаются... Так было и в первое наше утро на Дуссе-Алиньском перевале. В одном из сохранившихся лагерных зданий разместилась временная столовая. Возле нее горели костры, на них повара кипятили воду для чая и варили перловку, а в помещении, темном, из-за отсутствия электричества, вдоль стен стояли мешки с сухарями. Так можно было позавтракать, как говорится, чем бог послал. Что мы и сделали. После чего отправились к тоннелю, разглядывая по пути утопавшие в снегу приземистые сторожевые вышки, стоящие по одной линии, как потом оказалось по берегу речки Черт.

На расчищенной от снега площадке вблизи тоннеля состоялся развод. Мы слушали начальника штаба, а сами все смотрели на сопку, у подножия которой чернел вход в тоннель. «Чернел» – не совсем точно, потому что почти полностью он был закрыт огромной зеленоватой наледью*. Весной мы поднимемся на сопку и на ней обнаружим бетонные столбики, поставленные, видимо, поисковой партией. На этих столбиках были буквы: «БАМ 1939».

Теперь известно, что строительство тоннеля началось в 1939 году, а тогда, глядя на дату, мы удивлялись – казалось, 39-й – это так давно! Потом, в 1942 году, тоннель законсервировали, заключенных перевели на другую стройку. Через десять лет строительство возобновили, но вскоре (в мае 1953-го) снова приостановили. Так он и стоял до нашего прибытия. Дренажная штольня была не достроена, и в тоннель попадала вода, которая замерзала. Некоторое время в тоннеле для поддержания рабочего состояния топили печки-буржуйки и разжигали костры специально назначенные люди под руководством смотрителя. Потом им перестали оплачивать труд, должности сократили, и тоннель стал промерзать. За годы в нем образовался ледяной стержень, а наледь даже вышла наружу со стороны западного портала. Она не таяла даже летом.

* «...Вода, смерзлась, забила проход снизу доверху льдом, длинным языком высунувшись на западном портале. Язык не стаивал даже летом, и постепенно здесь выросла огромная ледяная гора. Даже в самую жаркую пору здесь было прохладно и пахло зимой» (В.Ф. Зуев «Первопроходцы восточных магистралей России», цит. по: В. Прядкин «Тайна...»).

Чтобы привести тоннель в рабочее состояние, надо было убрать из него 32 тысячи кубометров льда. Об этом и говорил на разводе майор Бескубский, а мы мерзли, притопывая ногами, обутыми в новехонькие «бамовские» валенки на резиновом ходу и, пряча лица в воротники полушубков, разглядывали Портреты.

Над входом в тоннель стояли три огромные, соединенные вместе плиты. Снизу казалось, что они заслоняют добрую половину сопки. От этого вход в тоннель казался меньше, чем он был на самом деле. На плитах были высечены барельефы трех вождей – Карла Маркса, Ленина и Сталина. Гордо выпятив подбородки, вожди устремляли взгляд вдаль. Это была живая история нашей страны, ее трагико-героическая страница. В очерках о тоннеле я читал, что вопрос, были ли барельефы в действительности, является спорным*. Могу утверждать, как очевидец – были. Но недолго. Плиты, конечно, остались, но на них уже к весне нельзя было разглядеть великие профили, там красовались буквы, написанные на отшлифованных поверхностях нашими художниками: «Привет строителям БАМа!»

4. Бурундук

Раз под осень в глухой долине,
Где шумит Колыма-река,
На склоненной к воде лесине
Мы поймали бурундука.

По откосу скрепер проехал
И валежник ковшом растряс,
И посыпались вниз орехи,
Те, что на зиму он запас.

А зверек заметался, бедный,
По коряжинам у реки.
Видно, думал:
«Убьют, наверно,
Эти грубые мужики».

– Чем зимой-то будешь кормиться?
Ишь ты,
Рыжий какой шустряк!.. –
Кто-то взял зверька в рукавицу
И под вечер принес в барак.

Тосковал он сперва немножко,
По родимой тайге тужил.
Мы прозвали зверька Тимошкой,
Так в бараке у нас и жил.

А нарядчик, чудака-детина,
Хохотал, увидав зверька:
– Надо номер ему на спину.
Он ведь тоже у нас – зека!..

* «...Насчёт этих барельефов тоже очень много споров: одни говорят, что они действительно были сделаны, но позже их просто уничтожили, а кто-то говорит, что их не было и всё это – чистой воды выдумка...» (В.Прядкин «Тайна...»)

Каждый сытым давненько не был,
Но до самых теплых деньков
Мы кормили Тимошу хлебом
Из казенных своих пайков.

А весной, повздыхав о доле,
На делянке под птичий шелк
Отпустили зверька на волю.
В этом мы понимали толк.

Анатолий Жигулин, «Бурундук»

В те годы я уже писал стихи и даже отправлял их в толстые журналы. Помнится, стихотворение о бурундуке, бегущем по первому льду, было тогда написано. А с жигулинским бурундуком я познакомился уже после армии. Был и у нас свой бурундук. Расскажу о нем чуть позже. А вообще зверье и птица на Дуссе-Алине были непуганые. Совы и тетерева прилетали в лагерь и садились на крыши палаток. Бурундуки бегали, не страшась людей, по плацу, медведь едва не столкнул релейную станцию, установленную на самом высоком месте – на вершине Дембельской сопки. Но все это было весной, летом, осенью, а пока стояла зима, никакой живности мы в распадке не наблюдали. Только якут рассказывал нам, как он стреляет кабаргу да ловит песца и соболя.

Якут Володя Афанасьев оказался местным жителем. Охотник, он еще присматривал за линией связи. Жил в одном из домов охраны, на отшибе. У него было две жены и куча детей. Все они приходили к нам смотреть кино, когда летом его стали показывать воинам на специально встроенном в черный футляр экране. Этот футляр вывешивал наш киномеханик Николай Мазалов перед каждым показом на стене палатки.

Бесконечной казалась зима. Мороз трещал, над крышами бараков белыми столбами поднимался к небу дым – печи топили непрерывно. Но день ото дня жизнь батальона приходила в норму. Автоматы Калашникова нам заменили на карабины Симонова. Но пострелять из них нам так и не удалось. Другим были заняты. Конечно, пост номер один, это святое – знамя части. Штаб тоже. Коммутатор. Обустройство быта, прежде всего – жильё, столовая, баня.

Сухари отошли в прошлое. Из Ургала по зимнику подвозили продукты, сухие пайки. По пути они замерзали. Буханки хлеба мы пилили ножовкой. А банку консервов разрубали топором напополам, грели половинки на печке. Очень даже удобно было зачерпывать из них содержимое ложками, которые «старики» носили за голенищами, согнув для удобства рукоятку. Появилось электричество, а это и свет, и горячая еда.

И баня! Как же солдату без бани! Но какое-то время, наверное, недели три-четыре, мы о ней и не вспоминали. Наконец наши хозяйственники что-то придумали, организовали помывку в одном из домов охраны, где сохранилось с эковских времен банное помещение. Подновили, подтесали, печку растопили. Но это была, конечно, не баня, именно – помывка. Погреться не удалось, да и воды не хватало. Позабирались «старики» на лавки с ногами, потому что с полу тянуло холодом страшно. «Молодые» носили в тазиках снег и растапливали его у печки. Но все же кое-как помылись, переоделись, и на душе стало радостней.

Вскоре и баню на берегу реки построили, настоящую. И столовую. На завтрак, обед и ужин теперь ходили поротно с песней. Военская дисциплина, несколько ослабевшая в первое время, укреплялась. А к весне и гауптвахту поставили. Тоже у реки. Из бревен от сломанных сторожевых вышек, что было символично. Нарушений дисциплины особых не случалось, потому что не было увольнений за пределы части – а куда, в тайгу, что ли? Иди, пожалуй, гуляй. Много не нагуляешь. А значит, не было и самоволок, основного источника нарушений. Но все же как без гауптвахты. Государства без тюрьмы не бывает, шутил сержант Игонин, а мы маленькое государство в большой тайге.

«Губа» вскоре и пригодилась. Запустили свою хлебопекарню. Кстати, хлеб – белый-белый – получался очень даже вкусный. Но и тут не обошлось без происшествий. Разве могли наши хлебопеки устоять против соблазна поставить бражку? И поставили. Помню, на разводе как раз на День Победы (мы уже перебрались в палатки) на новеньком плацу, что был засыпан щебнем и укатан бульдозерами, прямо перед строем нашему комбату подполковнику Гаку прапорщик поднес четыре канистры. Все понимали, что в них, потому что перед тем начальник штаба зачитал приказы о смертельных случаях отравления антифризом в воинских частях и требованием усилить контроль за личным составом по поводу спиртного.

Комбат молча поднял первую канистру и опрокинул ее верх дном. Содержимое с громким бульканьем полилось на плац. Мы смотрели, как брага, пенясь, уходит под щебень. Потом была вторая, третья, четвертая канистры... Хлебопеков отправили на гауптвахту, назначили других. Но хлеб, независимо от перемен, оставался по-прежнему вкусным.

Пока исследовали тоннель и начальство в далеком Чегдомыне решало, как избавиться от ледяного стержня и наледи у входа, роты получили задание готовить просеку, по которой в будущем должна была пройти железная дорога к тоннелю, через него и дальше, дальше – на восток.

Ближе к весне личному составу сделали прививки – «от энцефалита». Прививка состояла из трех болезненных уколов под лопатку с промежутком в две недели после каждого. Про клещей, разносящих это заболевание, никто из нас не слышал, но рассказывали страшные истории о том, что может случиться с человеком от укуса инфицированного клеща. «Попадет вирус в мозг, – говорил нам сержант из санчасти, – и все – или помрешь, или, в лучшем случае, дураком останешься на всю жизнь!» Ни первое, ни второе нас никак не устраивало, и мы дружно подставляли спины под иглу. Я лично ни одного клеща за время службы так и не увидел, но в части прошел слух, что клеща обнаружили за ухом у ребенка одного из офицеров. Родители перепугались и малыша увезли в Хабаровск в военный госпиталь. К счастью, заражения врачи не обнаружили. Но мы стали внимательней себя осматривать, опасаясь неведомых переносчиков энцефалита.

Поздней весной в части появились женщины и дети – к некоторым офицерам стали приезжать семьи. А мы в это время переселились на другой берег Черта, в палатки, а бараки и сторожевые вышки ломали и пилили на дрова, которые нужны были и в палатках. Лагерь преобразался, все меньше оставалось примет «зоны», а вскоре они вообще исчезли. Только дома охраны, в которых расселились офицеры и их семьи, остались у подножия сопки, но были обычными строениями, как бы

не имеющие к лагерю никакого отношения. Военная часть со всеми необходимыми атрибутами посреди тайги – так это теперь выглядело.

Расскажу еще историю, как наша невеликая речка показала свой нрав, оправдывая свое имя – Черт.

В конце мая, когда наступил пик таяния снегов и с сопки вниз обрушились водные потоки, Черт разбушевался. Помню, мы проснулись в палатке не от привычного «Взвод, подъем!», а от того, что выпались, как дома «на гражданке». В «ленинской комнате» собрались поднявшиеся по привычке раньше нас «молодые». Стоит сказать, пожалуй, что такое ленинская комната.

Армейская палатка, рассчитанная на сорок человек, представляла собой каркас из бревен обтянутый брезентом. Посредине была сложена небольшая печка, от которой почти через все пространство палатки шла труба диаметром не меньше полуметра. Она-то, быстро нагреваясь, и давала постоянное тепло. По обеим сторонам располагались двухъярусные кровати, между ними – личные тумбочки. А возле входа – с той и другой стороны – отделены были два достаточно просторных помещения – в одном размещалась каптерка, то есть, склад имущества, в другом – ленинская комната с портретом вождя и наглядной агитацией. Тут проводились всяческие беседы, политинформации и т. п. Но это было редким явлением. Чаще здесь по ночам выпивали привезенные контрабандой спиртные напитки – кто у корейцев* водки достанет с корнем или змеей внутри бутылки, кому посылочка придет, а в ней грелка с самогоном...

Так вот, проснулись мы в тишине – ни офицеров, ни прапорщиков, а время уже позднее. Что-то, значит, случилось. А случилось следующее.

За ночь река, как вена на перетянутой жгутом руке, вспухла. На нашем берегу толпились полуодетые солдаты, а на другом – офицеры. Все с изумлением глядели на вчера еще спокойную, узенькую, навряд ли ручейка, а сегодня будто сорвавшуюся с цепи, дикую в своем неистовстве реку, которая с бешеной скоростью несла сверху куски льда, пни, коряги, целые деревья, сметая на своем пути все препятствия. Мост, соединявший два берега небольшой речушки, а значит, и рядовой состав части с офицерами, снесло как игрушечный. На другом берегу остались не только дома офицеров, но и штаб, коммутатор, хозяйственные службы и... столовая!

До обеда две половины разделенного стихией гарнизона жили по разные стороны реки. Время от времени те и другие выходили на берег посмотреть на бурный поток, несущийся мимо лагеря к Дембельской сопке, где он, круто поворачивая, исчезал из глаз. Уровень воды

* Корейские десанты рубили тайгу недалеко от расположения части, и мы с ними общались, выменивая в основном алкоголь на какие-нибудь наши безделушки или покупали за деньги. Бутылка водки со змеей внутри стоила, если мне не изменяет память, двенадцать рублей. Таких десантов корейских было много. Из Ургала в Корею шли эшелоны с нашим лесом. «...В 70-е годы прошлого века корейцы взяли в аренду пару тысяч квадратных километров советской тайги, чтобы рубить лес. Половину заготовленной древесины они отдавали нам, остальное продавали. Тогда лес рубила Трудовая армия Кореи, это около ста тысяч человек, организованных по военной структуре: десятки со своими десятниками, сотни со своими сотенными. И все – со значками Ким Ир Сена!» («Факты», 23.04.2009). Правда, они все были со значками на груди. Однажды в поезде Ургал – Известковая (я ехал в командировку в Комсомольск-на-Амуре) я предложил корейцу поменяться значками. Он испуганно прижал к груди руки, пряча изображение вождя, и отрицательно потряс головой.

не снижался – разбушевавшийся Черт не хотел успокаиваться. Теперь стало понятно, почему все строения эзков находились по одну сторону реки, видимо, такие паводки были тут нередким явлением.

Ближе к вечеру вопрос с питанием батальона был решен. Мощные «Уралы» (автопарк располагался на офицерском берегу) перевозили личный состав в столовую и обратно. Машины яростно сопротивлялись потоку, который пытался развернуть их по течению, вода бурлила и пенилась под крыльями. Но техника побеждала.

Дня через три уровень воды спал – отплясал Черт свой весенний танец, успокоился, улегся до времени в русло, а воины мостовой роты быстро поставили новый пост, крепкий, способный принять на себя любой удар, который может нанести исподтишка скромная с виду, но коварная по натуре дальневосточная речушка. Черт, одним словом.

Пожалуй, это все, что я хотел рассказать о первых месяцах на Дуссе-Алине. Конечно, за это время произошло немало событий. Взорвали наледь у входа в тоннель. С нашей стороны мы еще летом проходили по тоннелю почти до конца. И с другой стороны сопки заходили. Но пройти его насквозь все же мешала ледяная пробка, закупорившая тоннель ближе к западному порталу.

Ближе к осени к тоннелю подвезли и поставили мощные генераторы и погнали внутрь по рукавам теплый воздух, он растапливал лед, а где он не справлялся, там шли воины с отбойными молотками. Впрочем, об этом уже очень много сказано, поэтому повторяться не буду.

Еще один эпизод, который стоит упомянуть. В середине лета на батальон обрушилась дизентерия. Треть личного состава, включая и офицеров, увезли в Хабаровск. Некоторых увозили на вертолете. Был даже один смертный случай – рядовой из путевой роты умер в санчасти. (За девять месяцев в батальоне случилось две смерти: первая в самом начале, когда связист ночью, решив погреться уснул в кабине автомобиля и задохнулся, вторая – во время дизентерийной эпопеи.) Мне повезло – сержант-санинструктор дал мне «чудодейственную» таблетку, она и спасла, видимо. Помню, кто-то из прапорщиков шутил, дескать, от дизентерии помереть не зазорно – знаменитый пират Фрэнсис Дрейк от нее сей мир покинул. Но это мало утешало воинов с позеленевшими от приключившейся хвори лицами.

А мы уже начали считать дни до дембеля.

Мне хочется сказать несколько теплых слов об офицерах: они действительно были для нас как родители, хотя некоторые из них по возрасту были немногим старше нас. Но были они еще и настоящими товарищами. Люди все же устроены так, что, когда трудно, они объединяются, забывая о различиях в возрасте, национальности, должности. Так было на БАМе.

Я ничего не написал о так называемой «дедовщине» или неуставных отношениях. Были они? Конечно, были. Но не такие, как нередко о них рассказывают и пишут. Важнее было другое. Была дружба, и лучшей школы дружбы, в том числе и межнациональной, я не знаю. В тех условиях, в которых мы находились на Дуссе-Алине, быстро понимаешь, что стоишь ты сам и кто твой друг. Этого не забыть никогда.

Так вот, о бурундуке.

Была такая традиция – брить головы наголо за 100 дней до дембеля. Традиция соблюдалась неукоснительно. Оболванился с вечера и я. На другой день мы разбирали на дрова один из ветхих домов за речкой и

увидели очередного полосатого гостя – бурундука, который, испугавшись, забрался за доску над крыльцом. Мы решили поймать зверька. И наверно, сумели бы, но помешала моя лысая голова. Пилотки у нас по привычке были заткнуты за ремень, и свежесбрившие головы сверкали на солнце. Убегая, бурундук прыгнул из своего укрытия прямо мне на темечко и, оттолкнувшись от такой удобной опоры, мягко приземлился и кинулся наутек в тайгу. Я смотрел ему вслед, зажимая ладонями рану, и думал, что свобода – это в жизни главное. И для зверя, и для человека. Скоро и нас ждет свобода. Так казалось тогда. А на голове моей свободолюбивый зверек оставил своими когтями глубокие отметины – из них сочилась кровь. Пришлось голову забинтовать. «Ладно, скальп не снял!» – участливо сказал мне в санчасти прапорщик, поливая красные борозды от когтей бурундука перекисью водорода. Ничего, подумал я, это для памяти – никого не лишай свободы, даже не думай об этом.

Осенью, когда на сопках засеребрились вершины, а возле плаца осина так покраснела, что стала похожа на флаг, и речушка наша Черт покрывалась тонким первым льдом, я снова увидел бурундука. Он бежал по льду, чуть-чуть припорошенному снежком. На середине реки он замер, повертел головой, как бы удивленно, и побежал дальше. Должно быть, радовался и первому льду, и первому снегу – жизни.

В ноябре первая партия уволенных в запас воинов покинула Дуссе-Алинь. Я был среди них.

Виктор Прядкин пишет: «Сегодня с шумом проезжают (в т. ч. и пассажиры) по Дуссе-Алиньскому тоннелю. Я уверен, что пассажиры не знают историю его строительства. Но я уверен и в другом: когда-нибудь неравнодушные люди выбьют у чиновников из федерального бюджета необходимые средства для установки достойного памятника тем, кто умер от нечеловеческих условий, от недоедания, переутомления и прочего. Тем, кто был расстрелян у этого тоннеля. Но! В память о себе они оставили тоннель».

Я готов подписаться под этими словами.

Валентина КОРОСТЕЛЁВА

Родилась в Кирове. Окончила Литературный институт им. Горького. Поэт, прозаик, автор почти двух десятков книг, публикаций во многих «толстых» и «тонких» журналах.

Особое место в ее творчестве занимают книги «Парнаса дорогие имена» – документальные рассказы о русских писателях, в том числе современных, а также недавно вышедший сборник очерков «Строки и судьбы» – о поэтах России XX века.

Лауреат литературных конкурсов им. А. Платонова, А. Толстого, А. Белого, «Добрая лира», «Литературная Вена». Член Союза писателей России. Живёт в подмосковном городе Железнодорожном.

«ПУСТЬ ДОБРЫМ БУДЕТ УМ У ВАС...»

Исполнилось 130 лет со дня рождения Самуила Маршака

Жил человек рассеянный
На улице Бассейной.

Сел он утром на кровать,
Стал рубашку надевать,
В рукава просунул руки
Оказалось, это брюки.
Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной!

...Вместо шапки на ходу
Он надел сковороду.
Вместо валенок перчатки
Натянул себе на пятки.
Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной!

(«Вот какой рассеянный»)

Кто не знает или не слышал этих весёлых и в то же время поучительных строк Самуила Маршака! И хотя юмор и сатира были сродни его натуре, к детским стихам, ставшими уже классикой, он пришёл не сразу. Вот, к примеру, как он писал ранее:

Баю-баюшки баю,
Не ложися на краю.
Придёт серенький волчок
И укусит за бочок!

И если первая строфа ещё годится для колыбельной песенки, то от некоторых следующих строк ребёнок не только не уснёт, но и может испугаться на ночь глядя:

...А потом придёт медведь,
И отхватит ножки треть.
Ручку вынесет лиса!
Зайка высосет глаза!

Черви заползут под ногти,
Рысь запустит в сердце когти.
А какой-то рыжий кот,
Горло вмиг перегрызёт!

А дальше ещё страшнее, так что стоит остановиться.

Как любое ремесло, что хочется довести до хорошего уровня, поэзия требует и должной образованности, и большого трудолюбия. Правда, тут ещё и не обойтись без божьей искры, то есть таланта, который никаким трудом не восполнишь. Самуилу Яковлевичу талант был дан, наверное, с рождения, иначе он не писал бы стихи с 4 лет, так же как и вряд ли бы отметил его способности сам Владимир Васильевич Стасов, патриарх в познании почти всех искусств, что процветали на начало XX века в России. Он и приветил будущего писателя, подарил ему не только внимание, но и кров в собственном доме. А будучи на даче Стасова, юный поэт познакомился с самим Максимом Горьким, который долгие годы поддерживал молодого Маршака, а после именно с ним разрабатывал программы по созданию журналов и солидного детского издательства для юных читателей.

Так что в этом плане Самуилу очень повезло. Но связи, даже такие, не заменят потребности двигаться вперёд в творческом плане. Ещё в детстве, когда его старший брат (по-домашнему Муля) во время походов из центра Петербурга домой на ходу сочинял какую-нибудь историю, то Самуил легко подхватывал и доводил сюжет до конца. Позднее, занимаясь в том числе и журналистикой, Маршак едет в Лондон, поступает в университет на факультет искусств, параллельно делая материалы для русских газет и журналов. Вот где он причастился к английской поэзии, её ярким представителям: Уильяму Шекспиру, Уильяму Блейку, Роберту Бёрнсу, Редьярду Киплингу! Забегая вперёд, скажу, что переводы на русский язык полтора сотен сонетов Шекспира принадлежат перу Маршака и ценятся любителями литературы. А влияние Роберта Бёрнса, в творчестве которого особенно ярко выражены и фольклорные мотивы, и сочетание серьёзного с явной иронической ноткой, конечно же, сказалось впоследствии и в сатирических стихах самого Маршака, не говоря уже о детских, где больше игры, чем назидания. А это очень нравится детям.

Робин-Бобин
Кое-как
Подкрепился
Натошак:
Съел телёнка утром рано,
Двух овечек и барана,

Съел корову целиком
 И прилавок с мясником,
 Сотню жаворонков в тесте
 И коня с телегой вместе,
 Пять церковей и колоколен,
 Да ещё и недоволен!

(«Робин-Бобин»)

Но всё-таки иногда полезно было и впрямую преподать урок детворе. Тем более что с возрастом Маршак уже неплохо разбирался в детской психологии. Из-за плохого зрения его не взяли на Первую мировую войну, а поручили в Воронеже оказывать помощь эвакуированным детям. Будущий писатель оценил позднее, как много он взял из общения с этими детьми, как научился понимать их, а также и то, как нужны им хорошие детские книжки. И прибегал иногда к ненавязчивым поэтическим урокам.

...Знал одного ребенка я.
 Гулял он с важной нянею.
 Она давала тонкое
 Ребенку
 Воспитание.
 Был вежлив
 Этот мальчик
 И, право, очень мил:
 Отняв у младших
 Мячик,
 Он их благодарил,
 «Спасибо!» – говорил.
 Нет, ежели вы
 Вежливы,
 То вы благодарите,
 Но мячика
 У мальчика
 Без спросу
 Не берите!

(«Ежели вы вежливы»)

Активная творческая жизнь Маршака началась в двадцатилетнем возрасте (заметим, что родился он в 1887 году), хотя отдельные публикации были и до этого, в основном в еврейских изданиях. Но постепенно стал чаще публиковаться в сатирических альманахах и журнале «Сатирикон», где познакомился с поэтом Сашей Чёрным. Какое-то время вместе с братом выпускал рукописный журнал «Черт знает что». Однако издание продержалось недолго, так как отец, Яков Маршак, своей волей прикрыл его из-за слишком вольных эпиграмм на общих знакомых. А сын действительно уже преуспевал в жанре сатиры, с которой не расставался никогда. Вот несколько примеров.

* * *

Ты старомоден. Вот расплата
 За то, что в моде был когда-то.

* * *

Как вежлив ты в покое и в тепле.
Но будешь ли таким во время давки
На поврежденном бурей корабле
Или в толпе у керосинной лавки?

* * *

Днем барон сказал крестьянам:
«Шапку с головы долой!»
Ночью отдал партизанам
Каску вместе с головой.

(Партизанский плакат 1941 года)

И далеко не каждый может так пошутить о себе:

Жил на свете Маршак Самуил.
Он курил, и курил, и курил.
Всё курил и курил он табак.
Так и умер писатель Маршак.

Но, конечно же, основной его темой оставалась детская литература, её создание в молодой стране, публикация лучших произведений писателей, пишущих для юных граждан. Так, в 1917 году, переехав с отцом к месту его новой работы в Краснодар, Самуил Яковлевич сначала руководил секцией детских домов и колоний, а через три года вместе с художественной интеллигенцией города создал театр для детей, один из самых первых в стране, который постепенно превратился в «Детский городок», прообраз будущих домов пионеров. Маршак пишет для театра пьесы, выпускает свои книги – «Детки в клетке», «Сказка о глупом мышонке» и другие. Давайте вспомним некоторые любимые с детства строки.

Эй, не стойте слишком близко –
Я тигрёнок, а не киска!

(«Тигрёнок»)

Дали туфельки слону.
Взял он туфельку одну
И сказал: – Нужны пошире,
И не две, а все четыре!

(«Слон»)

Рвать цветы легко и просто
Детям маленького роста,
Но тому, кто так высок,
Нелегко сорвать цветок!

(«Жираф»)

Вернувшись в 1922 году в Петроград, Маршак полностью отдаётся работе с детьми. Это и журнал «Новый Робинзон», и пьесы для театра, и редакция Детгиза. Причём журнал «Новый Робинзон» открыл

свои двери для будущих известных писателей, таких, как Борис Житков, Евгений Шварц, Виталий Бианки и другие. Не случайно, планируя первый Всесоюзный съезд советских писателей, Горький предложил Маршаку выступить с темой о большой литературе для маленьких.

Но стоит упомянуть, что в военные годы писатель не дал пропасть в себе таланту сатирика и активно работал в компании с известными карикатуристами Кукрыниксами. А в театрах продолжали идти его известные сказки: «Горя бояться – счастья не видать», «Двенадцать месяцев», «Умные вещи» и другие.

До конца своих дней Самуил Яковлевич трудился на ниве советской литературы, вёл общественную работу. Не раз вступался за гонимых властью писателей и учёных (Михоэлс, Бродский). Как-то на встрече он подарил сборник сонетов Шекспира в своём переводе выдающемуся доктору Я.Г. Этингеру с такой надписью: «Пришли сонеты в СССР сквозь долгие века. Тому причиной Этингер, лечивший Маршака». Когда того арестовали и нашли эту книгу, писателя привлечь к суду не удалось, а доктор умер в тюрьме в 1951 году (люди старшего поколения помнят кампанию против «врачей-вредителей»).

Сам Самуил Яковлевич скончался 4 июля 1964 года. Очевидцы рассказывают, что даже в последние дни жизни смертельно больной Маршак не терял ясности ума и присутствия духа. «Чтобы забыться от смертельной тоски, – говорит он, – я за ночь перевел семь стихотворений...»

Будем же помнить этого замечательного поэта и мудрого, стойкого духом, человека. И не забудем о его завещании всем нам:

...Пусть каждый день и каждый час
Вам новое добудет.
Пусть добрым будет ум у вас,
А сердце умным будет.

Вам от души желаю я,
Друзья, всего хорошего.
А всё хорошее, друзья,
Дается нам недешево!

(«Пожелания друзьям»)

Владимир ГАЛЬПЕРИН

Родился в 1934 году в Ташкенте. Детство провёл в Сибири. Окончил Сталиногорский горный техникум и Московский горный институт. Работал на горных предприятиях страны, преподавал в вузах и занимался научной деятельностью. Доцент, кандидат технических наук.

Автор ряда стихов и прозы, многочисленных публикаций в российских и зарубежных журналах. Член Союза писателей Москвы и Союза российских писателей.

Живет в Москве.

«...И В ДВАДЦАТЬ ПЕРВОМ ВЕКЕ ГОВОРИТ СЛОВАМИ ДЕВЯТНАДЦАТОГО ВЕКА»

В январе 2018 года исполняется 10 лет со дня смерти Лазаря Шерешевского (1926–2008). Человека нелёгкой судьбы, прошедшего по своей жизненной дороге и Крым и рым, пережившего горе эвакуации, голод и ужас салехардских лагерей. Человека, оставившего чёткий след в российской поэзии. Человека, с которым мне посчастливилось близко общаться почти десять лет...

Я слышал, что таковой есть, что он – мощный поэт, типичный представитель тех далеких шестидесятых и шестидесятников. Мне попадались его отдельные стихотворения, сильные, яркие, умные.

Я не ставил себе целью знакомство с ним, а о встрече и не мечтал. Во-первых, он человек пусть и не слишком публичный, но весьма известный и, скорее всего, занятой. Во-вторых, нужен хоть какой-нибудь повод. Могу перечислить и в-третьих, и в-четвертых... Короче, этот человек был от меня далек, как обычно далеки популярные люди от обыкновенных...

Волею судеб я стал посещать литературную гостиную московской писательницы Рады Полищук. Столы с незатейливой закуской, легким вином и напитками, домашняя обстановка. Мне, человеку далекому от высокого искусства, каждое посещение приносило удовлетворение – я сталкивался с тем, чего мне раньше не доставало. Встретиться с незаурядной персоной, о которой много говорят, пообщаться с ней! Поэтому я старался не пропускать такие посиделки.

Один из вечеров был посвящен творчеству Лазаря Шерешевского, как потом выяснилось, человека тяжелой судьбы, отдавшего тюрьме и северной ссылке восемь лет.

Небольшого роста, худощавый пожилой мужчина с эффектным носом и хитрыми глазами мудреца, с головой, покрытой белесыми ковылинками, точнее намеками на бывшую шевелюру, уселся поудобней за столик и начал рассказывать о себе, о своих книгах, читать стихи, пародии и эпиграммы. И все это без тени снобизма, чем особенно грешат сегодняшние деятели культуры любого направления, мало-мальски зазвевшие на экране ТВ или на какой-нибудь эстраде, без рисовки, но с легким сквознячком иронии. Потом, как обычно, наши вопросы – его ответы, и, наконец, уже неофициальное общение за бокалом легкого вина.

Я не удержался и вручил ему одну из своих первых книжечек со стихами, выпущенную смехотворным тиражом. Он меня поблагодарил и спрятал книжку в карман. Слово за слово, мы разговорились. Я поразился его эрудиции и почувствовал, что смотрю на Шерешевского из глубин юрского периода, что в моем литературном арсенале – лишь жалкие обрывки школьных знаний. Поэтому мне оставалось лишь внимать мудрым речам собеседника, изредка вставляя реплику. А слушать его было действительно интересно – я впервые встретил такого глубоко информационно насыщенного человека. В итоге испросил разрешение иногда ему звонить.

Прошло не очень много времени. Меня как любого только начинающего творить борзописца беспокоило мнение Лазаря Вениаминовича о моих стихах. Одно дело, когда их читают люди моего круга, столь же «образованные», как и я. Другое дело, когда их смотрит человек, посвятивший поэзии свою жизнь, сделавший поэзию своей профессией. И я решил напомнить о себе.

Выяснилось, что он обо мне не забыл и, в общем, не прочь со мной встретиться. И в один из глубоко осенних дней я приехал по указанному адресу.

Улица в районе метро «Щукинская» со звучным названием «Авиационная», застроенная стандартными домами. Типовая однокомнатная квартира. Сразу видно, что здесь обитает одинокий мужчина. Везде, где только можно (кроме старого кресла-качалки и дивана, заменяющего кровать), стояли и лежали книги. Книги самые разные. Как выяснилось, большинство из них с дарственными надписями. Куча газет и журналов...

За чаем потекла беседа. Я ему рассказал, кто я такой, откуда взялся и как забрел в поэзию. Моя настоящая профессия Лазарю понравилась. Еще бы – шахтер! Он вспомнил Бориса Горбатова, написавшего роман «Донбасс», и рассказал о нем, так как встречался с писателем в разных ситуациях.

Потом осторожно я перевел свои расспросы на судьбу хозяина, на его биографию. И снова поразился тому, как много он видел, что перенес, но ясно помнил, с кем, когда и при каких обстоятельствах встречался. Я услышал его гулаговскую эпопею, поставившую в моих глазах Шерешевского в один ряд с Жигулиным, Гинзбург, Ажаевым и другими жертвами режима. Его лагерные знакомства поразили меня созвездием великих людей, с которыми он не только был рядом, но и дружил: Семён Гехт, Роберт Штильмарк, автор знаменитого романа «Наследник из Калькутты», поэт Владимир Автономов, Леонид Оболенский – известный киноактер и режиссер «закрытого» театра заключенных СУ строительства железных дорог МВД, Алексей Мороз – корреспондент газет «Правда», «Известия» и военный корреспондент, Бинкин Юрий –

дирижер и известный композитор, художник Александр Дейнека, Николай Чернятинский – руководитель оркестра Одесского оперного театра, Владимир Йогельсен – режиссер знаменитого Радловского театра в Ленинграде, Всеволод Топилин – пианист, концертмейстер, аккомпаниатор Давида Ойстраха, и много, много других...

О своих опусах я заикнуться не решился...

С тех пор наши встречи стали регулярными. Я прочел его переводы Эдуардаса Межелайтиса и других поэтов, сделанные в разное время. Прекрасны оказались переводы стихов нескольких осетинских поэтов...

Мне импонировало, что я познакомился с человеком, который учился с Наумом Коржавиным, что мне выпала честь сидеть на месте, где когда-то сиживал Булат Окуджава, что хозяин долгие годы дружил с остроумным поэтом и страстным любителем выпить Николаем Глазковым, общался со Львом Озеровым и Леонидом Мартыновым, с замечательной Ольгой Берггольц, был знаком с Анной Ахматовой, знал Евгения Евтушенко, Андрея Дементьева. Я с напряжённым вниманием слушал его рассказы о дружбе с семьёй Дворжецких, тяжёлая судьба которых известна. Наши беседы зачастую превращались для меня в лекции о разных направлениях в литературе, насыщенных нюансами, о которых я и не догадывался. Лазарь рассказывал о развитии поэзии в различные периоды отечественной литературы, приводил примеры из произведений поэтов-классиков, делал глубокий анализ их творчества. Вольно-невольню я «окончил» краткий курс Литинститута. И когда я с восхищением спрашивал, откуда Шерешевский так хорошо ориентируется в литературе, отчего ему все известно, он скромно отвечал, что это его профессия...

Меня потрясла его память, память феноменальная. Что это: явление природы или влияние обстоятельств? А может, то и другое вместе? Он мог свободно воспроизвести стихи Державина и Пушкина, Гумилева и Мандельштама, Симонова и Твардовского и других поэтов, имена которых я узнавал впервые. В этой седой голове была скрыта огромная библиотека. Его рассказы об искусстве превращались даже не в лекции, а в целые повествования. Меня поражало его видение, умение подсказать нужную точную рифму, придумать отличную концовку. Он, делая замечания, не обижал автора, не навязывал свое мнение, но был добрым советчиком...

Люди тянулись к нему. Сколько времени он тратил на то, чтобы прочесть чужое творение, поправить шероховатости, найти новый ракурс. Ему звонил среди ночи известный поэт Вадим Ковда и читал свои вирши, которые он терпеливо выслушивал и полночи работал с ним на пару, если требовали обстоятельства. А один из друзей, поэт, замечательный эквилибрист словом Валерий Краско? Человек, проверявший на Лазаре свои опусы. Можно назвать еще ряд поэтов... Сколько надо иметь терпения, каким тактом нужно обладать, чтобы не послать очередного, уже довольно надоевшего творца подальше. У Шерешевского этот такт был слишком преувеличен. Он мучился, когда надо было дать отрицательную рецензию или отзыв на слабое стихотворение. И Лазарь молчал, давая понять, что страшно занят, что не успел прочесть стихи...

Наши отношения крепили с каждым моим посещением. Мы встречались как минимум два раза в неделю. В итоге мы настолько сблизились, что не было дня, чтобы один из нас не звонил другому. Я даже стал

позволять себе отчитывать Лазаря Вениаминовича за его промашки, за определенную лень, чего он никогда не скрывал, за постоянные жалобы на здоровье и за то, что много курит. Временами он ворчал на меня, говоря, что я узурпатор и насильник, но глаза, его хитрющие глаза, выдавали, что ему нравилось то, что происходит в данный момент...

Лазарь прожил два срока из трех, отпущенных Моисею, с образом которого он, безусловно, соизмерял себя, рассматривая книгу Э. Бауха «Пустыня внемлет Богу». Он прекрасно знал Библию, Евангелие, честно признавался, что не силен в Талмуде, Галахе и Агаде и не особенно этим интересовался, поскольку к вопросам религии относился довольно прохладно. Однако генетически он нес в себе ощущение греха и философски воспринимал несчастья, либо пережитые, либо ожидаемые, как неминуемую кару за прегрешение. Иногда, испытывая стресс, сильно нервничал... Отсюда и его любимое присловье: «Так мне и надо!»

Запах смерти он почувствовал в раннем возрасте. Его отца расстреляли в недрах киевского НКВД. Он не раз был свидетелем того, как умирали на киевских улицах жертвы голодомора...

Война, эвакуация, похожая на великое переселение народов, дни и ночи, проведенные на огромном сталинградском стадионе, где в страхе и неведении томилась разнородная людская масса, в одночасье согнанная с насиженных мест. Перед глазами подростка, пропитанного литературными аллюзиями, разворачивалась почти библейская эпопея исхода, «переход» через Красное море, то есть через море крови войны и ГУЛАГа, а философско-поэтическое осмысление состоялось в конце восьмого десятка его жизни в тихой однокомнатной квартире в Щукино, где он прожил безвыездно почти двенадцать лет, предпочитая одиночество всем другим соблазнам кровавой эпохи.

Закатный час земного бытия
 Пришел ко мне, и что с него мы спросим...
 На склоне лет похожа жизнь моя
 На слишком затянувшуюся осень...

Это были его последние стихи, о которых он предпочел умолчать и забил в компьютер. И что же ему открылось?

И нет в ней ни цветов и ни грибов,
 Ни соков, охраняемых стеблями.
 В ней угольками поздняя любовь,
 Но уголькам не разгореться в пламя.
 Не хохотать, не плакать ей навзрыд,
 Она во мгле, как пройденная вежа,
 И в двадцать первом веке говорит
 Словами девятнадцатого века.

В этих строчках пожизненно и посмертно Лазарь утверждает свою приверженность к русской классической поэзии, к прозрачному пушкинскому стиху, который всегда был для него эталоном высшей поэтической гармонии.

С Пушкиным у него установилась магическая связь еще с детства, когда мальчика поразила картинка в дореволюционном томе пушкинских сочинений, которая на всю жизнь врезалась в память:

Фонарь и мостик, и карета у ворот:
И старый дядька, выбежав стремглав из дома,
Взяв на руки его, по лестнице несет...

В квартиру на Мойке, где Лазарь побывал в свой первый приезд в Ленинград не просто как турист, а как «скромный ученик», который не может найти слов от охватившего волнения, когда наконец воочию увидел то, что так потрясло его в детстве и что оказало влияние на его судьбу:

Что, если бы не он, не стал бы я поэтом,
Не знал бы красоты родного языка.

Прожитое и пережитое заставляют по-новому читать знаки судьбы, находить в них скрытый смысл, видеть логику событий и поступков. И понимаешь, что нет ничего случайного. Вдруг летом 1970 года районная газета Рузы напечатала вариант десятой главы «Евгения Онегина». Апокриф? Возможно. Лазарь вьелся в текст. Он почувствовал в нем пушкинскую строфу и думал всю зиму, а весной, к пушкинским дням, которые нижегородцы любят отмечать в Болдине, разразился статьей в газете «Ленинская смена», где не постеснялся выразить уверенность в подлинности некоторых строф.

По природе моцартианец, он поверял гармонию не алгеброй, а Пушкиным. Даже портрет поэта в его поэтическом воображении обретал сходство с автопортретом («Перо»):

С игривостью сплеталась величавость,
Как в беспорядке русых волосков,
Что разбегались по щекам, курчавясь,
И суживались строго у висков.

В поступательном развитии русской поэзии Лазарь видит закономерность:

А круг есть круг. В нем замкнутость земная:
Глагол для выжигания сердец.
От Пушкина движенье начиная,
Вновь к Пушкину приводит под конец!

Это из диптиха «Поэты девятнадцатого века», в котором Лазарь находит свое место в кругу любимых имен. Эта приверженность к школе русского классического стиха является определяющей в оценке того вклада, который внес в развитие отечественной литературы Шерешевский и который сближал его с Давидом Самойловым, Леонидом Мартыновым, Борисом Слуцким. Он не достиг их популярности, влияния на современников, востребованности наконец, хотя мог бы в силу своего общительного нрава, необычной эрудиции, которой он артистически умел обаять собеседников, врожденного умения нравиться женщинам и играть на тонких струнах их душ. Он был популярен в литературных кругах городов, где жил и творил. Почти сорок лет он был связан с московской землей, на которой разворачивались довольно тривиальные личные драмы, слегка напоминающие водевиль или безафишный спектакль, о чем он не без иронии спустя годы вспоминал в своих «Памфлетописях и эпи-граммах»:

Заявляю: – В жизни смысла нет!
Никакого – в том числе и здорового.

Высший смысл жизни он видел в своем поэтическом служении.

И вновь аллюзия: совершая странные кульбиты в агонии бракоразводного процесса, он, словно за поддержкой, обращается к Пушкину, погружаясь в состояние Болдинской осени, когда великий поэт и гуляка решил все-таки распрощаться со своей холостяцкой жизнью...

Он ушел из жизни внезапно. Я видел его в живых последним. За один день до смерти. 15 января 2008 года не стало большого поэта. Но остались его дневники, записи, заметки и статьи для журналов и газет, его биографический рассказ, записанный мною на магнитофонную ленту, и чувство, что я обязан написать об этом человеке.

За гробом не шли толпы читателей, тем паче государственных мужи, за исключением основателей «Мемориала» и издательства «Возрождение», а также бывшего сокамерника по Бутырке. Пришли несколько поэтов и поэтесс, к которым он проявлял некоторый интерес и оказывал дружеское внимание, несколько соплеменников, не слишком разобравшихся в его личности и творчестве. Сюда же следует добавить давно обосновавшихся в Москве выпускниц престижной школы № 1 г. Горького, составивших некую триаду и безусловно претендовавших на особую оценку личности покойного, хотя бы в силу того, что прямое или косвенное их общение с Лазарем давно перевалило полувекковой рубеж.

Профессор из Коломны, заслуженный деятель науки РФ Георгий Васильевич Краснов, полвека назад молодой декан историко-филологического факультета Горьковского госуниверситета, читавший курс русской классической литературы, не намного переживший своего ученика, в прощальном слове оценил его незаурядный вклад в литературу.

Узнав о смерти друга, такой же в прошлом, как и он, зэка, поэт Алексей Прядилов посвятил ему следующие строки...

ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР

*Все рушится, чем дорожил
Под этим изменчивым небом.
Я был, а как будто не был,
Я жил, а выходит, не жил.*
Лазарь Шерешевский

Мы вчера говорили... Он мрачно шутил
И прочел эпиграмму на медперсонал,
И сказал, что он зелья давненько не пил,
А от жизни собачьей порядком устал.

И за жизнь не нашел он того, что искал;
Лишь надежда врала на счастливый исход.
Но надежда всегда нас ведет среди скал
И приводит к реке... А там омут, не брод.

Я его утешал и ободрить хотел,
Говорил, что случаются светлые дни,
Что не зря он трудился всю жизнь, что горел
И следы не от пепла оставит одни.

Он скептически слушал мою болтовню,
Словно я изъяснялся на тему не ту.
Он как будто бы прочно оделся в броню –
Улетали мои словеса в пустоту.

Разговор озадачил загадкой дилемм...
Утром я позвонил, чтоб услышать ответ.
Но молчал телефон, – он и глух, он и нем.
Я звонил и звонил...
А его уже нет...

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

О. А. Рябов

ШЕФ-РЕДАКТОР

Андрей Иудин

МАКЕТ

Арсения Костромина

ДИЗАЙНЕР ОБЛОЖКИ

Анатолий Гришин

КОРРЕКТОР

Лев Зелексон

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Кирилл Анкудинов (Майкоп)

Валерия Белоногова

Николай Бенедиктов

Дмитрий Бирман

Глеб Горбовский (Санкт-Петербург)

Ирина Горюнова (Москва)

Диана Кан (Новокуйбышевск)

Елена Крюкова

Захар Прилепин

Роман Сенчин (Екатеринбург)

Евгений Эрастов

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Сергей Горин

Олег Захаров

Людмила Калинина

Александр Котюсов

Ольга Лисятникова

Владимир Седов

УЧРЕДИТЕЛЬ

ООО «КНИГИ»

Адрес редакции:

603057, Нижний Новгород,

ул. Бекетова, 24/2.

Тел. (831) 412-16-04

Рукописи принимаются в редакции

или по электронной почте:

jurnalnn@yandex.ru

Сайт журнала: www.jurnalnn.ru

Тексты для публикации присылаются отдельным файлом Word с указанием авторства, наименования произведения и краткой биографической справкой. Неоткорректированные рукописи с большим количеством ошибок не рассматриваются.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

При перепечатке материалов ссылка на журнал «Нижний Новгород» обязательна.

Выпуск издания осуществлен
по заказу
правительства
Нижегородской области
Издание осуществлено
при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных
технологий

и массовых коммуникаций
ПИ № ФС77-60285
от 19 декабря 2014 г.

Подписано к печати 01.12.2017.

Выпущено в свет 20.12.2017.

Формат 70×108¹/16. Усл.-печ. л. 21.

Тираж 800 экз.

Цена свободная.

Отпечатано в типографии «Растр»
603024, Нижний Новгород,
ул. Белинского, 61